

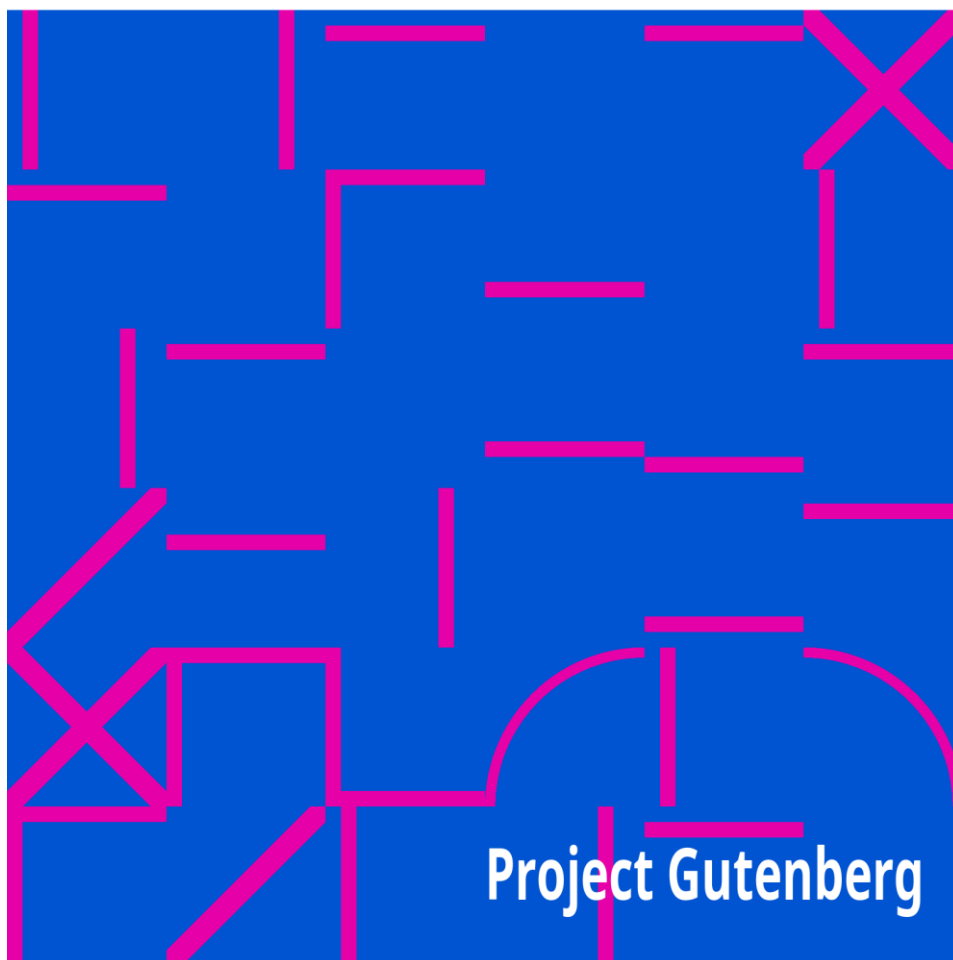
# Канун Французской революции

Эдвард Дж. Лоуэлл

---

## The Eve of the French Revolution

Edward J. Lowell



# The Project Gutenberg eBook of The Eve of the French Revolution.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или использовать повторно на условиях лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой книге или на сайте [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

**Название:** Канун Французской революции

**Автор:** Эдвард Дж. Лоуэлл

**Дата выхода:** 1 августа 2004 [eBook #6301]

Последнее обновление: 29 декабря 2020 г.

**Язык:** Английский

**Авторские права:** Тоня Аллен, Чарльз Фрэнкс и группа онлайн-распределенной корректуры

\*\*\* НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK КАНУН ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ \*\*\*

Тоня Аллен, Чарльз Фрэнкс и команда онлайн-распределенной корректуры.

## КАНУН ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЭДВАРД ДЖ. ЛОУЭЛЛ

МОЕЙ ЖЕНЕ

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Французскую революцию можно рассматривать с двух точек зрения. Мы можем рассмотреть великие события, которые поразили и ужаснули Европу и Америку: штурм Бастилии, поход на Версаль, сентябрьская резня, Террор и восстановление порядка Наполеоном. Изучение этих событий всегда должно быть интересным и прибыльным, и мы не можем удивляться тому, что историки, чувствуя приближение битвы, иногда торопились преодолеть сравнительно мирную страну, отделявшую их от нее. Они принимали легкие и готовые решения о причинах бед. Старая Франция предстала в их глазах в свете ее горящих домов. Французы восемнадцатого века, по их мнению, должны были быть несчастными, иначе они не могли бы так страдать. Социальная ткань, уверены они, была действительно прогнившей, иначе она никогда бы не разлетелась на куски так внезапно.

Есть, однако, и другой взгляд на ту великую революцию, начало которой мы привыкли относить к 1789 году. Эта дата действительно является судьбоносной, как никакая другая в современной истории. Она знаменует собой вспышку в законодательстве и политике идей, которые уже работали в течение столетия и которые изменили лицо цивилизованного мира. Эти идеи не все верны и не все благородны. В них много спекулятивных заблуждений и духовной низости. Сегодня они требуют изменения и корректировки. Но они отражают те стороны истины, которые в 1789 году, а тем более в 1689-м, слишком часто упускались из виду и игнорировались. Они соответствовали той стадии цивилизации, которой достиг мир,

и людям нужно было подчеркнуть их. Возможно, их преувеличение было необходимо для того, чтобы они могли бороться и в какой-то мере вытеснить более старые доктрины, которые владели человеческим разумом. Индукция как единственный метод рассуждения, сенсация как единственное происхождение идей, возможно, не являются окончательной и единственной истиной; но они были очень нужны миру в семнадцатом и восемнадцатом веках, и они нашли философов, чтобы разработать их, и энтузиастов, чтобы проповедовать их. В десятилетия, предшествовавшие 1789 году, они проложили себе путь главным образом на французской земле.

История французского общества того времени в последние годы привлекает большое внимание во Франции. Добросовестные ученые изучили ее со многих сторон. Я свободно пользовался их трудами, и благодарность за это можно найти в сносках; но я не могу отказать себе в удовольствии упомянуть в этом предисловии некоторых из тех, кому я больше всего обязан; и прежде всего мсье Альбера Бабо, без чьих тщательных исследований вряд ли могли бы быть написаны несколько глав этой книги. Его исследования в архивах, а также печатные мемуары и путешествия позволили пролить свет на многое из повседневной жизни старой Франции. Ему в высшей степени присуще великое и чисто французское качество - рассказывать то, что мы хотим знать. Его беспристрастность соперничает с его ясностью, а его тщательность такова, что после него трудно разгребать старые поля.

Едва ли меньше я обязан покойному мсье Эме Шересту, чья незаконченная работа "Крушение древнего режима" дает наиболее интересное и философское изложение поздних политических событий, предшествовавших собранию Генеральных штатов. Великим именам де Токвиля и Тейна я могу лишь мимоходом отдать должное. Первый, можно сказать, открыл современному уму правильный метод изучения восемнадцатого века во Франции, второй, возможно, является самым блестящим из писателей на эту тему; и никто в последнее время не писал и не будет писать о времени приближения Революции, не используя книги обоих. Не стоит забывать и о работах виконта де Брока, месье Буато и месье Рэмбо, к которым я иногда обращался за советом или подтверждением.

Переходя к другой части темы, я с радостью признаю свой долг перед достопочтенным Джоном Морли. Расходясь с ним во мнениях почти везде, где можно иметь свое мнение, я все же находил его абсолютно справедливым и точным в вопросах фактов. Его книги о Вольтере, Руссо и энциклопедистах, взятые вместе, составляют наиболее удовлетворительную историю французской философии XVIII века, с которой я знаком.

О писателях монографий и биографах я не буду говорить подробно, хотя некоторые из их книг оказали мне большую услугу. Таковы книги М. Байи, М. де Лаверня, М. Горна, М. Стурма и М. Шарля Гомеля по финансовой истории Франции; М. де Понсина и М. Дежардена по каирам; М. Рокена по революционному духу до революции; графа де Люсея и М. де Лаверня по министерской власти и по провинциальным собраниям и сословиям; М. Деснуаре, о Вольтере; М. Шерер, о Дидро; М. де Ломени, о Бомарше; и многие другие; и если, в конце концов, я больше всего полагался на старых писателей, современников, то без помощи этих современных авторов я, конечно, не смог бы найти их всех.

Рассматривая философов и других писателей восемнадцатого века, я не стремился дать сокращенное изложение их книг, а объяснял те их доктрины, которые казались мне наиболее важными и влиятельными. Это я сделал, где это было возможно, на их родном языке. Я цитировал, где мог; и во многих случаях, где кавычки не будут найдены, единственными изменениями от действительного выражения автора, помимо тех, что неизбежны при переводе, были переход от прямой речи к косвенной или некоторые другие

пустяковые изменения, ставшие необходимыми, по моему мнению, в силу требований грамматики. С другой стороны, я старался переводить идеи и фразы, а не слова.

ЭДВАРД ДЖ. ЛОУЭЛЛ.

24 июня 1892 года.

## СОДЕРЖАНИЕ.

### ВВЕДЕНИЕ

I. КОРОЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ

II. ЛЮДОВИК XVI. И ЕГО СУДЬЯ

III. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ

IV. ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ПРОТИВНИКИ

V. ЦЕРКОВЬ И ВОЛЬТЕР

VI. БЛАГОРОДСТВО

VII. АРМИЯ

VIII. СУДЫ

IX. РАВЕНСТВО И СВОБОДА

X. МОНТЕСКЬЮ

XI. ПАРИЖ

XII. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ГОРОДА

XIII. СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

XIV. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

XV. ФИНАНСЫ

XVI. "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"

XVII. ГЕЛЬВЕЦИЙ, ГОЛЬБАХ И ШАСТЕЛЮКС

XVIII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ РУССО

XIX. "НОВАЯ ЭЛОИЗА" И "ЭМИЛЬ"

XX. ПАМЯТНИКИ

XXI. ЦАРИЦЫ

XXII. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В КАЙЕРАХ

XXIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ

## КАНУН ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

### ВВЕДЕНИЕ.

Для европейской семьи народов, в отличие от других великих групп человечества, характерно, что среди них время от времени возникают различные идеалы правления и жизни, и что прежде чем все сообщество полностью примет один набор принципов, более продвинутые мыслители уже переходят к другому. По всей западной части континентальной Европы с XVI по XVIII век абсолютная монархия вытесняла феодализм, и во Франции победа

новой системы над старой была особенно основательной. Затем внезапно, хотя и не совсем без предупреждения, третья система оказалась лицом к лицу с двумя другими. Демократия родилась в полный рост и с вызовом. Она взывала сразу к двум сторонам человеческого разума, к чистому разуму и к человечности. Почему несколько человек должны управлять великим множеством людей, таких же достойных, как и они сами? Почему масса людей должна вести жизнь, полную труда и печали? На эти вопросы трудно ответить. Философы XVIII века считали, что на них невозможно ответить. Они не во всех случаях советовали установить демократическое правительство как лекарство от тех бед, которые они видели в мире. Но они нападали на те вещи, которые были, предлагая другие вещи, более или менее осуществимые, на своих местах. Восстановление общества и цивилизации не представлялось этим людям очень сложной задачей, если только удастся избавиться от порочных механизмов прошлого. Они верили, что людьми и вещами можно управлять с помощью нескольких простых законов, очевидных и единых. Эти естественные законы они не прилагали особых усилий, чтобы открыть; они скорее принимали их как данность; и хотя они расходились в изложении принципов, они все же считали свои принципы аксиоматическими. Поэтому они взялись одновременно разрушить все установленные вещи, которые, по их мнению, не опирались на абсолютную логическую правоту. Они приступили к выполнению своей задачи с горячей верой и надеждой.

Большую часть людей, которые спокойно жили в существующем порядке, это забавляло и интересовало. Нападки философов казались им во многих случаях справедливыми, рассуждения - убедительными. Но в глубине души они не могли поверить в реальность и важность нападков. Некоторые из тех, кто больше всего был заинтересован в сохранении мира таким, каким он был, искренне или легкомысленно присоединялись к крикам о реформах и разрушении.

Наконец была предпринята попытка применить новые теории на практике. Социальное здание, медленно возводившееся на протяжении веков для удовлетворения различных потребностей разных поколений, начало рушиться от изумления его обитателей. Тогда все, кто осознал, что в цивилизации в ее нынешнем виде им что-то угрожает, были поражены и встревожены. Верующие в старую религию, в старые формы правления, в старые нравы и мораль, люди, боявшиеся за свои головы, и люди, боявшиеся за свои поместья, были загнаны друг в друга. Абсолютизм и аристократия, хотя и полностью противоположные друг другу в принципе, были вынуждены вступить в протиестественный союз. С того дня и по сей день мировая история в значительной степени состоит из состязаний сторонников новых идей, опирающихся на естественное право и логику, с приверженцами более древних форм мышления и обычаев жизни, имеющих свое подтверждение в опыте. Именно во Франции началась и приняла свои формы эта длительная борьба. Поэтому интересно рассмотреть правительство этой страны, ее материальное и моральное состояние в то время, когда новые идеи впервые стали заметны и пробивали себе дорогу к осуществлению.

Новые теории жизни и ее отношений редко приносят свои плоды во время жизни того поколения, в котором они были выдвинуты. Только те доктрины, которые человек усваивает в ранней юности, кажутся ему настолько безусловными, что заслуживают того, чтобы быть доведенными почти до конца. Француз времен Людовика XV с жадностью слушал Вольтера, Монтескье и Руссо. Их потомки, во времена его внука, впервые попытались применить идеи этих учителей. Хотя в этой книге я попытаюсь рассмотреть социальные и политические условия, существовавшие в царствование Людовика XVI, я буду вынужден обратиться к царствованию его предшественника за истоками французской мысли, действовавшей лишь в последней четверти века.

## ГЛАВА I.

### КОРОЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ.

Когда Людовик XVI вступил на престол в 1774 году, он унаследовал почти абсолютную в теории власть над всеми мирскими делами своего королевства. В некоторых частях страны старые ассамблеи или провинциальные эстафеты все еще собирались в определенное время, но их функции были очень сильно ограничены. *Парламенты*, или высшие суды справедливости, которые претендовали на право налагать некоторые ограничения на законодательство, были избиты Людовиком XIV, а главный из них, Парижский, был распущен его преемником. Таким образом, молодой король оказался лицом к лицу с нацией, над которой ему предстояло осуществлять прямую и деспотическую власть. Было признано, что королевская власть - это закон. [Сноска: Si veut le roi, si veut la loi.] Более того, на протяжении более чем двух столетий тенденция континентальных правительств была направлена на абсолютизм. Среди великих желаний людей в те века были организация и сильное правительство. Деспотия считалась более благоприятной для этого, чем аристократия. Демократия пока существовала только в мечтах философов, в истории античности и на примере нескольких незначительных стран, таких как швейцарские кантоны. Вскоре она должна была стать более заметной благодаря Американской революции. Однако до сих пор французская нация надеялась на короля в вопросах управления и проведения реформ, которые считала необходимыми. Король Франции, правящий справедливо и твердо, получил бы моральную поддержку наиболее уважаемой части своих подданных. Они жаждали скорее справедливого распределения государственных тягот и свободы от ненужных ограничений, чем доли в управлении государством. Восхищение английской конституцией, которое обычно выражалось, было пока скорее теоретическим, чем практическим, и не имело такого характера, чтобы умалить преданность, которую, несомненно, испытывала французская корона.

Каждый монарх, каким бы деспотичным он ни был в теории, на деле окружен множеством барьеров, для преодоления которых нужен сильный человек. Так было и с королем Франции. Хотя он был источником правосудия, его судебные полномочия осуществлялись через магистратов, многие из которых купили свои места и поэтому не могли быть лишены их без мер, которые считались несправедливыми и почти революционными. Распад Парижского парламента в последние годы предыдущего царствования поверг все судейское и адвокатское сословие в состояние недовольства, граничащего с бунтом. Новый суд, пришедший на смену старому, - Парламент Мопеу, названный так по имени канцлера, который посоветовал его создать, - не пользовался ни любовью, ни уважением. Одним из первых актов правительства Людовика XVI стало восстановление древнего Парижского парламента, права которого на законодательство будут рассмотрены позже, но который, по крайней мере, осуществлял определенное моральное сдерживание королевской власти.

Но именно в административной части управления, где король казался наиболее свободным, на самом деле ему чинились наибольшие препятствия. Постепенно сформировалась обширная система государственных учреждений, с регламентом, традициями и профессиональным духом. Именно она вытеснила старый феодальный порядок, заменив централизацию энергичной местной жизнью.

Королевских советов, ставших центральным органом управления государством, было пять. Однако они были тесно связаны между собой. Сам король должен был заседать во всех из них, и, судя по всему, присутствовал на трех с достаточной регулярностью. При наличии премьер-министра он также заседал в трех наиболее важных. Контролер финансов был

членом четырех советов, а канцлер - не менее трех. Поскольку это были самые важные люди в правительстве, их присутствие в нескольких советах обеспечивало единство действий. Кроме того, советы были небольшими, не превышая девяти членов в первых четырех по достоинству и власти: Государственном, Депешном, Финансовом и Торговом советах. Пятый, Тайный совет, или Совет сторон, был более многочисленным и в определенной степени служил школой для остальных. В него входили, помимо всех членов вышестоящих советов, тридцать государственных советников, несколько интендантов финансов и восемьдесят юристов, известных как *maîtres des requêtes*. [Сноска: De Luca, \_Les Secrétaires d'État, 418, 419, 424, 442, 448, 449].

Функции различных советов не были четко определены и разграничены. Многие вопросы передавались на рассмотрение того или иного из них по воле случая или влияния. При каждом из них существовал ряд государственных учреждений, называемых бюро, где готовились дела, и где практически решались более мелкие вопросы. Королевские советы и подчиненные им государственные учреждения управляли Францией в такой степени и с такой мелочью, которая вряд ли понятна человеку, не привыкшему к централизованному управлению.

Советы ничего не делали от своего имени. Король номинально решал все вопросы с помощью их советов. Предполагалось, что окончательное решение каждого вопроса остается за самим монархом. Каждый важный вопрос фактически передавался на его рассмотрение. Таким образом, управляя страной, король мог в любой момент взвалить на свои плечи столько ноши, сколько они были достаточно сильны, чтобы ее вынести.

Законодательная власть осуществлялась советами. Вопрос о том, имеют ли их эдикты полную силу закона без одобрения высших судов или парламентов, до конца не решен. Но, по крайней мере, вся законодательная инициатива принадлежала советам. С них начинался процесс законотворчества, ими формировались и разрабатывались законы.

Им же принадлежала и немалая часть судебной власти. Обычай изымать частные дела из регулярных судов и рассматривать их в том или ином королевском совете был очень распространен и, как мне кажется, продолжает расти. Теоретически эта апелляционная юрисдикция была обусловлена отчасти доктриной о том, что король является источником правосудия, а отчасти идеей о том, что политические вопросы не могут быть безопасно оставлены на рассмотрение обычных трибуналов. Представление о том, что король обязан отправлять правосудие всем своим подданным и что это акт милости, возможно, даже обязанность с его стороны, отправлять его лично, когда это возможно, так же старо, как и сама монархия.

Соломон в своем дворце, Сен-Луи под своим дубом, когда они решали судьбы стоящих перед ними женихов, осуществляли неотъемлемые права суверенитета, как их понимали в свое время. Поздние потомки святого короля не решали дела самостоятельно, за исключением редких случаев, но в вопросах между сторонами следовали решению большинства совета, рассматривавшего дело. Таким образом, древний обычай обращаться за правосудием к королевскому судье лишь передавал юрисдикцию нерегулярному трибуналу[Сноска: De Luca, *Les Secrétaires d'État*, 465].

Исполнительная власть как номинально, так и фактически находилась в руках советов. Большие вопросы внешней и внутренней политики могли решаться только в Государственном совете[Сноска: Иногда называемом Conseil d'en haut, или Верхним советом], но вся администрация все больше и больше склонялась в одну сторону. Вопросы, связанные с деталями, поступали со всех концов Франции. Едва ли в Бургундии или

Провансе был построен мост или отремонтирован шпиль без разрешения, подписанного королем в совете и заверенного государственным секретарем. Совет депеш осуществлял дисциплинарную юрисдикцию над авторами, печатниками и книготорговцами. Он управлял школами и пересматривал их правила и инструкции. Он прокладывал дороги, углублял реки и строил каналы. Он занимался духовенством, решал разногласия между епископами и их капитулами, разрешал епархиям и приходам брать деньги в долг. Он осуществлял общее руководство городами и муниципальным устройством. Совет финансов и Совет торговли решали столь же мелкие вопросы в своих собственных департаментах[Сноска: De Luca, *Les Secrétaires d'État*, 418. Об этой чрезмерной централизации см. также: De Tocqueville, *L'ancien Régime et la Révolution*, passim].

Очевидно, что король и его министры не могли уделять личное внимание всем этим вопросам. Мелкие вопросы фактически решались бюро и государственными секретарями, а король лишь подписывал необходимые лицензии. Таким образом, вопросы, представляющие местный интерес, практически решались подчиненными офицерами в Париже или Версале, вместо того чтобы в тех местах, где их действительно понимали. Если деревня в Лангедоке хотела построить новый пасторский дом, ни ее жителям, ни кому-либо, кто когда-либо находился в радиусе ста миль от нее, не разрешалось принимать решение о плане и регулировать расходы, но все дело передавалось в столичный офис и там решалось клерком. Эта варварская система, отнюдь не устаревшая в Европе, известна в наше время под варварским названием бюрократия.

Королевские советы и подчиненные им бюро имели своих агентов в стране. Это были интенданты, люди, заслуживающие внимания, поскольку через них проходила значительная часть фактического управления. Их было тридцать два, и каждый управлял своей территорией, называемой генералитетом. Интенданты не были великими лордами или владельцами должностей, которые стали ассоциироваться с собственностью; это были трудолюбивые люди, делегированные советом за большой печатью и подлежащие повышению или отзыву по желанию короля. Они выбирались из сословия *maîtres des requêtes*, поэтому все они были юристами и членами Тайного совета. Таким образом, постоянно поддерживалось единство администрации в Версале и провинциях.

Первоначально интенданты выполняли функции правовых инспекторов, объезжая провинциальные города с целью обеспечения единообразия и надлежащего отправления правосудия в различных местных судах[Сноска: Du Boys, i. 517.] Они сохранили до конца монархии привилегию заседать во всех судах, находящихся в их округе[Сноска: De Luca, *Les Assemblées provinciales*, 31.] Но их обязанности и полномочия стали гораздо шире, чем у любого чиновника, занимающегося только судебными вопросами. Интендант отвечал за интересы католической религии и богослужения, а также за содержание зданий, предназначенных для религиозных целей. Он также контролировал протестантов и все их дела. Он поощрял и регулировал сельское хозяйство и торговлю. Он решал многие вопросы, касающиеся военных дел и гарнизонов. Ополчение полностью находилось под его управлением. Он сотрудничал с судебными инстанциями в управлении полицией. В его ведении находились почтовые дороги и почтовые отделения, кареты, книги и печать, королевские или привилегированные лотереи, а также пресечение незаконных азартных игр. По сути, он был прямым представителем королевской власти и находился в постоянной переписке с государственным министром короля. И как власть короны постоянно росла на протяжении двух столетий, так и власть интенданта постоянно росла вместе с ней, стремясь к централизации и единству Франции и уничтожению местных свобод.

Поскольку интенданты получали образование юристов, а не администраторов, и поскольку их часто переводили из одной провинции в другую после короткого срока службы, они не приобретали полного знания своего дела. Кроме того, они не проживали регулярно в той части страны, которой управляли, а совершали лишь летучие визиты туда и проводили большую часть времени вблизи центра влияния, в Париже или Версале. При этом их возможности приносить пользу или вред были практически неограниченными. Их исполнительная власть была почти бесконтрольной; ведь там, где не было провинциальных владений, жители могли направить прошение королю только через руки интенданта, и любая жалоба на этого чиновника передавалась ему самому для ответа.[Сноска: Об интендантах см. Necker, *De l'administration*, ii. 469, iii. 379. Ibid., *Mémoire au roi sur l'établissement des administrations provinciales*, passim. De Luca, *Les Assemblées provinciales*, 29. Mercier, *Tableau de Paris*, ix. 85. Официальный титул интенданта - *комиссар департаменту*].

Интенданты были представлены в своих провинциях подчиненными офицерами, называемыми субделегатами, каждый из которых управлял своим небольшим округом или *избирательным* округом. Эти люди, как правило, были местными юристами или магистратами. Их жалованье было небольшим, они не надеялись на продвижение по службе, и у них было большое искушение использовать свои обширные полномочия коррумпированным и деспотичным образом.[Сноска: De Luca, *Les Assemblées provinciales*, 42, etc.].

Помимо интенданта, в каждой провинции мы находим королевского губернатора. Власть этого чиновника постепенно ослабевала перед властью его соперника. Он всегда был великим господином, получал большое жалованье и содержал большое государство, но мало служил и действительно имел гораздо меньшее значение для провинции, чем новый человек. Он был выжившим представителем старой феодальной власти, вытесненной централизованной монархией, представителем которой был интендант.[Сноска: *Генералитет*, управляемый интендантом, и *провинция*, в которую был назначен королевский губернатор, не всегда совпадали].

## ГЛАВА II.

### ЛЮДОВИК XVI. И ЕГО СУДЬЯ.

Централизованное правительство, когда оно хорошо управляется и тщательно контролируется сверху, может достичь такой степени эффективности и быстроты действий, с которой не может сравниться правительство, состоящее из распределенных местных властей. Но если сильное центральное правительство становится неорганизованным, если неэффективность, или праздность, или, прежде всего, нечестность, однажды получают в нем правящее место, весь орган управления оказывается больным. Честные люди, которые могут оказаться вовлеченными в какую-либо низшую часть администрации, либо впадут в унылое молчание, либо разобьют свои сердца и погубят свои судьбы в безнадежном бунте. Ничто, кроме долгих лет неустанных усилий и негибкой воли правителя, имеющего право менять своих агентов по своему усмотрению, не сможет восстановить порядок и честность.

Нет никаких сомнений в том, что французская администрация в то время, когда Людовик XVI начал править, была коррумпированной и корыстной. При управлении финансами и армией извлекались незаконные доходы. Но это было не самое страшное зло, от которого страдала государственная служба. Францией фактически управляло то, что в наше время называют "кольцом". Члены такой организации притворяются, что служат государю или обществу, и в какой-то мере действительно делают это; но их вознаграждение определяется интригами и благосклонностью и совершенно непропорционально их заслугам. Они, как правило,

предпочитают подкуп прямому воровству и готовы потратить миллион государственных денег на ненужную затею, чтобы переложить несколько тысяч в собственный карман.

Они держатся вместе против всего мира, стараясь при этом обойти друг друга. Таким кольцом в старой Франции был двор. Таким кольцом будет управляться любая страна, где суверен, обладающий политической властью, слаб в моральном отношении или не заботится об интересах общества; будь то монарх, палата или народная масса[Сноска: "Quand, dans un royaume, il y a plus d'avantage à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu." Montesquieu, vii. 176, (*Pensées diverses*.)].

Людовик XVI, король Франции и Наварры, был скорее туп, чем глуп, и слабее волей, чем умом. В нем необычайно затянулся период хоббичьего поведения, и незнакомые люди при дворе удивлялись, видя, как принц девятнадцати лет бегают за лакеем, чтобы пощекотать его, пока его руки заняты грязной одеждой[Сноска: Swinburne, i. 11.] Неуклюжий юноша вырос в застенчивого и неловкого человека, не способного по своему желанию найти те акценты любезной вежливости, которые наиболее полезны для великих людей. Однако люди, которых поначалу поражала только его неловкость, иногда с удивлением обнаруживали в нем некоторую образованность, память на факты и здравые суждения[Сноска: Campan, ii. 231. Bertrand de Moleville, *Histoire*, i. Introd.; *Mémoires*, i. 221]. Среди своих предшественников он ставил себе в пример Генриха IV, вероятно, не имея точного представления о характере этого монарха; и он твердо решил, что сделает все, что от него зависит, чтобы его народ был счастлив. Кроме того, он был очень совестливым и с большим чувством ответственности за свое великое призвание. Он не был ленив, хотя и тяжел, а его мужество, подвергавшееся тяжелым испытаниям, никогда не было сломлено. Благодаря этим достоинствам он мог бы стать хорошим королем, если бы обладал достаточной твердостью воли, чтобы поддерживать хорошего министра или придерживаться правильной политики. Но такая сила не была ему дана. Совершенно неспособный стоять на ногах, он опирался поочередно или одновременно на тетку, жену, министров, придворных, готовых изменить его политику, как и его советник. И все же это была часть его слабости - не желать верить в то, что он находится под руководством какого-либо конкретного человека; он высоко ценил свой собственный авторитет и неумеренно ревновал его. Поэтому никто не мог приобрести постоянное влияние. Так благонамеренный человек стал худшим из государей; ведь первая добродетель повелителя - последовательность, и ни один подчиненный не может с разумным рвением сегодня следовать политике, которая, как он знает, завтра может быть подорвана.

Апологеты Людовика XVI любят говорить о нем как о "добродетельном". Это прилагательное выбрано крайне неудачно. Его недостатки были связаны больше с волей, чем с пониманием. Иметь смутное представление о том, что правильно, желать этого в общих чертах, но не иметь моральных сил, чтобы сделать это, - несомненно, это полная противоположность добродетели.

Французский двор, которому суждено было оказать очень большое влияние на ход событий в это царствование и в начале Французской революции, состоял из людей, приближенных к особе короля. Королевская семья и представители высшей знати попадали в этот круг по праву рождения, но большое место можно было получить только благодаря благосклонности. Именно двор контролировал большинство назначений, поскольку ни один король не мог знать всех претендентов лично и близко. Поток почестей и благ из королевского источника перенаправлялся министрами и придворными в свои собственные русла. Людовика XV вели его любовницы; Людовика XVI поворачивал последний, кто случайно заговаривал с ним. Придворные, в свою очередь, руководствовались своими чувствами или интересами. Они создавали партии и комбинации, плели интриги в пользу

или против друг друга. Они заключали сделки, давали и брали взятки. Во всех этих интригах, взятках и сделках придворные дамы принимали самое активное участие. Они были так же развращены, как и мужчины, и так же легкомысленны. Вероятно, ни в одном правительстве женщины не пользовались таким большим влиянием.

Фракции, на которые делился двор, обычно группировались вокруг некоторых богатых и влиятельных семей. Таковы были Ноайи, честолюбивый и могущественный дом, с которым Лафайет был связан узами брака; Брогли, один из которых держал в руках нить тайной дипломатии, которую Людовик XV. Полиньяки, новые люди, креатура королевы Марии-Антуанетты; Роаны, благодаря влиянию великого имени которых недостойный член семьи должен был возвыситься в церкви и государстве, а затем бросить глубокую тень на мрачную популярность этой злополучной принцессы. Подобные семьи составляли высший класс среди знати, и их члены твердо верили в свое законное право на лучшие места. Более бедные дворяне, напротив, с большой завистью смотрели на главенство придворных семей. Они настаивали на том, что существует и должен существовать только один дворянский орден, все члены которого равны между собой.[Сноска: См. в том числе Инструкции дворянства Блуа депутатам, *Archives parlementaires*, ii. 385].

Придворные, со своей стороны, считали себя существами иного порядка, нежели остальная часть народа. Церемония представления была паспортом в их общество, но далеко не все, кто обладал этим формальным титулом, принадлежали к внутреннему кругу. Женщин, которые приходили ко двору лишь раз в неделю, хотя и принадлежали к большой семье, называли "воскресными дамами". Истинный придворный всегда жил в благоговейном присутствии своего государя[Сноска: Campan, iii. 89].

Двор считался вполне законной властью, хотя временами его ненавидели, и на него, вполне обоснованно, возлагалась большая доля злословия, связанного с неправильным управлением. Идея его легитимности наложила отпечаток на язык дипломатии, и мы до сих пор говорим о дворе Сент-Джеймса, Венском суде как о силах, с которыми нужно иметь дело. В условиях монархии люди не всегда различают в своем сознании благо государства и личное благо монарха, и доктрина о том, что король существует для своего народа, не признается в полной мере. Когда граф Артуа сказал парижскому парламенту в 1787 году, что они знают, что расходы короля не могут регулироваться его доходами, но что его доходы должны регулироваться его расходами, он сказал полуправду; однако ему, вероятно, не пришло в голову, что существует разница между необходимостью содержать эффективную армию и желательностью иметь гончих, кареты и дворцы. Он не задумывался о том, что для чести Франции может быть важно кормить старых солдат в отеле Инвалидов и совершенно излишне платить большие суммы генералам, которые никогда не выходили на поле боя, и полковникам, которые редко навещали свои полки. Придворные были полностью уверены, что вмешательство в их жалованье означает нарушение самых священных прав собственности. В 1787 году, когда требовалась строжайшая экономия, король объединил "Большую конюшню" и "Малую конюшню", бросив герцога де Коиньи, отвечавшего за последнюю, на произвол судьбы. Несмотря на то, что были предприняты все меры, чтобы пощадить чувства герцога и его карман, он был очень возмущен этими переменами, и между ним и королем произошла бурная сцена. "Нас действительно спровоцировали, герцога де Коиньи и меня, - добродушно говорил потом Людовик, - но, думаю, если бы он меня ударил, я бы его простил". Герцог, однако, не был столь миролюбив, как король. Получив очередное назначение, он в запальчивости отказался от него. Королева была недовольна таким проявлением вспыльчивости и заметила одному из придворных, что герцог де Коиньи не оценил проявленного к нему внимания.

"Мадам, - прозвучало в ответ, - он слишком много теряет, чтобы довольствоваться комплиментами. Плохо жить в стране, где нет уверенности в том, что сегодня ты обладаешь тем, что имел вчера. Раньше такое случалось только в Турции"[Сноска: Besenval, ii. 255].

Рассматривая французское правительство в XVIII веке, нелегко решить, где кончается рабочая администрация и где начинается бесполезный суд, не отвечающий никаким реальным целям. Государственные министры считались частью двора. Так же как и многие высшие гражданские служащие, военный штаб короля и, в некотором смысле, гвардия и домашние войска. Так же как и "великие слуги", имевшие характер государственных должностей, церемониальных почестей и домашнего труда. К ним относились домовые, палата, антикамера и кладовая, большая и малая конюшни с их великим оруженосцем, первым оруженосцем и пажами, которые должны были доказывать свое благородство в угоду королевскому герольду. Был департамент охоты и департамент зданий, отдельный департамент для королевских поездок, один - для охраны, другой - для полиции, третий - для церемоний. Было пятьсот офицеров "рта", столоначальников, отличных от стулоначальников. Были и торговцы - от аптекарей и оружейников на одном конце списка до седельных мастеров, портных и скрипачей на другом.

Когда у Марии-Антуанетты наконец-то родился ребенок (к всеобщему разочарованию, только девочка), прошел слух, что за ребенком будут ухаживать с особой простотой. Мать королевы, императрица Мария Терезия, находящаяся в далекой Вене, бьет тревогу. Она не одобряет "нынешнюю моду по Руссо", согласно которой юных принцев воспитывают как крестьян. Посол в Париже спешит ее успокоить. Младенец не будет лишен разумных церемоний. Только для обслуживания ее королевской особы будет задействовано около восьмидесяти человек.[Сноска: Mercy-Argenteau, iii. 283, 292.] Военное и гражданское хозяйство короля и королевской семьи, как говорят, насчитывало около пятнадцати тысяч душ и обходилось в сорок пять миллионов франков в год. Держатели многих мест служили всего по три месяца в году, так что вместо одного офицера требовалось четыре и четыре жалованья.

При такой системе не приходится удивляться, что люди, управлявшие французским правительством, были в целом неспособны и корыстны. Большинство из них были скорее политиками, чем администраторами, и больше заботились о своем месте, чем о своей стране. Из тех немногих совестливых и патриотичных людей, которые получили власть, большинство очень быстро ее потеряли. Тюрго и Малешерб недолго оставались в Совете. Неккер, более осторожный и консервативный, смог удержаться на своем месте не лучше. Ревность Людовика была возбуждена, и он опасался господства человека, о котором общее мнение потомков сводилось к тому, что ему не хватало решительности. Калонн был отослан, как только попытался перейти от расточительности к экономии. Только Верженн из хороших слуг сохранил свой пост; возможно, потому, что он мало занимался финансовыми делами, а возможно, и потому, что умел держать себя в подчинении любой власти, которая находилась на подъеме. Продолжительное влияние оказали Морепас, старик, не заботившийся ни о чем, кроме себя, чьей главной целью в управлении было не иметь соперников и чье искусство состояло из такта и живости; и соперничавшие группировки Ламбалля и Полиньяка, руководившие королевой, которые были просто алчны.

Придворные и многочисленные люди, которых влекли в Версаль дела или любопытство, руководствовались системой правил, которые постепенно развивались и стали называться "этикетом". Это слово вошло в обиход. В нашей стране это непопулярное слово, и у многих людей сложилось впечатление, что то, что оно обозначает, не нужно. Однако это большое заблуждение. Этикет - это свод правил, не обязательно связанных с моралью, с помощью

которых регулируется взаимное общение. Каждое общество, будь то цивилизованное или варварское, имеет такой кодекс. Без него социальная жизнь была бы невозможна, ведь ни один человек не знал бы, чего ожидать от своих соседей, и не мог бы правильно истолковать слова и поступки своих товарищей. Именно повинаясь неписаному закону такого рода, американец снимает шляпу, входя в церковь, а азиат, входя в мечеть, снимает обувь; англичане пожимают друг другу руки, а африканцы трутя носами. Там, где этикет хорошо понятен и адаптирован к тем, кем он управляет, люди чувствуют себя спокойно, поскольку знают, что могут сделать, не обидевшись. Там, где он слишком сложен, он мешает им, затрудняя спонтанные действия, и нет никаких сомнений в том, что этикет, которым руководствовался французский двор, был устаревшим, нежелательным и громоздким. Его правила были разработаны для того, чтобы предотвратить путаницу и регламентировать подход придворных к королю. Поскольку все почести и вознаграждения исходили от королевского благоволения, люди непременно толпились вокруг монарха и толкали друг друга с неподобающей и опасной поспешностью, если их строго не сдерживали. Поэтому каждый должен был иметь свое место, определенное для него. Постоянно находиться рядом с королем и иметь возможность вовремя промолвить ему слово - бесценная привилегия. Быть нанятым на работу, связанную с его персоной, было знаком доверия. Правила нелегко было пересмотреть, ведь каждое из них касалось неотъемлемого права. Те, что действовали в правление Людовика XVI, были установлены его предшественниками, когда нравы были иными.

На исходе Средневековья частная жизнь, можно сказать, была роскошью, почти неизвестной ни одному человеку. Для него не было места в самом большом замке. Уединение редко было возможно или безопасно. Люди теснились вместе, не имея возможности скрыться друг от друга. Величайшие принимали своих иждивенцев, а зачастую и ели в своих спальнях. Конфиденциальная беседа проходила в амбразуре окна. Подобные обычаи исчезали постепенно, начиная с XVI века и до наших дней. Но уже во второй половине восемнадцатого века в моду стали входить современные способы и идеи. Однако этикет французского двора все еще оставался старомодным. Он слишком сильно посягал на частную жизнь короля; он серьезно ущемлял его свободу. Он слишком откровенно выставлял его на обозрение народа, склонного к насмешкам. Мужчина, который должен внушать благоговение, не должен одеваться и раздеваться на публике. Женщине, к которой относятся с почтением, должно быть позволено принимать ванну и рожать детей наедине[Сноска: См. рассказ о рождении первого ребенка Марии-Антуанетты, когда она подвергалась опасности из-за смешанной толпы, которая заполнила ее комнату, стояла на стульях и т. д., 19 декабря 1778 года. Campan, i. 201. В ее последующие заключения допускались только принцы крови, канцлер и министры, а также несколько других лиц. Ibid., 203].

Мадам Кампан, долгое время работавшая официанткой Марии-Антуанетты, оставила отчет о туалете королевы и о мелких происшествиях, которые могли его прервать. Все представление, по ее словам, было шедевром этикета; все в нем подчинялось правилам. Почетная дама и фрейлина, если они были вместе, при содействии Первой женщины и двух других женщин, выполняли главную работу; но между ними существовали различия. Фрейлина надевала юбку и подавала платье. Почетная дама налиwała воду, чтобы омыть руки королевы, и надевала сорочку. Если в туалете присутствовала принцесса королевской семьи или принцесса крови, почетная дама уступала ей эту функцию. Принцессе королевской семьи, то есть сестре, невестке или тетке короля, она передавала одеяние напрямую; принцессе же крови (кузине короля по крови или по браку) она не оказывала такой услуги. В последнем случае почетная дама передавала сорочку первой женщине,

которая вручала ее принцессе крови. Каждая из этих дам неукоснительно соблюдала эти обычаи, как подобает ее рангу.

Однажды зимним днем случилось так, что королева, полностью раздетая, собиралась надеть свою сорочку. Мадам Кампан держала ее расстегнутой. Вошла фрейлина, поспешила снять перчатки и взяла сорочку. Когда она еще держала ее в руках, в дверь постучали, и она тотчас же открылась. Вошедшей оказалась герцогиня Орлеанская, принцесса крови. С ее высочества сняли перчатки, она подалась вперед, чтобы взять сменку, но фрейлина не могла отдать ее прямо ей, и поэтому передала ее обратно мадам Кампан, которая отдала ее принцессе. В этот момент в дверь снова постучали, и вошла графиня Прованская, известная как мадам, невестка короля. Герцогиня Орлеанская вручила ей сорочку. Королева тем временем скрестила руки на груди и выглядела холодной. Мадам увидела ее неприятное положение и, не дожидаясь, пока она снимет перчатки, просто отбросила платок и надела на королеву сорочку. В спешке она сбила волосы королевы. Та разразилась смехом, чтобы скрыть свою досаду, и только несколько раз пробормотала между зубами: "Это отвратительно! Какая неприятность!"

Этот анекдот - лишь один из примеров известного и небезосновательного отвращения Марии-Антуанетты к этикету французского двора. Но молодая королева не пыталась изменить этот этикет, она пыталась лишь уклониться от него. О Марии-Антуанетте как о женщине написано немало: ее ужасные несчастья и стойкость, с которой она их переносила, вызвали сочувствие всего человечества. Ее поведение как королевы-консорты рассматривалось меньше. Эта женщина была живой и приветливой, обладала большим личным обаянием, которое производило впечатление на всех, кто к ней приближался; но это мало что значило для нации, чьи дела касались королевы. Каковы же были обязанности ее должности и как она их выполняла?

В первую очередь от нее требовался парад. Она должна была поддерживать блеск и привлекательность французской монархии. Несмотря на ее нетерпение к этикету, из всех своих государственных обязанностей она лучше всего справлялась именно с этим. Ее манеры были достойными, любезными и уместно разборчивыми. Говорят, что она могла одним движением поклониться десяти людям, выражая головой и глазами признание, причитающееся каждому в отдельности.

Она также владела искусством говорить с несколькими людьми одновременно, так что каждый чувствовал, будто ее замечания были адресованы ему самому, и не менее важным искусством (иногда его называют королевским) запоминать лица и имена. Когда она переходила из одной части дворца в другую, окруженная придворными дамами, зрителям казалось, что она превосходит их всех благородством своего облика и достойной грацией своей осанки. Она обладала венцом женской красоты - хорошо поставленной и гордо поднятой головой. Ее походка представляла собой скользящее движение, в котором шаги не были четко различимы. Иностранцы вообще были очарованы ею, и именно им она в немалой степени обязана своей посмертной популярностью. Французская знать, напротив, небезосновательно жаловалась, что королева была слишком предана обществу нескольких интимных спутников, ради которых она пренебрегала другими людьми. В связи с этим ее двор иногда был сравнительно пустынным. Но молодую королеву вряд ли можно сильно упрекнуть, если она часто предпочитает свои удовольствия и друзей утомительным обязанностям своего положения. Мария-Антуанетта не получила достаточного образования и воспитания. Ее симпатии и антипатии были сильны, и она не была полностью свободна от мелкой злобы. "Ты говоришь мне, - писала Мария-Терезия своей дочери, - что из любви ко мне ты хорошо относишься к Брогли, хотя лично к тебе они относятся неуважительно". Это

еще одна странная мысль. Разве может маленький Брогли быть непочтительным по отношению к вам? Я этого не понимаю. Никто никогда не был неуважителен ни ко мне, ни к кому-либо из ваших десяти братьев и сестер". Этот королевский упрек был написан отнюдь не королевой-изменницей. Мария-Антуанетта никогда не поднималась на эту высоту достоинства, где великая повелительница восседает над облаками. В дни своего процветания она, конечно, никогда не приближалась к ней. Возможно, ни одна смертная женщина не достигала ее в ранней жизни. [Сноска: Mercy-Argenteau, *passim*, и особенно i. 218, 265, 279; ii. 218, 232, 312, 525; iii. 56, 113, 132 и п., 157, 265, 490. Тилли, *Мемуары*, 230. Cognel, 59, 84; Wraxall, i. 85; Walpole's *Letters*, vi. 245 (23 августа 1776 г.) и т. д.].

Одна из важнейших обязанностей королевы-консорты - подавать хороший пример в нравственности. Здесь Мария-Антуанетта была не на высоте. Возможно, ее поведение в личной жизни было оклеветано, но она сама навлекла на себя эту клевету. Помимо кодекса морали, в каждой стране существует кодекс приличий, и люди, которые привыкли делать то, что считается неприличным, должны благодарить только себя, если их сомнительные поступки подвергаются суровой оценке. Скандалы, связанные с Марией-Антуанеттой, были многочисленными и публичными. Молодая королева Франции выбирала себе в интимные спутники мужчин и женщин с дурной репутацией. Ее брат, Жозеф II, был потрясен, когда посетил ее, знакомыми манерами, которые она допускала. Он писал ей, что английские путешественники сравнивали ее двор со Спа, известным в то время игорным заведением, а дом принцессы Геменской, который она имела привычку посещать, он называл "настоящим игорным заведением". По дворцу разнеслись обвинения в карточном шулерстве, а у одного придворного отняли карман в королевской гостиной. Королеву постоянно окружали рассеянные молодые дворяне, которым в дни скачек разрешалось появляться в ее присутствии в костюмах, шокировавших консервативных людей. Ее саму узнавали на публичных балах-маскарадах, где худшие женщины столицы толкались с великими вельможами двора. Когда она заболела корью, четыре джентльмена из числа ее особых друзей были назначены сиделками и почти не покидали ее покоев ни днем, ни вечером. Люди с иронией спрашивали, какие четыре дамы будут ухаживать за королем, если он заболеет. В своих развлечениях она редко сопровождала мужа. Вряд ли в ее пользу говорило то, что он был человеком, к которому молодая и пылкая женщина не могла питать страстных чувств.

Страна была в глубоком долгу, и в течение части царствования шла дорогостоящая война. Очевидно, что королева была обязана сократить свои расходы и показать пример экономии. Однако ее требования к казне были очень велики. Ее личное содержание было намного больше, чем у предыдущей королевы, и она часто влезала в долги. Несмотря на известное отвращение ее мужа к азартным играм, ее проигрыши были значительными. Она увеличила количество дорогих и бесполезных канцелярий при дворе. Она была постоянно доступна для алчных фаворитов. Слабый король мог хотя бы признать, что он чем-то обязан своим подданным; королева же, похоже, считала, что доходы Франции предназначены главным образом для того, чтобы обеспечивать средствами королевские щедроты людям, которые ничем их не заслужили. С другой стороны, она признавала долг частной благотворительности и считала, что таким образом заслуживает благодарность своих подданных. Мысль о том, что налогоплательщик имеет право на какое-либо вознаграждение, похоже, не приходила ей в голову.

Если бы Мария-Антуанетта была женой сильного и умелого короля, она, вероятно, была бы совершенно права, избегая вмешательства в управление государством. Будучи замужем за Людовиком XVI, она неизбежно должна была пытаться направлять его колеблющуюся волю в

государственных делах. Поэтому уместно спросить, было ли ее влияние в целом направлено в нужную сторону.

Очевидно, что в начале ее правления государственные дела ее не интересовали, хотя ее чувства часто были сильно движимы за или против тех или иных лиц. Ее предпочтение Шуазеля и его приверженцев перед Эгийоном и его партией было естественным и вполне обоснованным. Герцог Шуазель был не только автором австрийского союза и брака королевы, но и самым способным министром, который в последнее время пользовался популярностью во Франции. Если бы Мария-Антуанетта имела такое же влияние на своего мужа в 1774 году, какое она получила позже, она, возможно, смогла бы преодолеть то, что, похоже, было одним из самых сильных его предрассудков, и вернуть Шуазеля к власти, на благо страны. Но ее усилия в этом направлении были безуспешны. В отношениях с другими министрами, Турго, Малешербом и Неккером, ее голос в целом был на стороне экстравагантности и двора, и против экономии и нации. Это, в гораздо большей степени, чем интриги фракции, стало причиной непопулярности, которая преследовала ее до самой могилы. Если двор Франции был коррумпированным кольцом, живущим за счет страны, то Мария-Антуанетта была не так уж далека от того, чтобы быть его центром.

### ГЛАВА III.

#### СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

Жители Франции делились на три сословия, различавшиеся по своим юридическим правам. Это были духовенство, дворянство и община, или третье сословие. Первые два, о которых принято говорить как о привилегированных сословиях, численно составляли лишь небольшую часть населения, но их богатство и положение придавали им огромное значение.

Духовенство составляло, как не уставали жаловаться философы, государство в государстве. Никакой точной статистики о нем получить невозможно. По всей видимости, в стране насчитывалось от ста до ста тридцати тысяч лиц, давших обеты религии, как регулярной, так и светской. Им принадлежало, вероятно, от одной пятой до одной четверти земли. Пропорция была чрезмерной, но не похоже, что мирские жители страны были таким образом переполнены. Как и у других землевладельцев, у духовенства были арендаторы, и они были далеко не самыми плохими хозяевами. Во-первых, они редко отсутствовали. Настоятель монастыря мог проводить время в Версале, но настоятель и монахи оставались, чтобы выполнять свой долг перед своими крестьянами. Говорят, что церковные земли обрабатывались лучше всех в королевстве, а крестьяне, которые их обрабатывали, были самыми лучшими.[Сноска: Barthélémy, *Erreurs et mensonges historiques*, xv. 40. Статья под названием "Вопрос о конгрегациях за сто лет", в основном цитирующая Féroux, *Vues d'un Solitaire Patriote*, 1784. См. также Genlis, *Dictionnaire des Étiquettes*, ii. 79. Mathieu, 324. Babeau, *La vie rurale*, 133]. В любом случае церковь была богата. Ее доход от инвестированной собственности, главным образом земли, оценивался в сто двадцать четыре миллиона ливров в год. Еще примерно столько же она получала от десятины, а также, по разным подсчетам, от сборов, которые поступали по таким случаям, как свадьбы, крестины и похороны.

Десятина взималась по всей Франции для поддержки духовенства. Однако она взималась не со всех видов продукции и обычно составляла одну десятую часть урожая. Иногда десятина складывалась из фиксированной денежной ренты, иногда - из определенного количества снопов или мер вина с акра. Чаще это была фиксированная доля урожая, варьировавшаяся от одной четверти до одной сороковой. В некоторых местах древесина, фрукты и другие товары не облагались налогом, в других - взимались. В некоторых случаях десятину брали с телят, ягнят, кур, поросят-сосунов, шерсти или рыбы; духовенство или владельцы десятины

были обязаны предоставлять необходимых быков, баранов и кабанов. Обычно различали большую десятину, взимающуюся с таких распространенных товаров, как кукуруза и вино, и малую десятину, взимающуюся с менее важных культур. Первая часто выплачивалась епископам, а вторая - приходскому священнику. В некоторых случаях десятина отчуждалась церковью и переходила в собственность светских собственников. В целом считается, что этот налог на сельскохозяйственный класс во Франции составлял примерно одну восемнадцатую часть валового продукта земли [Сноска: Chassin, *Les cahiers due clergé*, 36. Bailly, ii. 414, 419. Boiteau, 41. Rambaud, ii. 58 n. Taine, *L'ancien Régime* (книга i. глава ii.). Принято считать, что ливр времен Людовика XVI имел по крайней мере вдвое большую покупательную способность, чем сегодняшний франк].

Все духовенство, существовавшее в пределах королевства, не подчинялось тем же правилам и законам. Большая его часть составляла так называемое "Духовенство Франции" и обладала особыми правами и привилегиями, о которых мы сейчас расскажем. Однако те церковники, которые проживали в некоторых провинциях, расположенных преимущественно в северной и восточной частях страны и присоединенных к королевству с начала XVI века, назывались "иностранным духовенством". Они не разделяли прав основной массы, но зависели от папства более непосредственно. Они платили определенные налоги, от которых духовенство Франции было освобождено. Способ назначения в епископства и аббатства среди них отличался от того, что было в остальной части страны. По всей Франции и во всех делах, церковных и светских, были подобные аномалии.

Церковь Франции пользовалась большими и особыми привилегиями, как среди церквей христианского мира, так и среди сословий французского королевства. По Конкордату, или договору 1516 года, заключенному между папой Львом X. и королем Франциском I, назначение в епископы и на значительные церковные должности было передано королю, а за святым отцом оставалось лишь право вето на назначения. *Аннаты*, или первые плоды епископств, - налоги, теоретически равные годовому доходу при каждой смене инкумбента, но фактически составлявшие меньшую сумму, - выплачивались папе, и они, вместе с другими пошлинами, составляли сумму в три или четыре миллиона ливров, ежегодно отправляемых из Франции в Рим. С другой стороны, духовенство Франции было единственным органом в государстве, обладавшим неоспоримыми конституционными правами, независимыми от престола. Его очередные ассамблеи проводились раз в десять лет. Страна была разделена на шестнадцать церковных провинций, каждая из которых находилась под управлением архиепископа. В каждой из этих провинций проводилось собрание, состоящее из делегатов различных епархий. Каждое из этих провинциальных собраний избирало двух епископов и двух других церковнослужителей, либо регулярных, либо светских. Эти депутаты получали от своих избирателей инструкции, называемые *cahiers*, которые они должны были отнести в Орденосное собрание духовенства, проходившее в Париже. Этот орган предоставлял субсидии королю, управлял долгами и другими светскими делами духовенства, а также неофициально высказывался даже по вопросам вероучения. Малые ассамблеи, почти равные по силе, собирались по крайней мере раз в промежутки, который проходил между заседаниями Ордена; таким образом, не реже одного раза в пять лет церковь Франции осуществляла настоящую политическую деятельность. Сумма, выделяемая королю, называлась "Свободным даром", и это название было не совсем уместным, поскольку, хотя министры короля и заявляли о необходимости ее получения, корона нередко выдвигала свои условия. Так, в 1785 году, по случаю подарка в восемнадцать миллионов ливров, было потребовано уничтожение произведений Вольтера. А один раз, по крайней мере, в 1750 году, по случаю раздора между церковью и двором, духовенство отказалось делать какие бы то ни было пожертвования. Общая сумма

"Свободного дара", назначенного во время правления Людовика XVI, составила 65 800 000 ливров, или в среднем менее четырех с половиной миллионов в год. Подати не были ежегодными, а выдавались время от времени единовременными суммами, для чего требовалось голосование двух третей членов ассамблеи. Ассамблея сама устанавливала налог на епархии. В отсутствие ассамблеи делами духовенства управляла комиссия. У ордена была своя казна, и его кредит был хорошим. Король был его должником на сумму около ста миллионов ливров.

Духовенство само было в долгах. Вместо того чтобы напрямую, путем налогообложения своих членов, собирать деньги, которые оно выплачивало государству, оно приобрело привычку занимать необходимую сумму. Судя по всему, сумма долга составила около ста тридцати четырех миллионов ливров. Помимо суммы, необходимой для выплаты процентов по этому долгу и резерва для его постепенного погашения, орден должен был покрывать различные расходы. Для этих целей он облагал себя налогом на сумму более десяти миллионов ливров в год. С другой стороны, он получал от короля субсидию в размере двух с половиной миллионов ливров. Духовенство Франции было освобождено от большинства регулярных прямых налогов, которые платили французы. [Сноска: *Revue des questions historiques*, 1st July, 1890 (L'abbé L. Bourgain, *Contribution du clergé à l'impôt*). Sciout, i. 35. Boiteau, 195. Rambaud, ii. 44. Necker, *De l'Administration*, ii. 308. Приведенный выше финансовый отчет относится только к духовенству Франции. Его денежные дела столь же сложны и сомнительны, как и дела любой части нации в этот период, и неоднократно становились предметом путаных заявлений, религиозных и политических споров. Иностранное духовенство платило часть обычных налогов, давая государству около миллиона ливров в год при доходе в двадцать миллионов ливров. Boiteau, 196.]

Епископы не подчинялись светским трибуналам, но другие священнослужители попадали под королевскую юрисдикцию в мирских делах. В духовных делах их судили церковные суды.

Доходов духовенства, если бы они распределялись справедливо, было вполне достаточно для содержания каждого, кто был связан с орденом. Однако они распределялись весьма пристрастно. Над духовенством, как французским, так и иностранным, было поставлено восемнадцать архиепископов и сто двадцать один епископ, а также одиннадцать епископов *in partibus infidelium*, которые, не имея своих собственных кафедр во Франции, могли рассчитывать на общую пользу. Эти сто пятьдесят епископов получали очень высокое, хотя и неравномерное жалование. Епископства, за редким исключением, предназначались для представителей дворянства, и это правило соблюдалось при Людовике XVI так же строго, как и при любом из его предшественников. Ничто не препятствовало накоплению церковных благодеяний, и этот прелат был всего лишь бедным придворным, который не пользовался доходами нескольких богатых аббатств. Не только деньгами и церковными преференциями епископы получали плату за услуги, которыми они слишком часто пренебрегали.

Не многие из них стали баронами, графами, герцогами, князьями Священной Римской империи или пэрами Франции благодаря своим визитам. Некоторые из них стали государственными министрами. Уже в ту эпоху их обвиняли в мирской жизни. Поговорка гласила, что из испанских епископов и французских священников можно составить отличное духовенство. Но не все французские епископы были мирскими и пренебрегали своими духовными обязанностями. Среди них можно было найти добросовестных и серьезных прелатов, преуспевающих как в вере, так и в добрых делах, живущих просто и раздающих свое богатство на благотворительность. [Сноска: Rambaud, ii. 37. Mathieu, 151].

После епископов шли аббаты. Поскольку их должности находились в распоряжении короля, а дисциплина не была установлена, их можно было встретить в основном в прихожих Версаля и в парижских гостиных. Они даже не обязаны были быть членами религиозных орденов, которыми должны были управлять[Сноска: Настоятели аббатств назначались королем. По всей видимости, к ним относилось большинство богатых аббатств. Существовали также *аббатства*, где аббат избирался братией. Rambaud, ii. 53. Доходы монастырей делились на две части: *mense abbatiale* - для аббата, *mense conventuelle* - для братии. Mathieu, 73]. Оставляя управление своими монастырями настоятелям, они тратили доходы там, где нужно было искать новых преференций, и посвящали свое время интригам, а не молитвам. Не малая часть доходов духовенства уходила на расточительство этих церковных придворных. Им подражал в своих пороках сброд священников, которым из вежливости давали титул аббата, - маленькие *аббатисы* из французских биографий и беллетристики. Эти люди жили в мансардах, посещали дешевые забегаловки, появлялись в определенные дни недели за столами богачей и зарабатывали на жизнь, как могли. Их можно было увидеть среди торговцев и ухажеров, толпившихся на набережных великих, их можно было отличить в толпе по черным одеждам и очень маленькой тонзуре. Они посещали туалеты модных дам, всегда готовые поделиться последними литературными сплетнями или светским скандалом. Они искали работу секретарей или писателей для прессы. Церковь или даже противоположная партия могли в любой момент найти среди них литературных поборников. Не всегда оставалась надежда и на профессиональную карьеру. Говорят, что один из них держал церковную разведку. Этот человек был знаком с обладателями ценных состояний; он следил за состоянием их здоровья и рассчитывал шансы на смерть среди них. Он знал, какие покровители могут получить преференции и как с ними связаться. Его курьеры постоянно находились на пути в Рим, ведь папа, несмотря на Конкордат, все еще владел многими богатыми местами во Франции[Сноска: Mercier, ix. 350].

Еще одна значительная часть доходов церкви шла на содержание монастырей. В них содержалось от шестидесяти до семидесяти тысяч человек, причем женщин было больше, чем мужчин. По разным причинам, и особенно благодаря действиям комиссии, назначенной для проверки всех монастырей и реформирования, закрытия или объединения тех из них, которые нуждались в подобном обращении, за последние двадцать пять лет монархии число регулярных религиозных лиц сократилось более чем наполовину. Тем не менее многие функции, которые в современных странах возлагаются на частную благотворительность или на прямые действия государства, в старой Франции выполнялись именно такими людьми. Забота о бедных и больных, а также воспитание молодежи в значительной степени, хотя и не полностью, находились в руках религиозных орденов. Некоторые монахи, например бенедиктинцы из Сен-Мора, посвятили свою жизнь развитию образования. Но были и такие монахи и монахини, которые не оказывали никаких услуг обществу, а были полностью заняты своими собственными духовными и мирскими интересами, подавая милостыню, возможно, но лишь случайно, как и другие граждане. Против них было возбуждено негодование французских философов. Их безбрачие подвергалось нападкам, как противоречащее интересам государства; их обвиняли в лени и жадности. Насколько правы были философы в своей оппозиции? Здесь невозможно подробно обсуждать политику разрешения или запрета религиозных корпораций в государстве. Следует ли разрешить мужчинам и женщинам удаляться от борьбы и обязанностей активной жизни в мире? Разве монастырь с его постоянной и унылой рутинной, с его религиозными обрядами, зачастую механическими, и тихой жизнью более или менее унижен, чем изнурительный труд в мире и грубые удовольствия в клубе или таверне? Что лучше: чтобы женщина, которую выбор или необходимость лишили всякой возможности управлять собственным домом, боролась с шансами и соблазнами городской жизни или постоянной рутинной девичества в деревне; или

чтобы она нашла одурманивающую защиту в монастыре? На эти вопросы редко удавалось найти ответ, исходя из их собственных достоинств. Они возникали в компании с другими, еще более важными; с вопросами свободы совести и национального существования. Похоже, не за горами то время, когда их придется пересмотреть ради них самих. Уже сейчас во Франции людей, ведущих монашеский образ жизни, считается вдвое больше, чем было в начале Революции. Трудно определить их число в нашей стране, но оно немалое. [Сноска: Рэмбо (ii. 52 и сл.) считает, что в XVIII веке во Франции было 100 000 человек, а сегодня - 158 500, но цифры за последнее столетие, вероятно, слишком высоки, по крайней мере, если брать за точку сравнения 1788 год. В *"Католическом справочнике Сэдлиера"*, 1885, с. 116, число католиков в архиепархии Нью-Йорка составляет 117 штатных священников, 271 брат, 2136 религиозных женщин, в дополнение к 279 светским священникам].

Приятная жизнь, должно быть, была у обитательниц некоторых монастырей. Доходы были большими, обязанности - легкими.

Некоторые дома были секуляризированы и превращены в дворянские капеллы. Дамы, населявшие их, были освобождены от обета бедности. Они не носили религиозного облачения, а появлялись в модном тогда платье. В монастыре они принимали своих друзей, а сами могли покинуть его, чтобы вернуться к светской жизни и выйти замуж, если пожелают. Таким капитулом был Ремиремон в Лотарингии, настоятельница которого в силу своего сана была принцессой Священной Римской империи. Ее костыль был из золота. В ее карету были запряжены шесть лошадей. Ее владения распространялись на двести деревень, жители которых платили ей и феодальные подати, и церковную десятину. Ее обязанности также не были обременительными. Большую часть времени она проводила в Страсбурге и без стеснения посещала театр. Она много путешествовала по окрестностям и была знакомой фигурой в некоторых мелких судах на Рейне. Канониссы следовали ее доброму примеру. Некоторые из них постоянно находились в разъездах. Другие оставались дома, в монастыре, и собирали много хороших компаний. Одевались они как все, по моде, ничем не выделяя свое религиозное призвание, кроме широкой ленты через правое плечо, синей с красной каймой, поддерживающей крест с изображением святого Ромарика. Ни одна дама не принималась в капитул, если не могла доказать девять поколений или двести двадцать пять лет рыцарского, благородного происхождения, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Такие требования были крайними, но подобные условия не были редкостью. Бенедиктинцы Сен-Клода, преобразованные в капитул канонесс, требовали шестнадцать квотеров для приема; то есть каждая канонесса должна была доказать надлежащим геральдическим доказательством, что ее шестнадцать прадедов и прабабушек были благородной крови. Мальтийским рыцарям требовалось всего четыре четверти. Во Франции у них было двести двадцать командорств с восемьюстами рыцарями. Великое Приоратство давало доход в шестьдесят тысяч ливров приору, который всегда был принцем. Доходы ордена составляли 1 750 000 ливров.

Но очень богатые монастыри были все-таки исключением. Гораздо чаще встречались те, где жизнь была тяжелой, а труд - непрерывным. В некоторых из них сорок человек жили на совместный доход в шесть тысяч ливров в год. Они возделывали землю, строили, копали. Они не боялись великих начинаний в архитектуре или инженерии, которые должны были быть осуществлены только после долгих лет и трудов многих поколений, ибо разве их корпорация не была бессмертной? Затем мы имеем нищенствующие ордена, заполонившие дороги и деревни и вытягивающие по несколько миллионов ливров в год из бедных слоев населения, которые поддерживали их и роптали на них. А против роскоши благородных

капитулов следует поставить тишину, бдения, посты Ла Траппа. Этот монастырь стоял в мрачной долине, утопающей среди лесистых холмов. Церковь и окружающие ее здания были в основном старыми, мрачными и непривлекательными. В каждой узкой келье были только матрас, одеяло и стол, без стула и огня. Монахи были одеты в рясу и капюшон, носили обувь и чулки, но не имели ни рубашки, ни бриджей. Они брились три раза в год. Их пища состояла из вареных овощей и салата раз в неделю; никогда не было ни масла, ни яиц. Дважды за ночь они вставали и, дрожа от холода, спешили в часовню. Они никогда не разговаривали, кроме как со своим духовником, пока в свой последний час каждый из них не получил привилегию передать настоятелю свои предсмертные послания. Сюда, из активного и веселого мира философии и фриivolности, время от времени внезапно уходил какой-нибудь молодой офицер, ученый или придворный. Здесь, связанный нерушимыми обетами, он мог плакать о своих грехах или скрежетать зубами о глупости, которая его привела, пока наконец не находил покой в жизни или в могиле.

Чтобы пользоваться мирскими привилегиями религиозной жизни, не требовалось ни большого возраста, ни обширной образованности. Для того чтобы занимать должность кюре душ или аббата в "регулярном" монастыре (его обитатели выбирали своего аббата), мужчине должно было исполниться двадцать пять лет. Но аббату, назначенному королем, должно быть всего двадцать два года, канонику собора - четырнадцать, а капеллану - семь. Не приходится сомневаться, что лица любого пола были обязаны давать безотзывные обеты, не имея ни доказательств свободного призвания, ни оснований ожидать твердого решения. Таким образом, можно было удобно распорядиться дочерьми и младшими сыновьями. Большая доля оставалась семье, так как религиозные люди умирали гражданским браком и не принимали участия в наследовании. С другой стороны, обительницам монастыря не нужно было опасаться несчастий и нужды. Если монахиня была потеряна для радостей мира, она была потеряна и для его забот. Делать такой выбор, совершать мирское самоубийство, совсем юным, конечно, не следовало. И только в 1768 году время принятия окончательных обетов было перенесено на весьма умеренный возраст - двадцать один год для юношей и восемнадцать лет для девушек[Сноска: Rambaud, ii. 45. Матье, 43. Шассен, 25. Буато, 176. Бейли, 421. Мадам д'Оберкирх, 127. Mme. de Genlis, *Dict. des Étiquettes*, i. III n., *Le Comte de Fersen et la Cour de France*, I. xxix. Mercier, xi. 358.]

Светское духовенство было примерно таким же многочисленным, как и регулярное. В основном оно состояло из кюре и викариев, которые управляли приходами[Сноска: Епископы, конечно, принадлежали к светскому духовенству. Как, собственно, и каноники, которые, в силу сходства их образа жизни, рассматривались вместе с регулярным духовенством. Во французской иерархии кюре стоит выше викария. Отношения между ними примерно такие же, как между пастором и викарием в английской церкви]. Эти люди в большинстве своем были выходцами из низших слоев общества или, во всяком случае, не из дворянства. Поэтому у них было очень мало шансов на продвижение по службе. Некоторые из них в сельской местности были очень бедны; ведь большая десятина, взимаемая с основных урожаев, обычно принадлежала епископам, регулярным монастырям или мирянам; и только меньшая десятина, случайные сборы[Сноска: *Casuel*.] и продукт небольшого глеба предназначались для приходского священника, а последний был подвержен постоянным спорам с крестьянами по поводу своих податей. Но приходской священник, как и все остальные церковники, был освобожден от государственных налогов, хотя и обязан был платить часть децимов[Сноска: Децим, в единственном числе, был чрезвычайным налогом, взимаемым с церковных доходов для какого-либо объекта, считавшегося важным. *Décimes*, во множественном числе, - налог, который ежегодно выплачивали прихожане. *Dîme* - десятина (см. Littré, *Décime*). Вопрос о том, была ли доля

децима, выплачиваемая приходскими священниками, слишком велика, представляется спорным. См. *Revue des questions historiques*, 1 июля 1890 г., 102. Necker, *De l'Administration*, ii. 313.] или специальный налог, взимаемый духовенством по собственному распоряжению. Кроме того, правительство устанавливало минимальный размер налога; [Сноска: *Portion congrue*.] и если доход приходского священника падал ниже этого уровня, владелец большой десятины был обязан возместить разницу. Этот минимум был установлен на уровне пятисот ливров в год для *куре* в 1768 году и повышен до семисот в 1785 году. *Викарий* получал двести и триста пятьдесят. Эти суммы не кажутся большими, но они должны были обеспечивать сельскому священнику сносное состояние, поскольку мы не видим, чтобы профессия священника была заброшена.

Помимо соображений материального благополучия, положение приходского священника не было нежелательным. Он был достаточно независим, и его нельзя было лишить средств к существованию без надлежащего судебного разбирательства. Его дом был больше или меньше в зависимости от его средств, но его власть и влияние в любом случае могли быть значительными. Он получил больше образования и имел больше дел с внешним миром, чем большинство его прихожан. К нему мог обратиться интендант провинции за информацией о состоянии его деревни, о потерях крестьян от пожаров или эпидемий среди скота. Его сочувствие к односельчанам было тем сильнее, что у него, как и у них, был участок земли, который нужно было обрабатывать, будь то сад, огород или виноградник. За его дверью, как и за их дверью, скреблись несколько кур; возможно, из своего сарая доносилось мычание коровы или она шла за деревенским стадом на пастбище. Служанка священника, крепкая девушка, занималась дойкой и прополкой. В 1788 году провинциальный синод был сильно обеспокоен предложением, внесенным каким-то фанатиком в интересах нравственности, о том, что ни один священник не должен держать служанку моложе сорока пяти лет. Правило было отклонено на том основании, что это сделает невозможным возделывание глебы. Несомненно, сами священники часто подворачивали юбки своих ряс и помогали в работе. Паства относилась к ним с некоторой долей уважения. К ним обращались как к *мессиру*. Их связь с радостями и горестями прихожан была одновременно интимной и профессиональной. К их услугам прибегали больные и печальные, их поздравления принимали счастливые. Без них не обходилась ни одна свадьба, ни одно погребальное торжество [Сноска: Turgot, v. 364. Это письмо очень интересно, поскольку показывает важность *куре* и их возможные отношения с интендантом. Mathieu, 152. Babeau, *La vie rurale*, 157. Хорошее исследование духовенства до революции можно найти в статье Мариуса Сепета (*La société française à la veille de la révolution*), опубликованной в *Revue des questions historiques*, 1 апреля и 1 июля 1889 года].

Привилегии и иммунитеты, которыми пользовалась церковь Франции, придавали ее духовенству оттенок независимости как от папы, так и от короля. Мы видели, как они сопровождали свои "свободные дары" последнему просьбами и условиями. По отношению к Святому престолу их отношение когда-то было столь же смелым. В 1682 году ассамблея Церкви Франции обнародовала четыре положения, которые считались оплотом галликанских свобод.

(1.) Бог не дал Святому Петру и его преемникам никакой власти, прямой или косвенной, над мирскими делами.

(2.) Вселенские соборы превосходят папу в духовных вопросах.

(3.) Правила, обычаи и уставы, принятые королевством и Церковью Франции, должны оставаться неприкосновенными.

(4.) В вопросах веры решения суверенного понтифика становятся безоговорочными только после получения согласия церкви".

Эти предложения, несомненно, являлись частью законодательства Франции и были полностью приняты частью французского духовенства. Но дух, который их диктовал, в какой-то мере угас во время коррумпированного правления Людовика XV. Долгие распри между иезуитами и янсенистами, будоражившие галилейскую церковь во второй половине XVII и в начале XVIII века, не способствовали ни укреплению, ни очищению этого органа. Большое количество самых серьезных, умных и благочестивых католиков во Франции было поставлено в оппозицию к наиболее влиятельной части духовенства и самому Папе. Таким образом, французская церковь оказалась не в том положении, чтобы отразить яростные нападки на нее извне[Сноска: Rambaud, ii. 40. Католический рассказ о янсенистской ссоре см. в Carné, *La monarchie française au 18me siècle*, 407].

Для католической церкви наступило время испытаний, и церковь Франции, едва осознав свою опасность, оказалась на переднем крае битвы. Именно против нее было направлено самое упорное и яростное нападение философов. Прежде чем рассматривать доктрины этих людей, которые очень сильно расходились между собой по многим вопросам, стоит спросить, в чем причина того сильного волнения, которое вызвали их доктрины. Такие же великие люди существовали и в другие века и оказывали огромное влияние на человеческий разум.

Но это влияние, как правило, было постепенным; оно медленно просачивалось через умы ученых и мыслителей к людям действия и народу. Интеллектуальное движение восемнадцатого века во Франции было стремительным. Именно характер оппозиции, с которой они столкнулись, привлек внимание народа к нападкам философов.

## ГЛАВА IV.

### ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ПРОТИВНИКИ.

За новым рождением образования в пятнадцатом и шестнадцатом веках последовало усиление и централизация власти, как церковной, так и государственной. Франция в полной мере ощутила на себе все эти перемены. Ее гражданское правительство стало самым сильным в Европе, подавляя всякое дыхание оппозиции. Против политического поведения Людовика XIV не осмеливался поднять голос ни один судья или гражданин. С другой стороны, церковь Франции, находясь в тесном союзе с гражданской властью, стала почти непреодолимой в своей собственной сфере. Католическая церковь во всей Европе была великим учителем цивилизации. Она впала в обычную ошибку школьных учителей, приняв на себя непогрешимость. Более того, она была государством внутри всех государств. Его государь, Папа Римский, самый могущественный монарх христианства, выбирается в соответствии с любопытным и тщательно разработанным набором правил выборщиками, назначенными его предшественниками. Его правление, номинально деспотическое, ограничено властью и влиянием, понятными лишь немногим за пределами его дворца. Его правительство, несмотря на высокую степень централизации, способно эффективно работать во всех странах Земли. Его обслуживает огромное количество чиновников, которые в целом, вероятно, менее коррумпированы, чем чиновники любого другого государства. Они

поддерживаются в порядке не только моральными и духовными санкциями, но и системой мирского продвижения по службе. Над своими подданными они орудуют огромным оружием, иногда заимствованным, но редко долго и умело используемым мирянами, и называемым, на церковном языке, отлучением. Это оружие, когда оно сводится к отказу от религиозных привилегий, можно считать духовным. Но в восемнадцатом веке мирская власть католической Европы все еще в значительной степени находилась на службе у церковных властей. Подчинение церкви было законом государства. Хотя при Людовике XVI французов перестали казнить за ересь, они по-прежнему подвергались преследованиям. Имущество протестантов было под угрозой, их браки недействительны. У них могли отнять детей. Существовавшая веротерпимость была шаткой, и церковь Франции постоянно призывала временное правительство принять более решительные меры для искоренения ереси.

Церкви удалось внедрить в сознание своих приверженцев одно мнение, имеющее огромное значение в борьбе за власть. Будучи изначально и по сути своей ассоциацией для исповедания и распространения религии, корпорация сумела сделать себя объектом поклонения. Одной из главных причин, по которой атеизм укоренился во Франции, была невозможность, вызванная долгой привычкой, провести различие между религией и католицизмом и представить себе, что одно может существовать без другого. Церковные уставы стали столь же священными, как и основные обязанности благочестия, а предписание воздерживаться от мяса по пятницам было для большинства католиков неотличимо по обязательности от предписания любить Господа Бога своего.

Протестантские церкви, отделившиеся от Римской церкви в XVI веке, в значительной степени несли в себе нетерпимый дух первоначального тела. Это одна из банальных насмешек неосмысленных людей - говорить, что религиозная терпимость всегда была догмой более слабой стороны. Это высказывание, если бы оно было правдой, а это не так, все же не было бы особенно мудрым. Терпимость, как и другие вещи, больше всего искали те, кто больше всего в ней нуждался. Но они не всегда признавали ее ценность. Это был не маленький шаг в прогрессе человеческого разума, когда люди стали рассматривать религиозную терпимость как желательную или возможную. В восемнадцатом веке мудрые и либерально настроенные люди с трудом соглашались с тем, что государство может одинаково благосклонно относиться ко всем формам вероисповедания. Возможно, в те дни пламенные споры Реформации были еще слишком близки, чтобы позволить идеальному миру быть безопасным или выгодным.

Тем не менее религиозная терпимость пробивала себе дорогу в умах людей. Осторожно и с ограничениями эта доктрина излагается сначала Локком, Бейлем и Фенелоном в последней четверти семнадцатого века, а затем почти всеми великими писателями восемнадцатого. Протестанты, имея опыт преследований, утверждают, что нельзя терпеть тех, кто учит, что нельзя хранить веру с еретиками, или что короли, отлученные от церкви, лишаются своих корон и королевств; или кто приписывает себе какие-либо особые привилегии или власть над другими смертными в гражданских делах; короче говоря, они исключают католиков. Атеисты также могут быть исключены, поскольку они не обязаны по совести догматизировать свое отрицательное вероучение. Католики поддерживают право государя запрещать использование церемоний или исповедание мнений, которые нарушают общественный мир. Монтескье, только номинальный католик, заявляет, что основной принцип политических законов, касающихся религии, - не допускать установления новой формы, если это можно предотвратить; но когда она уже установлена, терпеть ее. Он отказывается утверждать, что ересь не должна наказываться, но говорит, что наказывать ее следует только с большой

осторожностью. В результате дела французских протестантов, судя по всему, остались такими же плохими, как и раньше; ведь законы отрицали, что они были установлены в королевстве, а церковь всегда утверждала, что она мягка и осмотрительна в своих отношениях с еретиками. Вольтер не говорит, что те, кто не придерживается той же религии, что и принц, должны участвовать в государственных почестях или занимать государственные должности. Подобные ограничения, казалось бы, должны были лишить толерантность большей части ее ценности, поскольку исключали из ее преимуществ тех, кто чаще всего подвергался преследованиям. Но изложение великого принципа гораздо эффективнее, чем перечисление его ограничений. Толерантность, красноречиво провозглашенная как идеал, пробила себе дорогу в умах людей. "Абсолютная свобода, справедливая и истинная свобода, равная и беспристрастная свобода - вот в чем мы нуждаемся", - восклицает Локк, и это высказывание сохраняется, когда забываются его исключения, касающиеся католиков. "Когда короли вмешиваются в религию, - говорит Фенелон, - вместо того чтобы защищать, они ее поработают"[Сноска: Locke, vi. 46, 46 (Письмо о веротерпимости). Bayle, Commentary on the Text "Compelle intrare" (for atheists), ii. 431, a., Fénelon, Oeuvres, vii. 123 (Essai philosophique sur le gouvernement civil). Монтескье, Oeuvres, iv. 68; v. 175 (Esprit des Lois, liv. xii. ch. v. и liv. xxxv. ch. x.). Felice, Voltaire, xli. 247 (Essai sur la tolérance)].

Французская церковь уже давно была жестока к своим противникам. Преследование французских протестантов, которое предшествовало и последовало за отменой Нантского эдикта в 1685 году, известно большинству читателей. Оно было долгим и кровавым. Но примерно в середине восемнадцатого века оно начало стихать. Последняя казнь за ересь во Франции произошла, по-видимому, в 1762 году. В 1767 году протестантское собрание было застигнуто врасплох и атаковано солдатами. Спустя восемь или десять лет после этого последний заключенный по соображениям совести был освобожден с галеры в Тулоне. Но ни одна религия, кроме римско-католической, не была признана государством, и только на ее духовенство возлагались некоторые функции, необходимые для ведения цивилизованной жизни. Ни один брак не мог быть торжественно заключен только католическим священником. Государственная регистрация рождений велась только в приходских реестрах. Вследствие этого ни один правоверный протестант не мог вступить в законный брак, а все дети протестантских родителей становились бастардами, имущество которых мог отобрать ближайший родственник-католик. Правда, суды делали многое, чтобы смягчить исполнение этих законов; но судьи, при самых лучших намерениях, иногда были бессильны; и все судьи не хотели поступать справедливо с еретиками.

Медленно, в течение жизни одного поколения, протестанты завоевывали позиции. Коронационная присяга содержала пункт, в котором король обещал истреблять еретиков. Когда Людовик XVI должен был короноваться в Реймсе, Тюрго пожелал изменить эту часть клятвы. Он разработал новую форму. Духовенство, однако, воспротивилось нововведению, и Морепас, премьер-министр, согласился с ними. Говорят, что молодой король с характерной для слабости пробормотал несколько бессмысленных звуков вместо спорной части присяги.

В 1778 году была предпринята попытка побудить Парижский парламент вмешаться в дела угнетенных сектантов. Было заявлено, что с 1740 года более четырехсот тысяч браков были заключены вне церкви, и что эти браки не имеют юридической силы и являются постоянной причиной скандальных исков. Но парламент подавляющим большинством голосов отклонил предложение обратиться к королю за помощью. В 1775 году, а затем в 1780 году собрание духовенства протестовало против терпимости, оказываемой еретикам. Небезынтересно, что в то время, когда высшая судебная инстанция королевства и церковь Франции в ее

корпоративном качестве выступали против мер простой гуманности, иностранный протестант Неккер был самым важным из королевских слуг.

Дух церкви, или, по крайней мере, ее ведущих людей, выражен в пастырском наставлении Лефранка де Помпиньяна, архиепископа Вьеннского, возможно, самого выдающегося французского церковного деятеля этого века. Церковь, говорит он, никогда не преследовала, хотя заблуждающиеся люди делали это от ее имени. Государь должен поддерживать истинную религию и сам решать, какими средствами лучше всего это делать. Но религия устанавливает границы того, что монарх должен делать для ее защиты. Она не требует жестоких или кровавых мер против простых еретиков. Такие меры принесут больше вреда, чем пользы. Но когда люди имеют дерзость исполнять притворное и запрещенное служение, нанося вред общественному спокойствию, было бы абсурдно думать, что строгие наказания, применяемые к их проступкам, противоречат христианскому милосердию. А в связи с веротерпимостью прелат объединяет два текста: "Не судите, да не судимы будете" и "А кто не верит, тот уже осужден". Этот план мягкого обращения с протестантами при одновременном жестоким обращении с их пасторами, затрудняющем общественное богослужение и совершение таинств, был излюбленным у французских церковников.

Великая децентрализация была уже близка. В последний день первой сессии Собрания знатных особ весной 1787 года Лафайет предложил обратиться к королю с петицией в пользу протестантов. Его предложение было почти единогласно одобрено комитетом, в который оно было внесено, и граф Артуа, президент этого комитета, передал Людовику XVI соответствующую петицию. Его Величество благосклонно отнесся к этому предложению, и эдикт о предоставлении протестантам гражданского статуса был включен в пакет законопроектов, представленных на регистрацию в Парижский парламент. Эта мера облегчения носила самый умеренный характер. Она не позволяла сектантам презируемой религии занимать какие-либо должности в государстве и даже публично собираться для богослужения. Тем не менее, оппозиция предложенному закону была горячей и разжигалась частью дворянства и духовенства. Одна из придворных дам обращалась к каждому советнику парламента и оставляла записку с напоминанием о его долге перед католической религией и законами. Епископ Доля сказал королю Франции, что он ответит перед Богом и людьми за те несчастья, которые принесет королевству восстановление протестантизма. Святая тетюшка Его Величества, по словам епископа, смотрит на него с небес, куда ее возвели добродетели, и порицает его поведение. Людовик XVI возмутился этим высказыванием и нашел в себе достаточно мужества, чтобы отправить епископа Доля обратно в его резиденцию. 19 января 1788 года этот вопрос горячо обсуждался в самом парламенте. Д'Эспремений, один из советников, был полон волнения и гнева по поводу предлагаемой веротерпимости. Указывая на изображение Христа, висевшее на стене палаты, он возмущенно воскликнул: "Неужели, - возмущался он, - вы снова распнете его?" Но призывы к фанатизму оказались несостоятельными. Мера прошла подавляющим большинством голосов. [Сноска: О последнем преследовании протестантов см. Felice, 422. Howard, Lazzaretto, 55. Кокерель, 93. Геффруа, i. 406. Chérest, i. 45, 382. О присяге: Turgot, i. 217; vii. 314, 317. См. также Dareste, vii. 20, Lefranc de Pompidon, i. 132. Геффруа, i. 410; ii. 85. Droz, ii. 38. Sallier, Annales françaises, 136 n. Большинство голосов было 94 против 17. Семь советников и три епископа ушли в отставку без голосования].

Духовенство проявляло свою активность не только против протестантов. Церковь, выступая в роли блюстителя общественной морали и религии, осуждала книги, предположительно враждебные ее требованиям. В этом вопросе она осуществляла параллельную юрисдикцию с административной властью и судебными инстанциями. Новая книга должна была пройти

тройное испытание. Перед публикацией требовалась лицензия, поэтому рукопись представлялась официальному цензору, часто церковному. После этого вошло в обычай печатать в иностранных государствах книги, содержащие все, против чего мог возражать кто-либо из представителей власти, и тайно ввозить их во Францию. Для этого использовались прессы Голландии и Женевы. Иногда вместо этого в Париже издавалась книга с иностранным оттиском. Так, "Бостон" и "Филадельфия" нередко встречаются на титульных листах книг, напечатанных во Франции в эпоху Людовика XVI. Такие книги продавались тайно, с большими или меньшими предосторожностями от обнаружения, поскольку законы были суровы; ордонанс, принятый в 1757 году, запрещал под страхом смертной казни все публикации, способные возбудить общественное мнение. Столь вольное выражение давало властям свободу действий. Крайние меры наказания не применялись, но тюремное заключение и ссылка несколько капризно наказывали авторов и печатников.

Но книга, получившая *печать* цензора, еще не была в безопасности. Духовенство могло осудить ее или парламент. Церковь быстро чуяла опасность. Честному ученому, правильному и оригинальному мыслителю трудно было избежать упреков в нерелигиозности или ереси. Законы также не были справедливыми. Предполагалось, что неприязненное отношение к любовнице принца может быть более опасным, чем нападки на правительство королевства. Если бы суровый закон строго и последовательно соблюдался, клевета, ересь и политические мысли могли бы быть искоренены вместе. В какой-то мере так и было в царствование Людовика XIV. Но при нерадивых придворных его слабоумных преемников никаких строгих законов не соблюдалось. Была общая тенденция подмигивать незаконным сочинениям, которые одобряла половина общества. Например, Малешерб одно время возглавлял официальную цензуру. Говорят, что у него был способ предупреждать авторов и издателей за день до того, как в их домах будет совершено нападение. Благодаря таким законам авторы, придерживавшиеся новых доктрин, научились приспособливать свои методы к правительственным. Почти все великие французские писатели XVIII века вставляли в свои книги некоторые фрагменты для того, чтобы угодить цензору или избежать наказания. Они изобиловали выражениями преданности церкви и государству, иногда звучащими до смешного пусто, иногда передающими самую язвительную насмешку и сатиру, и снова словами, которые едва ли можно отличить от искреннего языка преданности. Они стали искусными намекаателями и мастерами искусства недосказанности. Они нападали на христианство под именем магометанства, а если им случалось обвинять французских государственных министров, они, казалось, сатирически высмеивали турецких визирей. Политика и теология - темы, вызывающие постоянный и живой интерес, и их обсуждение не может быть подавлено, если только речь не идет о полном задушении умов. Если допустить хоть какую-то свободу мысли и слова, то волнующие темы найдут свое выражение. Если людям не разрешать публиковать памфлеты и редакционные статьи, они будут излагать свои идеи в стихах и баснях. При Людовике XV и Людовике XVI политика завладела популярными песнями, а теология - всеми мыслимыми видами письменности. Вряд ли можно было найти рекламное объявление о достоинствах шарлатанского лекарства или стихотворение, адресованное любовнице мужчины, в котором не содержалось бы выпадов в адрес церкви или правительства. Несомненно, при таком курсе страдала нравственная природа авторов и публики. Книги потеряли часть своей реальной ценности. Но на какое-то время к удовольствию писателей и читателей добавился элемент возбуждения. Автор имел все преимущества быть гонимым, с приятной уверенностью, что гонения не зайдут очень далеко. Читатель, читая то, что казалось ему истинным и правильным, получал удовольствие от того, что держал в руках запрещенную книгу. Ему доставляло удовольствие есть украденный плод и внутренне убеждаться, что он с ним согласен[Сноска: Lomenie, Vie de Beaumarchais, i. 324.

Montesquieu, i. 464 (Lettres persanes, cxlv.). Mirabeau, L'ami des hommes, 238 (pt. ii. oh, iv.). Anciennes Lois, xxii. 272. Lanfrey, 193].

Писатели, которые придерживались этого курса, в основном известны как "Философы". Трудно быть последовательным в использовании этого слова применительно к французам восемнадцатого века. Иногда так называли всех, кто выступал за реформы или изменения в церкви или государстве. В более строгом применении оно относится к одной партии среди них; к Вольтеру и его ближайшим последователям, и особенно к энциклопедистам.

"Никогда, - говорит Вольтер в своих "Английских письмах", - наши философы не создадут религиозной секты, ибо они лишены энтузиазма". Это была любимая идея учеников великого циника, но события опровергли ее истинность. Философы при жизни Вольтера образовали секту, хотя ее вряд ли можно было назвать религиозной. Сам патриарх Фернейский был чем-то не похож на понтифика. Дидро и д'Алембер были ее епископами, а их сопровождало духовенство энциклопедистов. Гельвеций и Гольбах были докторами атеологии. Большинство читающих и мыслящих французов на некоторое время стали его членами. Руссо был его архи-еретиком. Доктринами были материализм, фатализм и гедонизм. Секта существует до сих пор. С момента своего образования она придерживается любопытного представления, своего излюбленного суеверия, которое можно выразить примерно следующим образом: "Человеческий разум и здравый смысл были впервые изобретены от тридцати до пятидесяти лет назад". "Если учесть, - говорит Вольтер, - что Ньютон, Локк, Кларк и Лейбниц подверглись бы преследованиям во Франции, заключению в тюрьму в Риме, сожжению в Лиссабоне, то что мы должны думать о человеческом разуме? Он родился в Англии в течение этого столетия". [Сноска: Вольтер (Женевское изд. 1771 г.) xv. 99 (Ньютон). Также (изд. Beuchot) xv. 351 (Essai sur les Moeurs) и passim. Современные последователи Вольтера обычно указывают дату публикации "Происхождения видов", хотя ни одна ошибка не противоречит великой теории эволюции больше, чем эта]. И подобные выражения часто встречаются в его трудах. Сектанты, начиная с того дня и по сей день, никогда не испытывали недостатка в самом пылом энтузиазме. В этом отношении они, как правило, превосходят католиков, а в фанатизме (или свойстве быть уверенным) - протестантов. Они придерживаются веротерпимости как одного из своих главных догматов, но никогда не пытаются скрыть своего презрения к любому, кто с ними не согласен. В этой секте всегда было много полезных и замечательных людей, а также некоторые из самых догматичных представителей человечества.

## ГЛАВА V.

### ЦЕРКОВЬ И ВОЛЬТЕР.

Враги французской церкви были многочисленны и ожесточенны, но один человек выделяется среди них. Вольтер был поэтом, которым восхищались в свое время, трудолюбивым и талантливым историком, писателем на всевозможные темы, остроумцем ослепительного блеска; но он был первым, последним и всегдашним врагом католической церкви, и хотя не совсем атеистом, но противником всех форм религии. Более сорока лет он возглавлял партию философов. В течение всего этого времени он был самым заметным из литературных французов. Два других автора, Руссо и Монтескье, могут соперничать с ним по влиянию на современный мир, но его последователи в области мысли многочисленны и агрессивны и по сей день.

Вольтер родился в 1694 году в семье адвоката по имени Аруэ. Есть сомнения в происхождении его знаменитого имени: то ли оно произошло от фьефа, которым владела его мать, то ли от анаграммы AROUET LE JEUNE. Как бы то ни было, имя было взято молодым

поэтом по его собственному желанию - случай, не имеющий аналогов в восемнадцатом веке. [Сноска: Как и в случае с д'Алембером. Об имени Вольтера см. Desnoiresterres, *Jeunesse de Voltaire*, 161].

Вольтер рано начал привлекать к себе внимание публики. Еще до того, как ему исполнилось двадцать пять лет, он завоевал репутацию остроумца, провел почти год в Бастилии по обвинению в написании сатирических стихов и создал успешную трагедию. В этой пьесе двустипшие, высмеивающее священников, возможно, стало бы привычной цитатой, даже если бы оно было написано другим пером[Сноска: "*Эдип*", написанный в 1718 году. "Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense; Notre credulité fait toute leur science." Act IV., Scene I.] В течение нескольких лет Вольтер продолжал писать, приобретая все большую известность. В 1723 году его великая эпическая поэма "Анриада" была тайно распространена в Париже[Сноска: Desnoiresterres, *Jeunesse*, 297.] Автор был одним из известных людей города. В то же время его репутация, должно быть, в какой-то степени была репутацией беспокойного человека. А в декабре того же года произошло событие, которому суждено было на несколько лет изгнать восходящего автора из Франции и придать горечь уму, от природы кислому.

Подробности этой истории рассказывают по-разному. Якобы однажды вечером Вольтер находился в театре за кулисами и повздорил с шевалье де Шабо из рода Роан. "Месье де Вольтер, месье Аруэ, как вас зовут!" - якобы воскликнул шевалье. "Мое имя не великое, но я его не позорю", - ответил автор. Шабо поднял трость, Вольтер положил руку на шпагу. Мадемуазель Лекуврер, актриса, ради которой, возможно, и затевался этот маленький спор, упала в обморок. Шабо ушел, бормоча что-то о палке.

Через несколько дней Вольтер обедал в доме герцога де Сюлли. Слуга сообщил ему, что кто-то хочет видеть его у дверей. Вольтер вышел и тихо подошел к карете, стоявшей перед домом. Когда он просунул голову в дверь кареты, его схватили за воротник пальто и стали удерживать, а сзади подошли двое мужчин и стали бить его палками. Шевалье де Шабо, его благородный противник, наблюдал за происходящим из другой кареты.

Когда мучители отпустили его, Вольтер бросился обратно в дом и обратился к герцогу де Сулли с просьбой о мести, но тщетно. Поссориться с семьей Рохана было делом нелегким. Тогда поэт обратился в суд за возмещением ущерба, но не получил его. Говорят, что враги Вольтера убедили премьер-министра, что его проситель - автор некой эпиграммы, адресованной любовнице его превосходительства, в которой ей напоминалось, что легко обмануть одноглазого Аргуса. (В конце концов, Вольтер, видя, что никто больше не хочет заниматься его ссорой, начал брать уроки фехтования и собирать шумную компанию. Вероятно, ему негодились бы никакие навыки фехтовальщика, которые он мог бы приобрести. Вольтер не был физически необдуманным. Шевалье де Шабо, хотя и имел полномочия штабного офицера, был, конечно, не смелее своего противника и мог не рисковать. Сначала за Вольтером следила полиция, а затем, возможно, после того как он послал вызов, его заперли в Бастилии. В этой тюрьме он пробыл около двух недель, принимая своих друзей и обедая за столом губернатора. 5 мая 1726 года он был в Кале, направляясь в изгнание в Англию. [Сноска: Desnoiresterres, *Jeunesse*, 345].

Вольтер провел в Англии три года, которые оказали глубокое влияние на его жизнь. Он исключительно хорошо выучил английский язык и практиковался в написании прозы и стихов. Он вступил в близкие отношения с лордом Болингброком, которого знал еще во Франции, со Свифтом, Поупом и Геем. Он срисовал эпиграмму с Юнга. Он выпустил новое и исправленное издание "Генриады" с посвящением на английском языке королеве Каролине.

Он изучал труды Бэкона, Ньютона и Локка. Таким образом, шевалье де Шабо и его позорному нападению французские мыслители в немалой степени были обязаны влиянием, которое оказали на них английские писатели.

Находясь в Англии, Вольтер делал заметки и писал письма. Вероятно, он работал над ними в годы, последовавшие за его возвращением во Францию. "Философские письма", или "Письма об английской нации", были впервые опубликованы в Англии в 1733 году. В следующем году их пустили в оборот во Франции. Незамедлительно осужденные парижским парламентом как "скандальные, противоречащие религии и морали, а также уважению, причитающемуся власти предержащим", они были "разорваны и сожжены у подножия большой лестницы", и за это их стали читать еще больше.

Неудивительно, что церковь и этот консервативный, хотя иногда и гетеродоксальный орган, Парижский парламент, осудили "Английские письма". Под прикрытием откровенного восхваления английских порядков и английских законов на Францию, ее религию и правительство, обрушивается горькая сатира. Что может ответить католическое духовенство на такие слова, вложенные в уста квакера? "Боже упаси, чтобы мы осмелились приказать кому-либо принимать Святого Духа в воскресенье, исключая остальных верующих! Слава Небесам, мы - единственный народ на земле, у которого нет священников! Неужели вы лишите нас такого счастливого отличия? Почему мы должны отдавать своего ребенка наемным кормилицам, когда у нас есть молоко, чтобы дать ему? Эти наемники скоро будут управлять домом и угнетать мать и ребенка. Господь сказал: "Даром получили, даром давайте". Неужели после этого слова мы станем разбазаривать Евангелие, продавать Святого Духа и превращать собрание христиан в лавку торговца? Мы не даем денег людям, одетым в черное, чтобы они помогали нашим бедным, хоронили наших мертвых, проповедовали верующим. Эти святыя занятия слишком дороги нам, чтобы перекладывать их на других"[Сноска: Voltaire, xxxvii. 124].

Выступив таким образом против института священства в целом, Вольтер обращает свое внимание, в частности, на священников Франции и Англии. По его словам, англиканское духовенство в нравственном отношении более регулярно, чем французское. Это объясняется тем, что все церковники в Англии получают образование в университетах, вдали от столичных соблазнов, и призываются к церковному сану в зрелом возрасте, когда у людей не остается никаких страстей, кроме скупости и честолубия. Продвижение по службе здесь - это вознаграждение за долгую службу, как в церкви, так и в армии. Вы не увидите, чтобы мальчики становились епископами или полковниками по окончании школы. Более того, большинство английских священников - женатые люди. Неуклюжие манеры, привитые в университете, и незначительное общение с женщинами, обычное для этой страны, обычно вынуждают епископа довольствоваться собственной женой. Священники в Англии иногда ходят в таверну, потому что так позволяет обычай; но если они напиваются, то делают это серьезно и без скандала.

"Это неопределенное существо, которое не является ни мирянином, ни церковником, одним словом, то, что мы называем *аббатом*, в Англии неизвестно. Здесь все священники замкнуты, и почти все - педанты. Когда им говорят, что во Франции молодые люди, известные своей развратной жизнью и возведенные в прелаты кознями женщин, публично занимаются любовью, развлекаются сочинением амурных песен, каждый вечер устраивают длинные и обильные ужины, отправляются просить просвещения у Святого Духа и смело называют себя преемниками апостолов, они благодарят Бога, что они протестанты; но они гнусные еретики, подлежащие сожжению всеми чертями, как говорит мастер Франсуа Рабле. Вот почему я не имею с ними ничего общего"[Сноска: Voltaire, xxxvii. 140].

В то время как злая жизнь значительной части французского духовенства подвергается таким нападкам, доктрины Церкви не щадятся. Ниже приводится цитата из письма о социнианах. "Помните ли вы некоего православного епископа, который, чтобы убедить императора в консубстанциальности [трех Лиц Божества], осмелился ударить сына императора под подбородок и дернуть его за нос в присутствии его священного величества? Император уже собирался вышвырнуть епископа из окна, когда тот обратился к нему в следующих прекрасных и убедительных словах: `Сэр, если ваше величество так гневается, что с вашим сыном обращаются неуважительно, как вы думаете, как Бог-Отец накажет тех, кто отказывается дать Иисусу Христу титулы, причитающиеся Ему? Люди, о которых я говорю, говорят, что святой епископ поступил неразумно, что его аргументы были далеко не убедительны, и что императору следовало бы ответить: "Знайте, что есть два способа выказать неуважение ко мне; первый - не оказывать достаточного почтения моему сыну, второй - почитать его так же, как себя""[Сноска: Voltaire, xxxvii. 144.] Такие слова вряд ли были уместны. Но французские власти признали, что в некоторых других пассажирах, из которых французы узнавали некоторые результаты английской абстрактной мысли, таилась более серьезная и коварная опасность для церкви.

Среди французских писателей восемнадцатого века есть несколько выдающихся талантов; один только, чей зловеющий, но оригинальный гений дал новое направление человеческому разуму. Далее я расскажу об идеях Руссо. Остальные, и Вольтер в том числе, принадлежат скорее к тому классу великих людей, которые ассимилируют, выражают и популяризируют мысль, чем к очень малому числу оригинальных мыслителей. Давайте же остановимся на мгновение, изучая французских философов и их влияние на церковь, и спросим, кто был их учителями.

Монтень, Бейль и Гроций могут считаться предшественниками французского философского движения на континенте, но его великий импульс пришел из Англии. Бэкон оказал на него большое влияние; Гукер и Гоббс не остались в стороне; открытия Ньютона направили умы людей в сторону физической науки; но источником метафизических и политических идей века стал Джон Локк. В наше время некоторые французы оспаривали его утверждения. Чтобы опровергнуть этих спорщиков, достаточно обратиться от их книг к книгам Вольтера и его современников. Заслуги Франции перед человечеством столь велики, что ее сыновья никогда не должны претендовать на славу, которая им явно не принадлежит. На протяжении всей современной истории французы стояли в первых рядах цивилизации. Они стояли там бок о бок с англичанами, итальянцами и немцами. Международная ревность не должна щадить лидеров человеческой мысли. Они принадлежат ко всей европейской семье народов. Попытка отбросить Локка, Ньютона и Бэкона как проводников восемнадцатого века относится не к той эпохе, а к нашей.

Труды Локка стоят на полках большинства крупных библиотек; но многие люди сейчас, когда изучение метафизики вышло из моды, приходят в ужас от предложения прочитать сочинение в трех томах о человеческом понимании, очевидно, считая свой собственный разум менее достойным изучения, чем свое тело или свое имущество. Поэтому, возможно, стоит вкратце рассказать о тех теориях или открытиях Локка, которые в наибольшей степени изменили французскую мысль в XVIII веке. Великий мыслитель родился в 1632 году и умер в 1704 году. Его основные работы были опубликованы вскоре после Английской революции 1688 года, но готовились долго; "Очерк о человеческом разумении", как говорят, занимал его не менее двадцати лет.

Главная доктрина Локка заключается в том, что все идеи происходят от ощущений и размышлений. Он признает, что "есть общепринятая доктрина, согласно которой люди

имеют родные идеи и оригинальные характеры, запечатленные в их умах в самом начале их существования"; но он полностью отвергает все подобные теории. Его главное дело - протестовать и доказывать, что такие "врожденные идеи" не существуют. Добродетель, по его мнению, одобряется потому, что она выгодна, а не в силу какого-либо естественного склонения ума в ее сторону. Совесть "есть не что иное, как наше собственное мнение или суждение о моральной правильности или праведности наших собственных действий". Память - это способность ума возрождать восприятия, которые он когда-то имел, с приложением к ним дополнительного восприятия, что он имел их раньше. Остроумие заключается в сборе идей, а рассудительность - в их тщательной дифференциации. "Вещи добры или злы только в отношении удовольствия или боли"... "Наша любовь и ненависть к неодушевленным, бесчувственным существам обычно основывается на том удовольствии или боли, которые мы получаем от их использования и применения каким-либо образом к нашим чувствам, хотя и с их уничтожением; но ненависть или любовь к существам, не способным к счастью или несчастью, часто является беспокойством или восторгом, которые мы находим в себе, возникающим из рассмотрения самого их бытия или счастья". Так, существование и благополучие детей или друзей человека, вызывая в нем постоянный восторг, заставляет его, как говорят, постоянно любить их. Но достаточно отметить, что наши представления о любви и ненависти - это всего лишь расположение ума к удовольствию или боли в целом, как бы они ни были вызваны в нас".

У нас нет четкого представления ни о субстанции, ни о духе. Субстанция - это то, в чем мы представляем себе качества материи как существующие; дух - то, в чем мы представляем себе качества разума, как мышление, знание и сомнение. Первичными идеями тела являются сцепление твердых, а потому отдельных частей, и способность сообщать движение посредством импульса. Идеи духа - это мышление и воля, или способность приводить тело в движение мыслью, и, что вытекает из этого, свобода. Идеи существования, подвижности и длительности являются общими для обоих.

Интеллект Локка был достаточно ясен, чтобы понять, что эти две идеи, дух и материя, стоят на одной ступени. Менее сообразительные мыслители смело отрицали существование духа, утверждая при этом существование материи. Система Локка не позволяла ему поверить, что ни одна из этих концепций не зависит от природы самого разума. Поэтому он отверг притязания материи так же однозначно, как и духа, объявив ее "лишь неопределенным предположением неизвестно чего, то есть чего-то, о чем у нас нет конкретной, отчетливой, позитивной идеи, которую мы принимаем за субстрат или опору тех идей, которые нам известны". Однако в целом он склоняется к материализму. "У нас есть, - говорит он, - идеи материи и мышления, но, возможно, мы никогда не сможем узнать, мыслит ли какое-либо простое материальное существо или нет; Мы не можем путем созерцания наших собственных идей, без откровения, узнать, не наделило ли всемогущество какую-то систему материи, соответствующим образом расположенную, способностью воспринимать и мыслить, или же присоединило и прикрепило к материи, расположенной таким образом, мыслящую нематериальную субстанцию; по нашим понятиям, не более отдаленно от нашего понимания представить, что Бог может, если ему угодно, добавить к материи способность мыслить, чем то, что он должен добавить к ней другую субстанцию, обладающую способностью мыслить; поскольку мы не знаем, в чем состоит мышление и каким субстанциям Всемогущий благоволил дать эту способность, которая не может быть ни в одном сотворенном существе, но только по благоволению и власти Творца"... "Все великие цели морали и религии, - добавляет он, - вполне обеспечены и без философского доказательства нематериальности души". Что касается нашего знания "о реальном существовании вещей, то мы обладаем интуитивным знанием о нашем собственном

существовании и доказательным знанием о существовании Бога; о существовании чего-либо еще мы не имеем иного, кроме чувствительного знания, которое не выходит за пределы объектов, представленных нашим чувствам"[Сноска: Не является ли интуитивное знание подозрительно похожим на врожденную идею? *Сочинения* Локка, i. 38, 39, 72, 82, 137, 145, 231; ii. 10, 11, 21, 331, 360, 372 (Книга i. гл. 3, 4, Книга ii. гл. 1, 10, 11, 20, 23, Книга iv. гл. 3)].

Восхваление Локка в "Философских письмах" Вольтера особенно обидело французских церковников. Вольтер пишет другу, что можно было бы заставить цензора одобрить все письма, кроме этого. "Признаюсь, - добавляет он, - я не понимаю этого исключения, но богословы знают о нем больше меня, и я должен поверить им на слово"[Сноска: Voltaire, li. 356 (*Letter to Thieriot*, 24 Feb. 1733)]. Письмо, против которого возражал цензор, в основном было посвящено доктрине материальности души. "Никогда, - говорит Вольтер, - не было, пожалуй, более мудрого или более методичного духа, более точного логика, чем Локк". ... "До него великие философы положительно решили, что такое душа человека; но так как они совсем ничего не знали об этом, то весьма естественно, что все они были разного мнения". И он добавляет в другой части письма: "Люди долго спорили о природе и бессмертии души. Что касается ее бессмертия, то это не может быть доказано, поскольку люди все еще спорят о ее природе; и, конечно, мы должны досконально знать сотворенное существо, чтобы решить, бессмертно оно или нет. Человеческий разум настолько не в состоянии доказать бессмертие души, что религия обязана открыть нам его. Общее благо всех людей требует, чтобы мы верили в то, что душа бессмертна; вера велит это сделать; больше ничего не нужно, и вопрос почти решен. Другое дело, какова ее природа; для религии не имеет значения, из какого вещества состоит душа, лишь бы она была добродетельной. Это часы, которые даны нам для регулирования, но создатель не сказал нам, из каких пружин состоят эти часы"[Сноска: Вольтер, xxxvii. 177, 182 (*Философские письма*. В различных изданиях собрания сочинений Вольтера, вышедших в прошлом веке, эти письма не представлены в виде серии, но их содержание распределено между разными статьями и статьями *философского словаря*. Причина этого в том, что письма, будучи осужденными судом, могли навлечь неприятности на своих издателей, если бы они вышли под собственным названием. Бенгеско, ii. 9. Desnoiresterres, *Voltaire à Cirey*, 28, Voltaire, xxxvii. 113. В издании Бюшо письма представлены в оригинальной форме].

"Философские письма" можно считать первыми полемическими сочинениями Вольтера. В них проявляются его остроумие, проницательность и нравственное мужество. В них, пожалуй, больше настоящей веселости, спонтанного веселья, чем в его более поздних книгах. Вольтеру было от тридцати пяти до сорока лет, когда они были написаны, и хотя до конца своей долгой жизни он обладал большей жизненной силой, чем большинство мужчин, физически он был чем-то вроде инвалида, а его многочисленные изгнания и разочарования отразились на его характере. С 1734 года, когда эти письма впервые появились во Франции, до 1778 года, когда он умер, измотанный годами, трудами, ссорами и почестями, его деятельность была непрерывной. У него было много последователей и много врагов, но почти не было соперников. Вольтер был и остается великим представителем взгляда на жизнь; взгляда, которому с энтузиазмом следовали в его время и которому с таким же энтузиазмом следуют сегодня. Этот взгляд он выражал и отстаивал в своих бесчисленных поэмах, трагедиях, историях и сказках. Оно легло в основу его объемной переписки. Когда мы читаем любую из них, нам становится ясно его вероучение; оно крупно написано в каждом из его более чем девяноста томов. Можно сказать, что оно почти на каждой странице. Это кредо можно сформулировать следующим образом: Мы познаем истину только разумом. Этот разум просвещается только нашими органами чувств. То, что они нам не говорят, мы знать не можем, и тратить время на догадки - просто глупость. Воображение и

чувства - это слепые поводыри слепых. Все люди, претендующие на сверхъестественное откровение или вдохновение, - мошенники, а те, кто им верит, - обманщики. В политических или социальных целях может быть желательно, чтобы религия в государстве пользовалась предпочтением, но свобода мнений и их выражения должна быть предоставлена всем людям, по крайней мере, образованным людям; ведь народ с его грубыми идеями и суевериями может быть мало уважаем.

Особую ненависть Вольтер питал к духовенству. "Религия, - говорит он, - все еще может точить кинжалы. В народе есть люди, которые не имеют дела с честными людьми, которые не принадлежат эпохе, которые недоступны прогрессу разума, и над которыми зверство фанатизма сохраняет свою империю, подобно некоторым болезням, которые поражают только самые мерзкие слои населения". Самые лучшие монахи - самые худшие, а те, кто поет "Pervigilium Veneris" вместо утрени, менее опасны, чем такие, как рассуждения, проповеди и заговоры. А в другом месте он говорит, что "религиозный орден не должен быть частью истории". Но следует заметить, что ненависть Вольтера к католицизму и католическим монахам основана не на предпочтении какой-либо другой церкви. Он считает, что теократия должна была быть универсальной среди ранних племен, "потому что как только народ выбирает бога-покровителя, у этого бога появляются жрецы. Эти жрецы управляют духом нации; они могут править только от имени своего бога, поэтому они заставляют его постоянно говорить; они излагают его оракулы, и все вещи делаются по прямому указанию бога". Отсюда человеческие жертвоприношения и самая жестокая тирания; и чем более божественным называет себя такое правительство, тем более отвратительным оно является.

Все пророки - самозванцы. Магомет, возможно, начинал как энтузиаст, увлеченный собственными идеями; но вскоре его увлекли его грезы; он обманывал себя, обманывая других, и в конце концов поддержал доктрину, которую считал хорошей, необходимым самозванством. Сократ, который притворялся, что у него есть знакомый дух, должен был быть немного сумасшедшим или немного склонным к мошенничеству. Что касается Моисея, то он - миф, разновидность индийского Вакха. О Коране (а следовательно, и о Библии) можно судить по невежеству в области физики, которое он демонстрирует. "Это - критерий книг, которые, согласно ложным религиям, были написаны Божеством, ибо Бог не абсурден и не невежествен". Несколько томов Вольтер посвятил тому, чтобы показать несоответствия, нелепости и жестокости Ветхого и Нового Заветов, а также мерзости иудеев.

Положительные религиозные взгляды Вольтера менее важны, чем их отрицание, ведь работа этого великого писателя была направлена в основном на разрушение. Он был теистом, но с колеблющейся и сомневающейся верой. Он прекрасно понимал, что любое признание атеизма может быть опасным и навредить ему при дворе и в кругу друзей. Он считал, что вера в Бога и будущую жизнь важна для безопасности общества, и, как говорят, однажды выгнал слугу из комнаты, когда кто-то из компании усомнился в существовании Божества, объяснив это тем, что не хочет, чтобы ему перерезали горло. Однако вполне вероятно, что его теизм был несколько глубже, чем это. Он говорит, что материя, вероятно, вечна и самосуществует, и что Бог тоже вечен и самосуществует. Существуют ли другие боги для других миров? Возможно, это так; некоторые народы и некоторые ученые верили в существование двух богов, доброго и злого. Конечно, природе легче вынести в безбрежном пространстве несколько независимых существ, каждое из которых является абсолютным хозяином своей части, чем двух ограниченных богов в этом мире, один из которых ограничивается тем, что творит добро, а другой - зло. Если Бог и материя существуют от вечности, то "здесь есть две необходимые сущности; а если их две, то может быть и

тридцать". Мы должны признаться в своем невежестве относительно природы божественности".

Заметно, что, как и большинство людей, у которых идея Бога не очень прочно укоренилась, Вольтер представлял себе силы, в некоторых отношениях превосходящие Божество. Так, выше он говорит, что природе легче вынести несколько независимых богов, чем двух противоположных. Предполагая, что один или несколько богов приводят вселенную в порядок, он предполагает порядок, предшествующий богам. Эта идея высшего порядка, судьбы, необходимости или природы, очень древняя. Вероятно, это протест человеческого разума против антропоморфных представлений о Боге, от которых он практически не в состоянии избавиться. Вольтер и философы почти без исключения верили, что существует система естественного права и справедливости, связанная с этим высшим порядком, которому человек обучен инстинктивно. Иногда в их системе Бог ставился выше этого закона, как его первоисточник; иногда, как мы уже видели, Он мыслился как подчиненный природе. "Бог дал нам принцип или универсальный разум, - говорит Вольтер, - как он дал перья птицам и мех медведям; и этот принцип настолько прочен, что он существует, несмотря на все страсти, которые борются с ним, несмотря на тиранов, которые хотели бы утопить его в крови, несмотря на самозванцев, которые хотели бы уничтожить его в суеверии. Поэтому самый грубый народ всегда в конечном счете очень хорошо судит о законах, которые им управляют; потому что он чувствует, что эти законы либо согласны, либо не согласны с принципами жалости и справедливости, которые находятся в его сердце". Здесь мы имеем нечто, что кажется врожденным представлением о добродетели. Но мы не должны ожидать от Вольтера полной последовательности. В другом месте он говорит: "Добродетель и порок, моральное добро и зло - это во всех странах то, что полезно или вредно для общества; и во все времена и во всех местах тот, кто больше всех жертвует обществу, и есть тот человек, которого назовут самым добродетельным". Отсюда следует, что хорошие поступки - это не что иное, как действия, от которых мы получаем выгоду, а преступления - это действия, направленные против нас. Добродетель - это привычка делать то, что радует человечество, а порок - привычка делать то, что ему неприятно. Свобода, говорит он в другом месте, есть не что иное, как власть делать то, что наша воля непременно требует от нас"[Сноска: Voltaire, xx. 439 (*Siècle de Louis XIV.*, ch. xxxvii.), xxi. 369 (*Людовик XV.*), xv. 34, 40, 123, 316 (*Essai sur les mœurs*), xliii. 74 (*Examen important de Lord Bolingbroke*), xxxi. 13 (*Dict. philos. Liberté*), xxxvii. 336 (*Traité de métaphysique*). Общие нападки на Библию и евреев см. в "*Oeuvres*", xv. 123-127, xliii. 39-205, xxxix. 454-464. Morley's *Diderot*, ii. 178). Обратите внимание, как много аргументов, которые все еще повторяются в наши дни относительно Моисеева рассказа о сотворении мира и т. д. и т. п., исходят от Вольтера. Заметьте также, что Вольтер, будучи слишком недоверчивым к древним писателям, был слишком доверчив к современным путешественникам].

Французская церковь была одновременно возмущена и встревожена сочинениями Вольтера и его друзей и сделала все возможное, чтобы ответить на них. Но хотя она была сильна своей организацией и юридическими полномочиями, ее внутреннее состояние было далеко не таким энергичным. Невероятность вошла в моду еще до того, как нападки Вольтера стали опасными. Один из ранних сатириков вложил в уста священника рассказ о трудностях, с которыми сталкивалось духовенство в те дни. "Люди мира, - говорит он, - поразительны. Они не могут вынести ни нашего одобрения, ни нашего порицания. Если мы хотим их исправить, они считают нас смешными. Если мы одобряем их, они считают нас ниже своего достоинства. Ничто так не унижает, как ощущение, что ты шокировал нечестивца. Поэтому мы вынуждены придерживаться двусмысленной линии поведения и проверять распутников не решением характера, а тем, что заставляем их сомневаться в том, как мы воспримем их

слова. Это требует большого остроумия. Состояние нейтралитета - трудная задача. Люди мира, которые осмеливаются говорить все, что им заблагорассудится, дают волю своему юмору, продолжают или отпускают его в зависимости от своего успеха, справляются с этим гораздо лучше.

"Но и это еще не все. То счастливое и спокойное состояние, которое так превозносят, нам не доступно в обществе. Как только мы появляемся, нас обязывают обсуждать. Мы вынуждены, например, браться доказывать полезность молитвы человеку, который не верит в Бога; необходимость поста другому, который всю жизнь отрицал бессмертие души. Задача трудная, и смех не на нашей стороне"[Сноска: Montesquieu, *Lettres persanes*, i. 210, 211, Lettre lxi].

Прелаты, назначенные на высокие посты Людовиком XV и его придворными, были не теми людьми, которые могли бы отстаивать свое дело духовным оружием. В Церкви Франции XVIII века не было ни Боссюэ, ни Фенелона. Ее защита была поручена гораздо более слабым людям. Сначала архиепископы, Лефранк де Помпиньян из Вьенны и Эли де Бомон из Парижа. Далее следуют иезуит Ноннот и руководители "Мемуаров де Треву", бенедиктинец Шодон, аббат Трубле, журналист Фрерон и многие другие, светские и духовные лица. Ответы церковников своим оппонентам-философам, как правило, неубедительны. Лефранк де Помпиньян заявил, что любовь к сухим и умозрительным истинам - это иллюзорная фантазия, хорошо украшающая ораторское искусство, но никогда не реализуемая человеческим сердцем. Он высмеивал Локка и идею о том, что последний изобрел метафизику. Его возражения и возражения католической церкви против учения этого философа сводились главным образом к тому, что англичанин утверждал, что мысль может быть атрибутом материи; что он поощрял пирронизм, или всеобщее сомнение; что его теория тождества была сомнительной, и что он отрицал существование врожденных идей. Все эти вопросы вполне открыты для обсуждения, и не всегда перевес может быть на стороне Локка. Но в целом католические богословы и их оппоненты не были достаточно согласованы, чтобы спорить с пользой. У них не было общих предпосылок. Если один из двух спорящих считает, что все идеи происходят от ощущений и размышлений, а другой - что самые важные из них являются результатом Божьего вдохновения, то нет смысла обсуждать второстепенные моменты, пока не будут решены эти великие вопросы. Попытка примирить столь противоречивые взгляды предпринималась часто, и нет более тоскливых трудов, чем те, которые ее воплощают. Но люди, которые слишком далеки друг от друга, чтобы скрестить шпаги в споре, все же могут бросать друг в друга ракеты злопыхательства, и у Вольтера, Руссо и энциклопедистов было достаточно бойцов, чтобы вступить в такого рода войну.

С обеих сторон были написаны трактаты, комедии, сказки и эпиграммы. Нетрудно было указать, что высказывания различных противников церкви не согласуются друг с другом; что Руссо противоречит Вольтеру, что Вольтер противоречит сам себе. В доспехах этих воинов было много слабых мест. Помпиньян очень долго рассуждает, особенно подробно останавливаясь на поклонении, которое философы оказывают физической науке, на их любви к сомнениям и на их ошибочной теории, согласно которой добрый христианин не может быть патриотом. Шодон, пожалуй, самый умный из клерикальных писателей, иногда бросает меткий выпад. "Тот же Вольтер, - говорит он, - который считает, что сатиры против Бога не имеют никакого значения, придает большое значение сатирам, написанным против него самого и его друзей. Он не желает, чтобы перо вырвалось из рук клеветников на Божество; но он часто пытался возбудить власть предрержащих против самого незначительного из своих критиков". Это очень верно по отношению к Вольтеру, который был столь же тонкокожим, сколь и жестоким; и который, как полагают, иногда пытался

заставить замолчать своих оппонентов произвольным способом, добиваясь от какого-нибудь власть имущего королевского приказа запереть их в тюрьму. Палиссо в очень читаемой комедии высмеивает Дидро и его друзей. Что касается ругательств, то их запас бесконечен с обеих сторон. Парижский архиепископ осуждает "Эмиля" Руссо как содержащий множество положений, которые "ложны, скандальны, полны ненависти к церкви и ее служителям, ошибочны, нечестивы, богохульны и еретичны". Тот же прелат утверждает следующее: "Кто не поверит, мои очень дорогие братья, из того, что говорит этот самозванец, что авторитет Церкви доказывается только ее собственными решениями, и что она поступает таким образом: "Я постановила, что я непогрешима, следовательно, так оно и есть".

Клеветническое обвинение, мои дорогие братья! Конституция христианства, дух Писания, сами ошибки и слабость человеческого разума свидетельствуют о непогрешимости Церкви, основанной Иисусом Христом. Мы заявляем, что, как Божественный Законодатель всегда учил истине, так и Его Церковь всегда учит ей. Поэтому мы доказываем авторитет церкви не авторитетом церкви, а авторитетом Иисуса Христа, - процесс столь же точный, сколь и другой, в котором нас упрекают, - абсурдный и бессмысленный".

Аргументы клерикальных писателей не все были на этом уровне. Шодон и Ноннот подготовили серию статей, оформленных в виде словаря, в которых католическая доктрина излагается, иногда четко и убедительно. Но очевидно, что поборники католицизма в ту эпоху не могли сравниться в споре с ее противниками[Сноска: Lefranc de Pompignan, i. 27 (*Instruction pastorale sur la prétendue philosophie des incredules*). *Антифилософский словарь*, переизданный и дополненный Гроссе под названием "*Антифилософский словарь*", Palissot, *Les philosophes*. "Мандам" Бомона, приведенный у Руссо (*Oeuvres*, vii. 22 и др.). См. также Barthelémy, *Erreurs et mensonges*, 5e, 13e, 14e Série, статьи о Фрероне, Нонноте, Трубле и Пампуйе. *Исповедь Фрерона*. Nisard, *Les ennemis de Voltaire*). Превосходство философов над церковниками в аргументации слишком очевидно, чтобы его отрицать. Carné, 408.]

Сила церкви заключается не в ее врачах и ораторах, и тем более не в ее умниках и спорщиках, хотя все они имеют свое применение. Сила церкви - в ее святых. Пока они играют большую роль в ее советах и имеют широкое влияние среди ее членов, церковь почти непреодолима. Когда их мало, они робки и не влиятельны, знание и сила, да и само простое благочестие, едва ли смогут поддержать ее. В Церкви Франции на протяжении веков было много святых; но в царствование Людовика XVI и его непосредственного предшественника их было очень мало, и ни один из них не был выдающимся. Гонения на янсенистов, в каких бы ничтожных формах они ни принимали, отвратили от ревностного общения с церковью многие из самых искренних, религиозных душ Франции. Атмосфера в стране тогда не располагала ни к какому героизму. Такие самоотверженные христиане, как они, тихо шли своим путем; их существование было доказано только тогда, когда в самые тяжелые дни революции несколько из них обрели мученический венец.

## ГЛАВА VI.

### ДВОРЯНСТВО.

Вторым сословием в государстве было дворянство. Однако было бы ошибкой полагать, что на континенте это слово имеет точно такое же значение, как и в Англии. Там, где все дети дворянина являются дворянами, создается строгий класс. Английское пэрство, передающееся только старшему сыну, больше похоже на должность. Французское *дворянство* в последние годы старой монархии состояло почти из всех лиц, живущих не своим ежедневным трудом, а также из высшей части юридической профессии. В то время как духовенство имело политические права и корпоративное существование, а также

действовало через собрание, дворянство обладало лишь привилегиями. Однако это касалось только старых провинций, "земель выборных", чьи древние права были упразднены. В некоторых "Землях сословий", где еще сохранялись остатки самоуправления, орден в какой-то степени был политическим органом с конституционными правами.

Дворянство насчитывало около ста тысяч душ, образуя двадцать пять или тридцать тысяч семей, владея пятой частью земли Франции. Однако лишь часть этой земли была занята дворянами под свои сады, парки и погони. Большая часть сдавалась крестьянам либо за фиксированную арендную плату, либо по системе *métayer*, по которой арендодатель получал долю от урожая. Кроме ренты или доли, дворянин получал от своих арендаторов и другие вещи: платежи и услуги по древнему обычаю, трудодни и случайные сборы. Он мог топтаться по распаханым землям со своими слугами в поисках дичи, хотя при этом мог уничтожить растущую кукурузу. Сама дичь, которую крестьянин не мог убить, была еще более разрушительной. Подобные права, особенно если они жестко соблюдались, приносили беднякам и убытки, и раздражение. Хотя среди знатных семей было слишком много отсутствующих, большая часть дворян проводила большую часть времени дома в своих поместьях, присматривая за фермами и арендаторами, занимаясь местными делами и откладывая деньги на поездки в города или в Париж. Когда они отсутствовали, их судебные исполнители были более строгими хозяевами, чем они сами. К сожалению, взоры дворян были обращены скорее на городские и придворные удовольствия, чем на обязанности сельской жизни в своих поместьях, что было неизбежным следствием утраты ими местной власти.

Если у дворян было мало политических прав, то общественных привилегий у них было предостаточно. Они были освобождены от самых обременительных налогов, и для них были зарезервированы лучшие места в правительстве. Поэтому каждый человек, достигший известности или богатства во Франции, стремился попасть в их ряды, а поскольку дворянство было товаром, который можно было купить, то благодаря умножению количества продажных должностей, которые его давали, никто из тех, у кого было много денег, не смог добиться желанного звания. Таким образом, в орден вошли почти все знатные люди и большая часть образованного класса. Описать его идеи и стремления - значит описать идеи и стремления большинства лидеров Франции. Дворянство больше не было ни знаком высокого происхождения, ни знаком отличия; это был просто знак того, что человек или кто-то из его предков имел собственность. Разумеется, все представители ордена не были равны. Потомки старых родов, которые сотни лет были великими в стране, презирали вчерашних грибоедовских дворян и презрительно говорили о "дворянстве платья". Их дворянство было мечом и восходило к крестовым походам. А при Людовике XVI, после первого увольнения Неккера, наступила реакция, и старые дворяне одержали верх над новыми, а те и другие - над низшими классами. По мере приближения Революции и обострения финансовых трудностей добыча привилегированного класса становится все скуднее, а аппетит к ней растет. Привилегии в церкви или государстве больше не должны доставаться вульгарным людям.

Среди дворян существует различие, не зависящее от длины их родословной. Мы видим высшее и низшее дворянство, между которыми нет четкой границы. По сути, это очень богатые люди, чьи семьи занимают видное положение, и люди с умеренным достатком. Можно заметить, что среди знати всех времен и стран, хотя богатство само по себе не может дать титул и место, оно в значительной степени является предварительным условием для их приобретения. Человек может быть из прекрасной семьи и при этом бедным; но чтобы стать великим дворянином, он должен быть богат. В старой Франции путь к преференциям лежал

через двор; но чтобы блистать при дворе, требовался немалый доход, и поэтому *придворная знать* была более или менее идентична богатой аристократии.

В этой небольшой, но влиятельной части нации как хорошие, так и плохие качества, которым благоприятствует придворная жизнь, достигли высокой степени развития. Старое французское дворянство иногда представляют как образец лучших манер и худших нравов. Я считаю, что обе стороны картины были написаны в слишком ярких тонах. Придворный не всегда был вежлив, как и все великие дворяне-распутники. Верные мужья и жены отнюдь не были исключением; хотя, как и в других местах, хорошо воспитанные люди не устраивали парад своей нравственности. Существует такое понятие, как французский ханжа; но ханжи не распространены и не популярны во Франции. До революции искусство нравиться было более изучено, чем сегодня, - искусство, с помощью которого мужчины и женщины делают себя приятными для своих знакомых.

"В старые времена, при Людовике XV и Людовике XVI, - пишет виконт Сегюр, - молодой человек, вступая в общество, делал то, что называлось *дебютом*. Он культивировал достижения. Его отец предлагал и направлял эту работу, ибо это была работа; но мать, только мать, могла довести своего сына до той последней степени вежливости, изящества и приветливости, которая завершала его образование. Помимо природной нежности, ее гордость была поставлена на карту настолько сильно, что вы можете судить, с какой заботой, с какими тщательными усилиями она старалась придать своим детям, когда они входили в общество, все очарование, которое она могла развить в них или одарить их. Отсюда проистекали редкая вежливость, изысканный вкус, сдержанность в речи и шутке, грациозная осанка, словом, то сочетание, которое характеризует то, что называется хорошей компанией, и которое всегда отличало французское общество даже среди иностранцев. Если молодой человек, по причине своей молодости, не проявлял внимания к даме, уважения к человеку старше себя, почтения к старости, мать легкомысленного юноши в тот же вечер сообщала об этом своим друзьям, а на следующий день он непременно получал совет и упрек"[Сноска: Виконт Сегюр был братом графа Сегюра, из предисловия к мемуарам которого взята эта выдержка].

Наставление, данное в самом начале, не ограничивалось формами. Действительно, французское общество того времени было, вероятно, менее формальным в некоторых отношениях, чем любое другое европейское общество; и в Париже люди были более свободны, чем в провинции. Несмотря на то, что поклон был искусством, хотя реверанс дамы должен был быть одновременно "естественным, мягким, скромным, любезным и достойным", церемониальные приветствия считались излишними, а комплименты делались редко. Восхвалять красоту женщины в лицо означало бы унижить ее скромность. Хорошие манеры в немалой степени заключались в том, чтобы прекрасно различать, что кому причитается, и выражать это различие с легкостью и изяществом. К родителям, родственникам, друзьям, знакомым, незнакомцам, вышестоящим по рангу, бедным иждивенцам можно было обращаться по-разному, но ко всем нужно было относиться с вежливостью и вниманием. Такие манеры возможны только там, где социальные различия четко определены. По крайней мере, в старой Франции каждый человек имел свое место и знал, где он находится.

Но именно в общении с дамами французы того времени демонстрировали совершенство своей системы. Они могли быть порочными, но невежливыми - нет. Ни один воспитанный мужчина не появился бы в комнате дамы небрежно одетым или в ботинках. В речи между полами обычно использовалось третье лицо, и джентльмен, обращаясь к даме, понижал голос до более низкого тона, чем при обращении к мужчинам. Джентльмены были осторожны перед дамами и не обращались друг к другу с фамильярностью. И уж тем более

никто из них, как бы близко он ни был знаком с мужем или братом дамы, не стал бы говорить с ней о своем друге по имени, менее формальному, чем его титул. Эти привычки оставили свой след во Франции и в других странах и по сей день; однако они быстро исчезают, что не совсем благоприятно для социальной жизни.[Сноска: Genlis, Dictionnaire des Étiquettes, i. 94, 218; ii. 194, 347].

Дружба между мужчинами иногда заходила так далеко, что мешала домашней привязанности. По крайней мере, она была верной и искренней, и человек, над которым хмурилась судьба, павший министр или опозоренный придворный, в своих невзгодах был поддержан добротой своих друзей. Из всех добродетелей эта, пожалуй, та, которая в наш торопливый век стремится к исчезновению. Ее оставляют для занятия праздных часов, и малейший пустяк, который можно вымучить под именем дела, позволяет вытеснить те постоянно повторяющиеся знаки внимания, которые могли бы придать истинное изящество и утонченность жизни тех, кто их дарит, и тех, кто их получает. Часто говорят, что дружеские отношения завязываются только в юности. Не потому ли, что молодость - это революция, люди всех возрастов заводили дружбу и поддерживали ее вниманием к другим, которое лежит в основе всякой вежливости. Француз нервный и раздражительный человек. Когда он позволяет своему нраву выйти из-под контроля, то становится вспыльчивым и жестоким. В нем мало того добродушия к неудобствам, которым, по мнению некоторых представителей тевтонской расы, обладают некоторые представители этого народа. В нем меньше добродушного веселья, чем в тосканце. Но он приучил себя к жизни в обществе и научился, когда хорошо себя ведет, радовать окружающих. И это часть гордости и счастья воспитанного француза - быть почти всегда на высоте.

В одном отношении Париж XVIII века был больше похож на провинциальный городок, чем на большую современную столицу. Знакомство не поглотило близость. Мужчина или женщина не обязывались поддерживать вежливые отношения с таким количеством людей, что не могли найти время для встречи с лучшими друзьями чаще, чем раз или два в год. Пресловутые *салоны* старой монархии были очаровательны во многом потому, что были разумно организованы. Приятная женщина привлекала к себе друзей; они встречались в ее салоне, пока не узнавали друг друга, и бывали вместе достаточно часто, чтобы поддерживать интеллектуальную связь. Говорящий знал свою аудиторию и чувствовал себя с ней как дома. Слушатель научился ожидать чего-то стоящего. Хозяйка дома следила за языком и мужчинами и по-своему избавлялась от скуки. Но даже французское остроумие и живость не всегда соответствовали предъявляемым к ним требованиям. "Я помню, - говорит Монтескье, - что однажды мне было любопытно подсчитать, сколько раз я услышу одну маленькую историю, которая, конечно, не заслуживала того, чтобы ее рассказывали или вспоминали; за три недели, пока она занимала вежливый мир, я услышал, как ее повторили двести двадцать пять раз, что меня очень порадовало"[Сноска: *Oeuvres*, vii 179 (*Pensées diverses*)].

Рядом с узами дружбы мы можем поставить узы семьи. В старой Франции эти узы были гораздо теснее, чем в современной Америке. Если человек поднимался в мире, выгода от его связей была больше, чем сейчас; и не существовало теории, согласно которой правитель или человек, занимающий ответственное положение, должен исключать из подчиненных ему мест тех, с кем он лучше всего знаком и в чьей верности себе и своим нанимателям он имеет больше всего оснований быть уверенным. С другой стороны, позор одного члена семьи распространял свое пятно на всех остальных, и судебное осуждение одного человека могло исключить его близких родственников из государственной службы - положение вещей, которое начинало быть противным общественной совести, но которое, по крайней

мере, имело достоинство сформировать сильную группу, чтобы удержать искушаемого от задуманного им преступления.

По сути, старое представление о семье как об органическом целом, с общими радостями, почестями и обязанностями, общими горестями и позором, уступало место новому понятию индивидуализма. Однако во Франции этот процесс не зашел так далеко, как в некоторых других странах, в том числе и в нашей.

Хорошие манеры, безусловно, были правилом при французском дворе, но были и исключения, и небезынтересные, ведь Людовик XV был нелюдимым человеком, а Людовик XVI - неловким. Когда пятнадцатилетняя мадемуазель Женет впервые была назначена чтицей для дочерей бывшего короля, она находилась в состоянии волнения, которое легко себе представить. Двор был в трауре, большие залы были завешаны черным, парадные кресла на платформах, на несколько ступеней выше пола, перья и наплечные узлы, расшитые мишурой, произвели на нее глубокое впечатление. Когда король впервые приблизился, он показался ей очень внушительным. Он ехал на охоту, и за ним следовал многочисленный поезд. Он остановился перед девушкой, и между ними произошел следующий диалог

"Мадемуазель Женет, мне сказали, что вы очень образованны, что вы знаете четыре или пять иностранных языков".

"Я знаю только два, сударь", - дрожит девушка.

"И какие же?"

"Английский и итальянский".

"Вы свободно говорите на них?"

"Да, сэр, очень бегло".

"Этого вполне достаточно, чтобы вывести мужа из себя", - и король пошел дальше, сопровождаемый своим смеющимся отрядом, оставив бедную девочку стоять смущенной и подавленной.[Сноска: Campan, i. pp. vi. viii].

Мемуары того времени полны историй, доказывающих, что строгое соблюдение этикета и общее обучение хорошим манерам не избавили от эксцентричности поведения. Граф Осмонт, например, постоянно возился со всем, что попадалось ему под руку, и не мог видеть табакерку, не высыпав из нее табак тремя пальцами и не рассыпав его по одежде, как швейцарский носильщик. Иногда он варьировал это приятное представление, подставляя под нос саму коробочку, к большому отвращению того, кто оказывался ее владельцем. Однажды он провел неделю в доме мадам де Васси, дамы молодой и симпатичной, но чопорной и церемонной. Эта дама носила юбку из пунцового бархата поверх большого панье, усыпанного жемчугом и бриллиантами. Мадам де Васси ни словом не упрекнула месье д'Осмона за то, как он обращается с ее великолепной золотой табакеркой; она вставала со своего места за карточным столом, как только он ею пользовался, высыпала всю табакерку в камин и звала еще. Д'Осмонт тем временем продолжал, не замечая ее, смеяться и ругаться над своими картами и впадать в ярость, если удача была против него. Однако, когда он не играл, он был оживлен, скромен и приветлив, и, за исключением его суетливых привычек, имел тон лучшего общества[Сноска: Dufort, ii. 46].

Что прежде всего отличало французское дворянство, и особенно его высшие слои, от остального человечества, так это количество досуга, которым оно пользовалось.

Большинство людей в мире вынуждены работать, большинство аристократий - управлять. Английские джентльмены XVIII века занимались сельским хозяйством, исполняли обязанности магистрата, участвовали в политике. Живя в деревне, он был прекрасным охотником. Французскому дворянину, если только он не был офицером армии (а даже офицеры имели неумеренно долгие отпуска), нечем было заняться, кроме как убивать время. Только самые бедные деревенские дворяне думали о том, чтобы заниматься земледелием. Для безработных парижских дворян спорт был лишь эпизодическим занятием. Действительно, француз, хотя ему и нравятся более бурные и стремительные виды охоты, нелегко заинтересоваться более спокойными и продолжительными видами спорта. Он с радостью погонится за диким кабаном, когда лошади, собаки и рога, а также восхищение друзей и слуг будут поддерживать его кровь в кипящем состоянии; но он не будет заботиться о том, чтобы в одиночку пробираться по лесу в течение долгого дня ради возможности принести домой вальдшнепа; он также не может упомянуть о рыбалке без усмешки. Лишенные, таким образом, главного ресурса, с помощью которого англосаксы сочетают активность и праздность, французские дворяне культивировали на высшем уровне те человеческие удовольствия, которые одновременно являются самыми яркими и самыми нежными. Они посвящали себя обществу и занятиям любовью. Слишком сообразительные, чтобы впасть в лень, слишком гордые, чтобы стать пьяницами или обжорами, они рассеивали свою жизнь в разговорах и запятали душу интригами. Никогда, наверное, искусство, делающее общение в обществе восхитительным, не достигало столь высокой степени совершенства, как у них. Никогда, пожалуй, ни в одной христианской стране так легко не мирились с нарушениями законов брака, если при этом не нарушались внешние приличия, как в высших кругах Франции в век, предшествовавший Революции.

Пороки парижского общества при Людовике XV. и его внуке представляли собой любопытную картину. Прелюбодеяние приобрело регулярный характер, а связи, зависящие от него, открыто, а то и молчаливо признавались. Такие незаконные союзы даже регулировались собственной моралью, и попытка склонить женщину к неверности ее преступному любовнику могла рассматриваться как оскорбление [Сноска: Свидетель Руссо и мадам д'Удето в *"Исповеди"*. Мадемуазель д'Эйди считалась очень добродетельной, поскольку не позволила своему любовнику жениться на ней даже после рождения ребенка, боясь повредить его перспективам. Тем не менее, по современным представлениям, эта пара не была очень неравной]. Но эта педантичность порока сохранялась не всегда. В высшем свете были мужчины и женщины, которые очень часто меняли свои связи, поддаваясь капризам момента, когда ими руководили чувства или остроумие. Такие люди были не страстными, а просто развращенными; однако масса общества, отчасти сдерживаемая страхом насмешек, а отчасти философским духом, решившим, что целомудрие не является частью естественной морали, не подвергала их суровому осуждению.

Если эксцентричность иногда брала верх над этикетом и даже вежливостью, то добрые нравы и религия нередко противостояли разврату. Среди высшей знати были любящие жены и заботливые матери. О герцогине Айенской мы узнаем от ее детей. Ее особняк находился на улице Сент-Оноре и имел сад, простиравшийся почти до Тюильри (ведь улицы Риволи тогда еще не существовало). Дом был известен красотой своих апартаментов и великолепной коллекцией картин, которые в нем хранились. После ужина, который подавался в три часа, герцогиня удалялась в свою спальню, большую комнату, увешанную малиновым дамастом, и занимала место в большом кресле у камина. Ее книги, работа, табакерка были под рукой. Она созывала к себе пять девочек. Они, расположившись на стульях и пуфиках, порой

негромко переругиваясь за места рядом с матерью, рассказывали о своих экскурсиях, уроках, маленьких событиях каждого дня. В их воспитании не было ничего легкомысленного. Старая кормилица забивала им голову не сказками, а историями из Ветхого Завета и анекдотами о героических поступках.

Удовольствия этих девочек были просты. Раз или два за лето они ездили в гости к своему дедушке, маршалу де Ноайлю, в Сен-Жермен-ан-Лайе. Осенью они проводили неделю у другого своего деда, месье д'Агессо, во Френе. Экскурсия в пригород, катание на осликах по склонам Мон-Валериана - вот что составляло их невинное расточительство. Самым легкомысленным развлечением для них было увидеть, как их гувернантка упала с осла.

Благочестие герцогини в некоторых отношениях может показаться экстравагантным. У ее четвертой дочери крестными родителями были два приходских нищих, как постоянное напоминание о смирении. Этот же ребенок отличался буйным и своенравным нравом, но в одиннадцать лет был обращен в христианство и стал кротким, терпеливым и обучаемым. Обращение столь юного грешника и серьезность, с которой семья отнеслась к этому событию, скорее относятся к атмосфере пуританства, чем к католицизму XVIII века. Но если религия герцогини Айенской иногда доводила ее до фантастических крайностей, это не было ее главной особенностью. Ее благочестие применялось к ведению повседневной жизни и воспитанию своих дочерей в честности, благоразумии и самоотверженности. Их вера и ее вера должны были быть проверены самыми тяжелыми испытаниями и победить в тюрьме и на эшафоте. Нам повезло, что мы располагаем их биографиями. В скольких случаях в то же время и в той же стране подобные добродетели остались незаписанными?[Сноска: *Vie de Madame de Lafayette, Mme. de Montagu*].

Что касается мелкой знати, "воробыиных ястребов", [Сноска: *Hobéaux*] живущих в деревне, то они обитали среди своих менее возвышенных соседей, делая добро или зло в зависимости от характера каждого из них. Иногда мы видим их в дружеских отношениях с жителями деревни, они выступают в роли крестных отцов и крестных матерей для детей, созывают крестьян принять участие в погоне или потанцевать во дворе замка. Мы видим, как они одаривают больницы, раздают милостыню, следят за поведением сельского священника. Непрерывный обмен подарками происходит между коттеджем и большим домом. Нового лорда встречают залпами из мушкетов, а дам его семьи - молодыми девушками с цветами. Говорят, что подобные отношения становились все менее распространенными по мере приближения Великой революции. В Вандее и Бретани, где большая часть лордов проживает в своих поместьях, чем в других местах, часто отмечали, что там между высшими и низшими классами царят более дружеские отношения, и что именно в этих провинциях лорды и крестьяне выступают за сохранение старого порядка вещей. В некоторых частях страны крестьяне и их лорды постоянно ссорились и обращались в суд. Королевского интенданта осаждали жалобами. Бедняки не могли получить плату за свой труд. Вместо денег они получали удары. Высокомерие и несправедливость с одной стороны наталкивались на наглость и мошенничество с другой. Старое руководство ушло в прошлое. Высшее сословие потеряло свою власть и ответственность, оно еще упорнее настаивало на своих привилегиях. Главной из них было освобождение от некоторых налогов, но были и другие, столь же раздражающие, хотя и менее важные. Возникли ссоры со священником из-за права лорда первым получить святую воду. Один викарий в гневе залил водой новый парик его светлости.

В целом можно представить, что мелкие дворяне, лишённые своей полезной функции регулирования и управления страной, вели несколько скупую и бесполезную жизнь. Они много охотились, долго спали. Как правило, они не переедали, ибо обжорство не является

пороком их расы. Они роптали на возвышение двора и на новые армейские порядки. В своих семьях они сохраняли благородные добродетели достоинства и послушания. Дети просили благословения у родителей, стоя на коленях перед сном. Старший Мирабо, мрачный Друг людей, на пятидесятом году жизни все еще преклонял колени перед матерью. Дети почитали своих родителей как по сути, так и по форме и не делали ни одного важного шага в жизни без отцовского согласия. В юности мальчики были довольно необузданными, но с наступлением среднего возраста остепенились; старшие унаследовали немногочисленные или бесплодные отцовские акры; младшие сыновья, столь же знатные, и потому лишенные возможности заниматься прибыльным делом, пробивали себе дорогу в армии. Девушки выходили замуж молодыми или уходили в монастырь. Браки заключались исключительно по инициативе родителей. "Отец мой, - сказал молодой дворянин, - мне сказали, что вы договорились о моем браке. Не будете ли вы так любезны сказать мне, правда ли это сообщение и как зовут даму?" "Сын мой, - ответил его родитель, - будь так добр, занимайся своими делами и не приходи ко мне с вопросами"[Сноска: Babeau, *Le Village*, 158. Ch. de Kibbe, 169. Mme. de Montagu, 57. Genlis, *Dictionnaire des Étiquettes*, i. 71. Lavergne, *Les Économistes*, 127].

## ГЛАВА VII.

### АРМИЯ.

Дворянство Франции было, по сути, военным сословием. Его привилегии требовались за заслуги на поле боя. Священники молятся, дворяне сражаются, коммуны платят за все; такова была теория государства. Правда, дворяне больше не составляли большую часть армий; старые феодальные сборы - бан и арьербан, в которых барон скакал во главе своих вассалов, - больше не применялись. Но все же солдатская жизнь считалась достойной карьерой дворянина. Значительная часть членов ордена была офицерами, а большинство офицеров - членами ордена.

Правило, требовавшее доказательств дворянства в качестве предварительного условия для получения комиссарства, не слишком строго соблюдалось в правление Людовика XV и в первые годы правления его преемника. Во многих полках было принято ежегодно повышать в звании одного или двух достойных сержантов. В других необходимое свидетельство о рождении мог подписать любой дворянин, и его часто получали из жадности или по доброте душевной. Более того, указ 1750 года предусматривал, что офицеры плебейского происхождения иногда должны быть облагодетельствованы за особые заслуги. Но в 1781 году было установлено новое правило. Отныне никто не мог получить звание второго лейтенанта, если не мог показать четыре поколения дворянства по отцовской линии, считая его самого. Таким образом, все члены семей, недавно получивших дворянство, были исключены из службы, и для военных амбиций людей, принадлежащих к среднему классу, не оставалось открытой ни одной двери, хотя этот класс с каждым годом становился все более значимым. Более того, требовались строгие генеалогические доказательства, кандидат на комиссарство должен был представить свои бумаги королевскому герольду. Исключения делались в пользу сыновей членов военного ордена Святого Людовика. [Сноска: Ségur, i. 82, 158. Chérest, i. 14. Старинные законы Франции, 22 мая 1781 года. Полки, к которым относится это постановление, - это полки французской пехоты (не иностранные полки), кавалерии, легкой конницы, драгун и кавалерийских шашек. Это, по-видимому, исключает артиллерию и инженеров. Иностранные полки, по-видимому, были включены в более поздний приказ. Chérest, i. 24].

Но все дворяне не были на одинаковом положении в армии. Среди полковых офицеров можно выделить два класса. С одной стороны, это прапорщики, лейтенанты, капитаны, майоры и подполковники, которые, как правило, принадлежали к более бедному дворянству. Они служили долго и за небольшое жалованье, не надеясь на более блестящие награды профессии. Они выполняли свою работу и оставались в своих полках, хотя в мирное время получить отпуск было несложно. Их жизнь была тяжелой и экономной: жалованье капитана не превышало двадцати пяти сотен ливров, которые, возможно, удваивались за счет надбавок. С другой стороны находились полковники и вторые полковники, молодые люди из влиятельных семей, которые, в лучшем случае, проходили через нижние чины, чтобы узнать кое-что об обязанностях офицера. Их комиссии были получены благодаря благосклонности. При дворе не было ни одного епископа, у которого не было бы кандидата на полковничье звание, ни одной хорошенькой женщины, которая не стремилась бы сделать своего друга капитаном. Богатые молодые люди, получив повышение, свободно разбрасывались деньгами в лагере и гарнизоне. Таким образом, если у дворянства были исключительные привилегии, то у двора были привилегии, исключавшие привилегии остальных дворян, а в последние дни старой монархии они еще и усилились. Военный совет в 1788 году постановил, что никто не должен становиться генералом, если до этого он не был полковником; а полковничьи комиссии, помимо того, что стоили очень дорого, давались, как уже говорилось, только по благосклонности. Так накануне революции во Франции все туже затягивались путы привилегий. [Сноска: Ségur, i. 154. Chérest, ii. 90.] Назначенные таким образом полковники, как правило, не отличались храбростью. Французское дворянство всех степеней было готово отдать свою кровь на поле боя. Так, сын герцога Буфлера, четырнадцати лет от роду, был произведен в полковники полка, носившего имя его семьи. Герцог служил в той же армии в чине генерал-лейтенанта. Опасаясь, что мальчик может не знать, как вести себя в бою, отец в первый раз получил разрешение от маршала Мориса де Сакса, командующего армией, сопровождать сына в качестве волонтера. Полку мальчика было приказано атаковать укрепленную деревню Рауку. Молодой полковник и его отец, за которым следовали два пажа, повели своих людей против укреплений. Когда они достигли укреплений, герцог взял сына на руки и перебросил его через парашют. Сам он последовал за ним, и оба остались невредимы, но два пажа были застрелены [Сноска: Montbarey, i. 38].

В Америке, как и в Европе, молодые любимцы фортуны были готовы сражаться. Такие люди, как Лазун, Сегюр или виконт Ноайль, не просили ничего лучшего, чем приключения, будь то на войне или в любви; но в мирной жизни на них нельзя было смотреть как на удовлетворительных или трудолюбивых офицеров. Тем не менее они и им подобные продолжали получать повышение. Время от времени принимались постановления, требовавшие возраста или выслуги лет, но в старой Франции постановления не распространялись на великих. Более бедные дворяне могли роптать, но придворные семьи продолжали получать хорошие места. У подполковников и других рабочих офицеров армии было мало шансов стать генералами. Еще до приказа 1788 года продвижение по службе выпало на долю придворных полковников. Эстафета маршалов Франции переходила в руки только высшей знати. Во всей Европе в XVII и XVIII веках армиями часто командовали люди, рожденные в княжеском звании. О том, что это не обязательно означало, что ими плохо командовали, могут свидетельствовать имена Тюренна и Конде, Мориса де Сакса и Эжена Савойского, принца Генриха I Прусского и Фридриха Великого.

Пока высшее командование было монополизировано (или почти монополизировано) богатыми и могущественными, в армию стекались более бедные дворяне, чтобы занять подчиненные чины офицеров. Иногда они приходили через военные школы. Самая важная из них была основана в Париже в 1750 году финансистом Пари-Дюверни. Здесь несколько

сотен молодых джентльменов, в основном рожденных в бедности и предпочтительно сыновей офицеров, получали военное образование. Мальчики приходили в школу из родных мест в возрасте от девяти до одиннадцати лет, иногда в деревянных башмаках и шерстяных шапочках, похожие на крестьянских мальчиков, которые были их товарищами по играм. Их учили обязанностям джентльменов и офицеров, чистоте, правильной осанке, рукопашке, тактике и кое-чему из военной науки. В провинциях существовали и другие школы, содержавшиеся монахами, где молодые претенденты на получение комиссий изучали инженерное дело и теорию артиллерии. Но многие молодые дворяне начинали свою карьеру в процессе, более соответствующем юношеским вкусам. Мы видим мальчиков в лагере во время войны, уклоняющихся от приказов, которые запрещали поступать на службу до шестнадцати лет. Дети двенадцати и тринадцати лет получают ранения в бою. [Сноска: Babeau, *Vie militaire*, ii. 7, 45. Montbarey, i. 18].

Поскольку единственной формой активной жизни, в которой большинство дворян могло принимать участие, была армия, в ней всегда было слишком много офицеров, и на них уходила слишком большая доля военных расходов. В 1787 году на действительной службе находилось едва ли больше, чем каждый третий из тех, кто имел комиссарство. Число солдат при Людовике XVI. составляло менее ста пятидесяти тысяч человек, фактически находящихся под знаменами. На бумаге было тридцать шесть тысяч офицеров, а активно служили тринадцать тысяч. Солдаты обходились государству в 44 100 000 ливров в год, офицеры - в 46 400 000 ливров.[Сноска: Babeau, *Vie militaire*, i. 15; ii. 90, 145. Necker, *De l'Administration*, ii. 415, 418].

Отношения между офицерами и солдатами старой французской армии были более близкими и добрыми, чем в любой другой европейской армии того времени. Для обоих полк был домом, а военная служба - профессией на всю жизнь. Они пришли в него молодыми и надеялись умереть в нем. Их отношение друг к другу стало частью структуры их сознания, условием связного мышления. Солдат мог подняться из рядов и стать лейтенантом или даже капитаном, но такое продвижение было нечастым; мало кто из простых солдат имел образование или средства, чтобы стремиться к этому. С другой стороны, командование ротой иногда было почти наследственным. Капитан мог быть лордом деревни, в которой родились его солдаты. В этом случае он заботился о них в болезни и, возможно, даже давал увольнительную, когда рядовой был очень нужен своей семье дома. Его собственные шансы на продвижение по службе были невелики. Он рассчитывал всю жизнь прослужить в этой роте, среди этих солдат, с младшим братом или, со временем, сыном в качестве лейтенанта. Похоже, что в годы, непосредственно предшествовавшие Французской революции, эти добрые отношения в какой-то мере угасли. Капитан уже не был так тесно связан со своей ротой, как раньше. Чиновничество заняло место тех личных связей, которые были характерны для феодальной системы. Пропасть между солдатами и офицерами если и не стала труднее для честлюбивых, то сильнее отделяла заурядных членов одной группы от представителей другой.[Сноска: Babeau, *Vie militaire*, i. 43, 189. Montbarey, ii. 272. Moore's *View*, i. 365].

Рядовые солдаты короля Людовика XVI, которые стояли в длинных белых шеренгах на параде в Ньюпорте, в то время как над ними развевались разноцветные флаги, а офицеры бренчали понтонами впереди, или которые бросились в ночную атаку на передовой редут в Йорктауне, не были, как современные европейские солдаты, собраны вместе по призыву. Они были, по крайней мере номинально, добровольцами. Непокорные парни, безработные механики, беглые подмастерья - все это умелые офицеры-вербовщики с легкостью привлекали на службу. За тридцать лет до этого у этих землевладельцев был обычай обманывать или

запугивать молодых людей. Сырой юноша, приехавший в Париж из деревни, получал от случайного знакомого место слуги в семье джентльмена и, подписав контракт, оказывался обязанным в течение восьми лет служить Его Величеству в одном из его пеших полков. Молодой цирюльник-хирург проснулся после пирушки с королевским серебром в кармане. Подобные случаи все еще были распространены в Германии. Во Франции были предприняты некоторые усилия по регулированию деятельности офицеров по набору рекрутов. Жалобы на принуждение или мошенничество при приеме на службу привлекали внимание властей. Поэтому солдаты Людовика XVI набирались сравнительно честно. Пехота набиралась в основном из городов, кавалерия и артиллерия - из деревни. Солдаты были получены из самой низкой части населения. Улучшится или ухудшится их состояние во время службы, зависело от их офицеров. В любом случае они полностью погружались в нее. Солдат не сохранял даже имени, под которым он был известен в обычной жизни. Он принимал или ему давали боевое *имя*, например La Tulippe, La Tendresse, Pollux, Pot-de-Vin, Vide-bouteille или Va-de-bon-coeur. Срок его службы составлял семь или восемь лет, но он отнюдь не был уверен в том, что по окончании службы получит достойную демобилизацию, и в любом случае мог вновь поступить на службу. Таким образом, новобранец фактически приступал к профессии всей своей жизни.[Сноска: Babeau, *Vie militaire*, i. 55, 136, 182. Мерсье, x. 273. Ségur, i. 222; *Encyc. méth. Art milit.* ii. 177 (Дезертирство)].

Тогдашняя униформа была плохо приспособлена для ведения кампании. Французский солдат в строю носил белую одежду с цветной отделкой, в зависимости от полка. На голове у него красовалась треугольная шапка с петухом, хорошо надвинутая на уши, но почти не затеняющая глаза. Под ней волосы были напудрены или, скорее, наклеены, так как пудра просеивалась на мокрые волосы и прилипала к ним. Можно представить себе состояние этой массы после дождливой ночи у костра. В некоторых полках требовалось носить усы, и те солдаты, которых природа не наделила таким украшением, были вынуждены носить фальшивые, закрепленные смолой, что могло привести к нарыву на губе. Иногда усы целого полка приобретали прекрасный равномерный цвет с помощью сапожных чернил. Широкие белые ремни перекрещивались на груди. Льняные гетры, белые на параде и черные на марше, спускались намного выше колена, а излишнее количество подвязок мешало шагу. Надевать их было утомительно, а если в отверстие для пуговицы попадал камушек, солдата тянуло оставить его в ботинке, пока он не разболит ногу. Обмундирование редко обновлялось. Пальто должно было прослужить три года, шляпа - два, бриджи - один[Сноска: Babeau, *Vie militaire*, i. 93. *Encyc. méth. Art milit.* i. 589 (*Chaussure*) ii. 179. Susane, ix. (*Plates*). См. также очень интересную книгу великого человека, Мориса де Сакса, *Les Rêveries*].

Все части солдатского мундира были тесными и плотно прилегающими. Я думаю, что это было перенято у пруссаков. Идеал армии как машины, похоже, зародился или, по крайней мере, был впервые разработан в Германии. Такой идеал был естественным следствием военной системы той эпохи. Из солдат Фридриха Великого только половина была его урожденными подданными. Другие немецкие князья набирали в армию столько иностранцев, сколько могли. Во французской армии было много полков иностранных наемников. Нигде не было ни высокой оплаты, ни хорошего обращения с солдатами. Дезертирство было очень распространено. В этих условиях механическая точность стала бесценным качеством. Солдат нужно было держать в очень строгих рамках, так как, оставшись на свободе, он мог обратиться против власти, которая его наняла.

Связь между жесткой системой, в которой ничего не зависит от интеллекта и инициативы солдата, и тесной униформой, сковывающей его движения, глубока и очевидна. Если

человек никогда не будет иметь собственного пути, его хозяин неизбежно найдет средства, чтобы доставить ему ненужные неудобства. Как современный владелец лошади иногда уменьшает рабочую силу животного с помощью поводьев и мартингалов, так и деспоты XVIII века застегивали и приводили в порядок свой военный скот, заставляя его идти неестественным шагом. Но даже при этих недостатках французские солдаты превосходили всех остальных в изяществе и легкости осанки. Офицеров иногда обвиняли в том, что они приносят эффективность своих команд в жертву внешнему виду. Построение войск включало в себя шаги, более подходящие для танцмейстера, чем для сержанта по строевой подготовке. [Сноска: Montbarey, ii. 272.] Подобная критика часто звучала в адрес французского солдата со стороны его соотечественников и иностранцев. Но те, кто думает, что с ним можно шутить по этому поводу, сильно ошибаются.

Питание солдат было грубым и едва достаточным. Жалованье настолько поглощалось требованиями обмундирования, многие из мелких деталей которого были за счет людей, и питанием, что почти не оставалось средств на такие необходимые удобства, как питье и табак. Казармы, красивые снаружи, были тесными и переполненными внутри. Во время правления был отдан приказ, чтобы на одной кровати спали только два человека. В некоторых гарнизонах солдаты по-прежнему размещались на ночлег у жителей. В случае болезни за ними ухаживали лучше, чем за гражданскими лицами: военные госпитали были явно лучше тех, что открыты для широкой публики. [Сноска: Лафайет сообщил Собранию знати в 1787 году, что питание солдат было недостаточным для их содержания. *Mémoires*, i. 215. Ségur, i. 161].

Если мы сравним материальное положение французского солдата в последние годы старой монархии с материальным положением других европейских солдат его времени, то обнаружим, что с ним обращались примерно так же хорошо, как и с ними. Если мы сравним те времена с нынешними, то обнаружим, что сейчас его лучше одевают, но не лучше кормят, чем тогда [Сноска: Babeau, *Vie militaire*, i. 374].

"Солдаты очень чисты, - пишет английский путешественник во Франции в 1789 году, - они далеко не скудные и плохо выглядящие ребята, как убеждает нас Джон Буль, а хорошо сложенные, высокие, красивые мужчины, и в их лицах и манерах чувствуется жизнерадостность и вежливость, что особенно приятно. Они также выглядели очень здоровыми, о них очень заботились" [Сноска: Rigby, 13].

Период в двадцать пять лет, предшествовавший Революции, был временем попыток реформ во французской армии. Поражения Семилетней войны послужили уроком. Герцог Шуазель, умелый министр Людовика XV, упразднил многие злоупотребления. Маневры войск стали более регулярными, дисциплина - более строгой и на некоторое время более точной. Герцог Эгийонский сместил Шуазеля, сделавшись придворным плута Дю Барри, и дела, похоже, пошли на попятную. Затем старый король умер, и Эгийон последовал за своим сообщником в изгнание. Людовик XVI обнаружил, что его финансы в беспорядке, армия и флот деморализованы. Смерть военного министра в 1775 году дала ему возможность предпринять одну из своих благонамеренных и слабых попыток реформ. Он призвал в министерство старого солдата, графа Сен-Жермена, который уже некоторое время жил в отставке. Граф повидал немало иностранной службы, не питал симпатий ни к французской армии, ни к французскому двору и, кроме того, был человеком, не умевшим ни с кем ладить. Он написал статью о военных реформах и тем самым привлек к себе внимание. Находясь на своем посту, он тщетно боролся с некоторыми вопиющими злоупотреблениями, особенно с привилегиями, предоставленными привилегированным полкам и привилегированным лицам. Вызывая отвращение двора, он поднял бурю негодования в армии своей любовью к

иностранным нововведениям, и особенно к одной практике, которую считал глубоко унижительной. Речь идет о наказании за мелкие проступки поркой плоской стороной меча; для этого использовалось оружие, специально изготовленное для этой цели. Аргументы в пользу этого наказания очевидны. Оно быстрое, неприятное для страдальца, но не лишает государство его услуг, не подвергает его дурному влиянию и нечистому воздуху караульного помещения. Возражения столь же очевидны. Порка, которая кажется самым естественным и простым наказанием многим людям в развитой цивилизации, ненавистна другим, едва ли более цивилизованным, со смертельной ненавистью. В первом случае оно наносит лишь умеренную травму коже, во втором - глубоко проникает в разум и душу. Трудно сказать заранее, как воспримет это тот или иной народ. Английский солдат при Ватерлоо, как и немец из Россбаха, воспринял удары плетью почти как шутку. Француз, их неудачливый противник на этих полях, с трудом выдерживал ее. Гренадеры плакали, нанося удары шпагой, и их полковник смешивал свои слезы с их. "Бейте острием, - кричал один из солдат, - это менее больно!"

Некоторым иностранцам на французской службе такая чувствительность казалась абсурдной. Граф Сен-Жермен посоветовался по этому поводу с майором полка Нассау, который поднялся из рядов. "Сэр, - сказал ветеран, - я получил много ударов; я дал много ударов, и все с пользой для себя"[Сноска: Ségur, i. 80. Мерсье, vii. 212. Бешенваль, ii. 19. Аллонвиль. *Мет.* sec. 84. Монбарей, i. 311. Порка в той или иной форме и вообще немецкие методы, по-видимому, были введены во французской армии еще во времена Шуазеля и в большей или меньшей степени практиковались во время правления Людовика XVI; но большое недовольство, по-видимому, связано с более жестким применением таких методов Сен-Жерменом. Монбарей. Dumouriez, i. 370 (liv. ii. ch. iii)].

Дух реформ витал в воздухе, и пылкие молодые офицеры не хотели ничего оставлять без внимания. Граф Сегюр рассказывает историю одного такого офицера; и хотя имя его не называется, он, по-видимому, указывает на шурина Лафайета, храброго виконта Ноайля.

"Однажды утром, - рассказывает Сегюр, - я увидел, как в мою спальню вошел молодой человек из одной из первых семей двора. Я был его другом с детства. Он давно возненавидел учебу и думал только об удовольствиях, играх и женщинах. Но недавно им овладел военный пыл, и он мечтал только об оружии, лошадях, теоретической школе, упражнениях и немецкой дисциплине.

"Когда он вошел в мою комнату, вид у него был глубоко серьезный; он умолял меня отослать моего камердинера. Когда мы остались одни: "Что означает, мой дорогой виконт, - сказал я, - столь ранний визит и столь серьезное начало? Это какое-то новое дело чести или любви?

"Ни в коем случае, - сказал он, - но это связано с очень важным делом и с экспериментом, который я твердо решил провести. Он, несомненно, покажется вам очень странным, но он необходим для того, чтобы просветить меня в том великом вопросе, который мы все обсуждаем; мы можем хорошо судить только о том, что пережили сами. Когда я расскажу вам о своем плане, вы сразу же почувствуете, что я мог доверить его только моему лучшему другу и что никто, кроме него, не сможет помочь мне его осуществить. Одним словом, дело обстоит так: Я хочу точно знать, какой эффект могут произвести удары острием меча на сильного, мужественного, уравновешенного человека, и насколько его упрямство выдержит это наказание, не ослабев. Поэтому я прошу вас потерпеть, пока я не скажу "хватит"".

"Разразившись хохотом над этой речью, я сделал все, что мог, чтобы отвратить его от его странного плана и убедить его в глупости его предложения; но все было бесполезно. Он

настаивал, умолял и уговаривал меня сделать ему это удовольствие, причем с такой силой, словно речь шла о том, чтобы я оказал ему какую-то великую услугу.

"В конце концов я согласился и решил наказать его фантазию, предоставив ему возможность заработать. Я принялся за работу, но, к моему великому изумлению, страдалец, холодно размышляя о последствиях каждого удара и собирая все свое мужество, чтобы поддержать его, не произнес ни слова и заставил себя казаться неподвижным; только после того как я повторил эксперимент несколько раз, он сказал: "Друг, достаточно. Я доволен; и теперь я понимаю, что это, должно быть, эффективный метод преодоления многих недостатков".

"Я думал, что все кончено, и до этого момента сцена казалась мне просто комичной; но как раз когда я собирался позвонить камердинеру, чтобы тот меня одел, виконт, внезапно остановив меня, сказал: "Одну минуту, пожалуйста, все еще не закончено; хорошо, что вы тоже должны сделать этот эксперимент".

"Я заверил его, что не имею ни малейшего желания делать это и что это ни в коем случае не изменит моего мнения, которое было совершенно неблагоприятным для нововведений, столь противоречащих французскому характеру.

"Очень хорошо, - ответил он, - но я прошу об этом не ради вас, а ради себя. Я вас знаю; хотя вы прекрасный друг, вы очень живой человек, немного любите подшучивать, и, возможно, вы бы сделали очень забавную историю о том, что только что произошло между нами, за мой счет, среди ваших дам".

"Но разве вам недостаточно моего слова? ответил я.

"Да, - сказал он, - в любом более серьезном деле; но в любом случае, если я боюсь только неосторожности, то этот страх слишком велик". И поэтому, во имя дружбы, я прошу вас, успокойте меня в этом вопросе, взяв обратно то, что вы так любезно одолжили мне. Более того, повторяю, поверьте, вы извлечете из этого пользу и будете рады сами оценить этот новый метод, о котором так много говорят".

"Преодолев его мольбы, я позволил ему взять в руки роковое оружие; но после того как он нанес мне первый удар, я, отнюдь не подражая его упрямой выдержке, быстро сказал, что этого достаточно и что я считаю себя достаточно просвещенным в этом серьезном вопросе. Так закончилась эта безумная сцена; мы обнялись при расставании, и, несмотря на мое желание рассказать эту историю, я хранил его тайну столько, сколько ему было угодно"[Сноска: Ségur, i. 84].

Дисциплина во французской армии, как и в других структурах, военных и гражданских, зависела не столько от правил, сколько от индивидуальных качеств людей, которыми командовали в данный момент. За время правления Людовика XVI Франция участвовала только в одной войне, и в этой войне сухопутные войска были заняты только в Америке.

"Французская дисциплина такова, - пишет Лафайет Вашингтону из Ньюпорта, - что куры и свиньи ходят между линиями, не будучи потревоженными, и что в лагере есть кукурузное поле, на котором не тронут ни один лист". А Рошамбо с искренней гордостью рассказывает о яблоках, висящих на деревьях, которые затеняют солдатские палатки. "Дисциплина французской армии, - говорит он, - всегда следовала за ней во всех ее кампаниях. Она была обусловлена усердием генералов, высших и полковых офицеров и особенно добрым духом солдата, который никогда не подводил". Но Рошамбо был рабочим генералом, и Лафайет сделал все возможное во Франции, чтобы, насколько это было возможно, французский командующий в Америке имел под своим началом рабочих офицеров. Ни на войне, ни в мире

французы не всегда славились своей дисциплиной; и недовольство, вызванное вышеупомянутыми изменениями, не способствовало ее укреплению в последние годы монархии. "Какое бы представление я ни составил о недостатке дисциплины и анархии, царивших в войсках, - говорит Бешенваль, - оно было гораздо ниже того, что я обнаружил, когда увидел их вблизи", и обстоятельства подтверждают показания этого не слишком доверчивого свидетеля[Сноска: Washington, vii. 518. Рошамбо, i. 255, 314. Ферсен, i. 39. 67. Besenval, ii. 36].

Приключение графа Брехана произошло во второй половине предыдущего царствования; но эта история слишком характерна, чтобы ее опускать, и дух, который она продемонстрировала, сохранялся до самого конца старой монархии.

Граф Брехан, отслужив с отличием в Семилетней войне, вышел в отставку и посвятил свое время обществу и изящным искусствам. Однажды его вызвал в Версаль герцог Эгийонский, премьер-министр Людовика XV, его друг и кузен. "Я назвал вас королем, - сказал герцог, - как единственного человека, способного привести полк Дофини в состояние дисциплины. Строевые офицеры своим непокорным поведением прогнали нескольких полковников подряд. Если бы я предлагал вам услугу, вы могли бы отказаться; но это дело долга, и я заверил короля, что вы возьметесь за него".

"Вы поступаете справедливо", - ответил Брехан. "Я приму командование полком, но должен поставить три условия. Я должен иметь неограниченную власть награждать и наказывать; я должен быть помилован, если превышу устав; и если мне удастся привести полк в хорошее состояние, я не должен буду удерживать его более года".

Приняв условия, Брехан отправился в Марсель, где был расквартирован полк. По прибытии в этот город он остановился в маленьком и неприметном трактире и, переодевшись в гражданское платье, пешком отправился в кофейню, которая, как говорили, была любимым местом отдыха офицеров полка Дофине. Усевшись в кресло, он прислушался к разговору вокруг себя и вскоре понял, что непокорные подчиненные говорят о своем новом полковнике и о том, как они разыграют его по прибытии. Выбрав двух молодых офицеров, которые особенно бросались в глаза, он прервал их разговор.

"Вы не знаете, - говорит он, - человека, которого хотите прогнать. Советую вам следить за тем, что вы делаете, иначе можете попасть в переделку".

"Кто этот шаканапс, который смеет давать нам советы?"

"Человек, который не потерпит грубости и потребует удовлетворения!" - кричит Брехан, расстегивая свой штатский мундир и показывая военный орден Святого Людовика.

И вот он отправляется с молодыми ребятами, и всю дорогу до места, где им предстоит сражаться, он попрекает и издевается над ними. Это все больше и больше выводит их из равновесия, так что, когда они достигают земли, они очень возбуждены, в то время как он совершенно спокоен. Он ранит их одного за другим; затем, повернувшись к свидетелям: "Господа, - говорит он, - я полагаю, что сделал достаточно для человека, который днем и ночью проделал весь путь из Парижа. Если кому-то понадобится еще что-нибудь, он легко найдет меня. Я не из тех, кто сбивается с пути".

После этого он покидает их, возвращается в трактир, надевает мундир, вызывает генерала, командующего гарнизоном, и посылает приказ офицерам полка Дофине явиться к нему. Те вскоре прибывают и очень удивляются, узнав человека, которого они встретили в кофейне и который только что ранил двух их товарищей. Но Брехан делает вид, что никого из них не

знает, любезно со всеми разговаривает, рассказывает о суровых приказах, которые он несет в случае неповиновения, и выражает надежду и уверенность, что никаких неприятностей не будет. Затем он спрашивает, все ли офицеры полка присутствуют. Они отвечают, что два джентльмена больны. "Я пойду к ним, - говорит новый полковник, - и прослежу, чтобы о них хорошо позаботились". Он действительно навещает своих противников и застаёт их в большом волнении. Они пытаются оправдаться, но Брехан останавливает их. "Я не хочу знать ни о чем, что произошло до того, как я принял командование, - говорит он, - и я совершенно уверен, что отныне у меня будет только хороший отчет перед королем обо всех офицерах моего полка, с которыми я надеюсь жить в самых лучших отношениях".

Таким твердым и примирительным поведением граф Брехан внушил полку Дофине уважение и привязанность. Он восстановил в нем дисциплину и покинул его по окончании службы с большим сожалением для всех офицеров[Сноска: Allonville, i. 162].

Лейтенанты французской армии были объединены в ассоциацию под названием Калотта. Законной целью этого общества было приучить молодых офицеров к порядку, обязав их соблюдать правила вежливости и правильного поведения, принятые в их сословии. Для этой цели старший лейтенант каждого полка был начальником полкового клуба, а для всей армии существовал общий начальник. Проступки против хороших манер, подлости или странности в поведении пресекались наставлениями, сделанными начальником наедине или публично на дружеских собраниях клуба. В особо тяжких случаях моральное давление могло дойти до того, что виновный мог сложить с себя полномочия. Общество фактически представляло собой организованный профессиональный дух; и хотя оно не признавалось правилами, начальство относилось к нему благосклонно.[Сноска: Calotte = колпак, здесь - колпак дурака. Об этом обществе см. серию *фельетонов* в *Moniteur Universel*, с 25 по 30 ноября 1864 г., написанных генералом Амбером; также *Encyclopédie méthodique, Art militaire. Militaire*, iv. 101-103 (статья *Калотта*); Ségur, i. 132].

Когда дисциплина была ослаблена, Калотт взял на себя слишком большие полномочия. Не довольствуясь моральными средствами, он стал добиваться исполнения своих постановлений физическими; его юрисдикция распространялась гораздо выше звания лейтенанта.

В начале войны между Францией и Англией в 1778 году в Нормандии и Бретани были созданы два лагеря для подготовки армии и, возможно, с намерением высадиться на английском побережье. Молодые французские офицеры съехались в эти лагеря и делили свое время между учениями и развлечениями. Однажды на холме были зарезервированы места для нескольких бретонских дам, которые должны были наблюдать за маневрами. Два полковника, сопровождавшие двух придворных дам, недавно прибывших из Парижа, взяли себе присвоить эти кресла для своих спутниц. В результате возникла обычная для таких случаев перебранка.

Упомянутый выше граф Сегюр исполнял обязанности адъютанта генерала. Через несколько дней после ссоры из-за стульев, когда он собирался начать игру в плен, два офицера, которые были его друзьями, сообщили ему в частном порядке, что Калотт приказал публично выпороть одеялами двух полковников, нанесших ему обиду, и что этот приговор вот-вот будет приведен в исполнение. Сегюр, чтобы выиграть время, приказал барабанщикам бить тревогу. Игра была прервана, каждый офицер побежал к своим цветам, а адъютант поспешил объяснить ситуацию изумленному генералу. Предложенное наказание было отложено и в конце концов предотвращено, но избежать скандального нарушения дисциплины не удалось.

По мере приближения революции ее дух становился все более явным в армии. Граф Гиберт, самый талантливый и влиятельный член Военного совета в 1788 году, стал объектом сатиры и эпиграмм. Младшие офицеры сговорились испортить успех его маневров. Эксперименты, которые были опробованы, частые изменения в правилах, расстроили их представления. Реагируя против неприятной строгости немецкой дисциплины, они заявляли, что только английские офицеры, а не машиноподобные солдаты деспота, являются образцом для свободных людей. Простые солдаты заразились духом неповиновения от тех, кто ими командовал. Особенно заразился духом бунта большой полк французских гвардейцев - привилегированное сословие, постоянно расквартированное в Париже. Его бойцы отличились в первых волнениях революции, выступая на стороне толпы[Сноска: Chérest, i. 552. Miot de Mérito, i. 3].

Ополчение старой Франции не требует долгого упоминания. Оно состояло из шестидесяти-восьмидесяти тысяч человек, главной обязанностью которых было несение гарнизонной службы во время войны, а в мирное время они не были постоянно вместе, но время от времени собирались для учений. Поскольку срок службы составлял шесть лет, число призываемых не превышало пятнадцати тысяч человек в год. Это, несомненно, не было большой нагрузкой для двадцатимиллионного населения. Однако служба в ополчении была крайне ненавистна. По всей видимости, это объясняется тем, что люди не шли добровольно, а призывались в армию, а также тем, что многие люди были освобождены от призыва. Этот иммунитет распространялся не только на сыновей престарелых родителей, от которых зависело их содержание, но и на привилегированных лиц всех мастей, от аптекарей до адвокатов, джентльменов и их слуг, а также егерей. Таким образом, бремя было полностью переложено на бедное крестьянство[Сноска: Bros, i. 117; Babeau, *Le Village*, 259].

Военно-морской флот во времена Людовика XVI достиг высокого уровня эффективности. Война 1778-1783 годов была в значительной степени морской войной, и хотя французы и их союзники потерпели поражение в некоторых главных действиях, общий результат можно считать благоприятным для них. Военно-морской флот на момент начала военных действий состоял из семидесяти линейных кораблей, стольких же фрегатов и больших корветов, а также сотни более мелких судов. Эти корабли были построены по восхитительным образцам, поскольку французские морские архитекторы были хорошо обучены и искусны; но материалы и конструкция не соответствовали совершенству проекта. Изобретение омеднения днища кораблей, что увеличивало их скорость, хотя и широко практиковалось в Англии, во Франции применялось только к меньшей части флота. Однако французы имели преимущество перед англичанами в том, что корабли одного и того же номинального класса в действительности были больше и шире по ширине у первых, чем у вторых, так что французы иногда могли вести бой своими нижними батареями в бурной воде, когда англичане были вынуждены держать свои нижние порты закрытыми.

Морские офицеры Франции почти все были дворянами и получали тщательную профессиональную подготовку. Однако практика перевода офицеров высокого ранга из армии во флот не была полностью отменена. Так, д'Эстен, без особого успеха командовавший на североамериканском побережье в 1778 году, был не моряком, а генерал-лейтенантом, искусственно превращенным в вице-адмирала. Такие случаи, однако, были нечастыми, и в целом французские командиры ошибались скорее из-за слишком строгого следования военно-морским правилам, чем из-за недостатка профессиональной подготовки. Во флоте, как и во всем остальном, в это царствование, которое было скорее временем ожиданий, чем действий, не было развито ни одного большого оригинального таланта.

Люди, как и офицеры, были хорошими и хорошо обученными, за исключением тех случаев, когда из-за нехватки матросов правительство вынуждено было нанимать на корабли солдат. Примечательно, что моряки спокойно переносили конец веревки, хотя сухопутчики так обижались на порку плоской стороной меча. Я также не нашел ни одной жалобы на отсутствие дисциплины на море.

Управление военно-морскими делами было менее удовлетворительным, чем корабли или экипажи. Магазины не были хорошо снабжены, а запасы, вероятно, были плохими, поскольку флоты были подвержены эпидемиям[Сноска: Chabaud-Arnault, 189, 196, 214. Charnock, iii. 222, 282 Ségur, i. 138. Шевалье].

В целом флот, по-видимому, меньше, чем армия, пострадал от брожения общественного мнения. Морские дела всегда должны оставаться заботой особого класса людей, отрезанных поглощающими занятиями от интересов и симпатий остального человечества.

## ГЛАВА VIII

### СУДЫ ЗАКОНА.

В то время как большая и наиболее заметная часть французского дворянства жила мечом, весьма уважаемая часть ордена носила судебную мантию. В восемнадцатом веке во французских делах заметное место занимали парламенты - ветвь старых феодальных судов королей Франции, сохранявшие функции высших судебных инстанций и игравшие, кроме того, определенную политическую роль. В Парижском парламенте по торжественным случаям заседали те немногие представители высшей знати, которые носили титул пэров Франции. Вместе с ними в парламент входила иерархия первого президента, президентов *à mortier* и советников, которых насчитывалось около двухсот. Для ведения обычных дел члены парламента были распределены между несколькими судами: Большой палатой, пятью судами дознания, двумя судами прошений и т. д.[Сноска: Большая палата, Суд дознания, Суд прошений] Парижский парламент обладал первоначальной и апелляционной юрисдикцией над значительной частью центральной Франции, - слишком большой для удобства судей, - но в других частях королевства действовали двенадцать провинциальных парламентов. Члены этих судов, а также нескольких других трибуналов низшей юрисдикции составляли магистратуру, орган, обладавший большим достоинством и значимостью.

Мы видели, что церковь обладала определенными политическими правами; она проводила собрания и контролировала налоги. Политические полномочия парламентов были более ограниченными и сводились лишь к праву торжественной речи. При сильном монархе, таком как Людовик XIV, эта власть оставалась бездейственной; при слабых королях, таких как его преемники, она становилась важной.

Метод принятия закона во французской монархии был следующим. Король в одном из своих советов издавал эдикт и отправлял его на регистрацию в Парижский парламент или в другие парламенты, которых он мог касаться. Если парламент принимал эдикт, то он заносился в его книги и немедленно промульгировался как закон. Если парламент не одобрял эдикт и был готов вступить в спор с королем и его советниками, он отказывался регистрировать его. В этом случае король мог отступить или принудить к регистрации. Для этого использовалось так называемое *ложе правосудия*. Его Величество, сидя на троне (отсюда и название церемонии) и окруженный своими государственными служащими, лично приказывал парламенту зарегистрироваться, и парламент по закону должен был подчиниться. На самом деле иногда он продолжал выступать с протестами, иногда объявлял перерывы или прекращал отправлять правосудие в знак протеста, но такое поведение считалось

незаконным, и следовало ожидать суровых мер со стороны короля и его советников - суда, как говорилось. Эти меры могли принимать форму тюремного заключения непокорных судей или изгнания парламента в полном составе. Иногда временно учреждались новые судебные инстанции, более тесно зависящие от благоволения короля. Таковыми были Королевская палата и знаменитый парламент Мопеу при Людовике XV, Пленарный суд Людовика XVI. Если бы эти монархи были сильными людьми, новые суды, несомненно, полностью вытеснили бы старые парламенты; как это было, они привели лишь к путанице и неопределенности.[Сноска: Du Boys, Hist. du droit criminel de la France, ii. 225, 239].

На протяжении всего правления Людовика XV Парижский парламент вел борьбу с церковью, а суд неоднократно менял сторону, но чаще склонялся на сторону духовенства. Спор имел теологическую подоплеку: магистраты были янсенистами по своим наклонностям, в то время как церковь Франции в значительной степени контролировалась молинистами, или иезуитами. Борьба была долгой и сомнительной, ни одна из сторон не одержала полной победы. В философской партии было принято представлять все это дело как жалкую перебранку. Однако, помимо важности первоначального спора, затрагивавшего могущественные, но неразрешимые вопросы предопределения и свободы воли, эта ссора представляла неподдельный интерес для патриотически настроенных французов. Римская церковь боролась за абсолютный и неограниченный контроль над религиозными вопросами; парламент - за верховенство закона в государстве.

В правление Людовика XVI парламент был занят в основном борьбой другого характера. Магистраты были представителями высокопривилегированного класса. Их борьба велась за неотъемлемые права против реформ. Со времен Турго до времен Ломени де Бриенна и нотаблей Парижский парламент, то солидаризируясь с нацией, то выступая против нее, энергично сопротивлялся нововведениям. Однако раздражение против королевского двора было столь велико, что парламент, как правило, завоевывал временную популярность своей оппозиционной деятельностью.

Судебные инстанции, и особенно парламенты, контролировались людьми, унаследовавшими или купившими свои места[Сноска: При Людовике XIV цена места *président à mortier* была установлена в 350 000 ливров, *maître des requêtes* - 150 000 ливров, *counselor* - 90 000-100 000 ливров. Должность первого президента не была продажной, а занималась по назначению. Мартин, хiii. 53 и сл. Общая тема продажности должностей рассматривается в главе "Налогообложение"]. Это, хотя и не давало гарантии дееспособности, обеспечивало независимость судей. Поскольку места рассматривались как собственность, они обычно передавались от отца к сыну и стали основой того дворянского сословия, которое играло большую роль в делах Франции. Владелец судебного места должен был сдать экзамен по праву, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей и выплат. В разные времена и в разных парламентах этот экзамен отличался по строгости. Во второй половине XVIII века он, по-видимому, был очень легким в Париже, но более трудным в некоторых провинциях. Парламенты в любом случае сохраняли контроль над приемом в свои собственные органы. Хотя они не могли выдвигать кандидатов, они могли отказать в выдаче свидетельств о дееспособности и нравственности. Они настаивали на том, чтобы на высшие должности не принимали никого, кроме советников, и чтобы кандидаты были людьми состоятельными, "чтобы в условиях, когда честь должна быть единственным ориентиром, они могли жить независимо от прибыли, связанной с их трудом, которая никогда не должна иметь никакого влияния". Эта осторожность была особенно необходима, поскольку судьи в значительной степени оплачивались за счет пошлин, или издержек, которые под причудливым названием "специи" несли стороны. Первоначально

эти гонорары фактически состояли из сахарных слив, не больше, чем можно было съесть за день, но впоследствии они были смягчены и увеличены, пока не достигли значительных сумм[Сноска: Bastard d'Estang, i. 122, 245; Du Boys, 535].

Благодаря требованию материальной независимости и социального положения, а также определенной образованности и личных качеств, тон в высших судах поддерживался на хорошем уровне, а магистраты, как правило, были одними из самых образованных, солидных и респектабельных людей во Франции. Они были трудолюбивы и честны, хотя и относились с предубеждением к своему привилегированному сословию. По мере приближения Революции они впали в общую слабость своего века и страны - поклонение общественному мнению и любовь к популярности. Мы видим, как Парижский парламент терпит и даже заслуживает аплодисменты толпы в своих собственных залах правосудия. Подобно великому собранию, которому вскоре предстояло держать в своих руках судьбы Франции, самый достойный суд страны не смог понять, что совещательный орган, позволяющий зрителям влиять на себя или даже прерывать свои заседания, скоро и заслуженно потеряет уважение и власть[Сноска: Де Токвиль восхваляет независимость старых магистратов, которые не могли быть ни разжалованы, ни повышены правительством, Oeuvres, iv. 171 (Ancien Régime, ch. xi.). Montesquieu, iii. 217 (Esp. des lois, liv. v. ch. xix.). Мирабо, L'Ami des hommes, 212, 219. Бастард д'Эстанг, ii. 611, 621. Гримм, xi. 314.]

Когда мы переходим от рассмотрения политических функций парламентов и их состава к рассмотрению обычного отправления правосудия, нас поражает разнообразие законов в гражданских делах и их суровость в уголовных. Королевство Франция в том виде, в каком оно существовало в XVIII веке, состояло из множества провинций и городов, различных по своей истории. Каждая из них имела свои местные обычаи и привилегии. Усложнение процессуальных норм и имущественных прав было почти бесконечным. Свод законов черпался из двух разных источников: феодальных обычаев и римской юриспруденции. Обычаи, которые возникли или были впервые отмечены в Средние века, зародившись в нравах варварских племен или в условиях грубого состояния общества, были продуктами менее цивилизованного состояния человеческого разума, чем законы Рима. Поэтому с самого раннего периода наиболее умные и образованные юристы по всей Европе боролись, более или менее осознанно, за приведение обычного феодального права в соответствие с римскими идеями. Эти юристы признавали, что во многих вопросах обычаи определенно устанавливал закон; но всякий раз, когда возникал сомнительный вопрос, они обращались за указаниями к более совершенной системе. "Римский закон", - говорили они, - "соблюдается повсеместно не в силу его авторитета, а в силу авторитета разума". Эта идея была особенно созвучна тону мысли, царившему в XVIII веке.

Даже в Англии общее и обычное право было расширено в это время и адаптировано к новым условиям в соответствии с латинскими принципами благодаря гению лорда Мэнсфилда и других выдающихся юристов. Во Франции этот процесс начался раньше и продолжался дольше. Домат, д'Агессо и Потье были лишь продолжателями длинной череды юристов. Ко времени Людовика XVI было введено некоторое единообразие принципов, но повсюду феодальные нарушения все еще волновали умы философов и тревожили нравы тяжущихся сторон. Суды были многочисленны, а их юрисдикция часто противоречила друг другу. Обычаи были многочисленны и едва ли одинаковы для двух сеньорий. Подданным Людовика XVI, верившим, как и они, в существование единого, естественного закона справедливости, легко открываемого человеком, такое положение вещей казалось аномальным и абсурдным. "Неужели одно и то же дело должно всегда решаться по-разному в провинции и в столице? Должен ли один и тот же человек быть прав в Бретани и неправ в Лангедоке?" - восклицает

Вольтер. И неудобства, возникающие из-за этого чрезмерного разнообразия юридических прав, а также досадный характер некоторых из них, пожалуй, больше, чем любая другая причина, способствовали тому, что люди того времени стали слишком сильно любить единообразие[Сноска: "Servatur ubique jus romanum, non ratione imperii, sed rationis imperio." Laferrière, i. 82, 532. Перечень восемнадцати судов чрезвычайной юрисдикции и пяти судов обычной юрисдикции см. там же, i. 553 n.: 1, Parlemens, 2, Présidiaux, 3, Baillis et sénéchaux royaux, 4, Prévôts royaux, 5, Juges seigneuriaux. Вольтер, xxi. 419 (Людовик XV.), Sorel, i. 148].

Было сказано, что судьи высших судов в целом были честными. В низших судах, особенно в тех трибуналах, которые все еще зависели от лордов, притеснения и несправедливость, по-видимому, были нередки. Судебные исполнители, председательствовавшие в них, часто были пристрастны, когда речь шла об интересах лордов, чье жалование они получали. И даже когда мы переходим к практике рассмотрения дел в парламентах, американского читателя иногда поражает, до какой степени члены этих высоких трибуналов, согласно обычаю, подвергались влиянию частных и личных уговоров сторон. Весь дух континентальной системы гражданского и уголовного права здесь расходится с англосаксонской системой. Английские и американские судьи похожи на третейских судей в конфликте; французские судьи - на заинтересованных лиц, ведущих расследование. Последний метод, возможно, лучше для распутывания запутанных дел, но первый, кажется, подвергает судей меньшему искушению. Судье, который долгое время общается с каждым из участников спора по очереди, должно быть сложнее удержать свои пальцы от взяток и свой разум от предрассудков, чем судье, которому строгий профессиональный этикет не позволяет видеть ни одну из сторон, кроме как при полном освещении зала суда, и слушать любые аргументы адвоката, кроме случаев, когда представлены обе стороны. Обвинения во взяточничестве, даже судей, были распространены в старой Франции. Низшие должностные лица суда открыто брали плату. Издавались толстые книги под названием "mémoires" с явным намерением оказать влияние на общественность и суды при рассмотрении дел[Сноска: О том, что влиятельные лица оставались безнаказанными в уголовных делах и добивались расположения своих противников в гражданских делах с помощью *lettres de cachet*, и о примерах см. 148; длинный список незаконных судебных решений - там же, 190, и т. д.].

Одно судебное злоупотребление, особенно противоречащее принципам честной сделки, стало очень распространенным. Могущественные и влиятельные лица могли добиться того, чтобы их дела были изъяты из трибуналов, в которых они были начаты, и рассматривались в других судах, где благодаря личному влиянию они могли рассчитывать на более благоприятный результат. Не только королевский совет мог перетянуть тяжбу на себя. Эта практика была широко распространена. С помощью предписания, называемого *committimus*, можно было изменить суд, в котором должно было рассматриваться дело.

Это, по-видимому, было частой причиной отказа в правосудии.

Что касается уголовного судопроизводства той эпохи, то его жестокости не было предела. При Людовике XV тюрьмы были грязными норами, переполненными и непроветриваемыми, настоящими очагами лихорадки. Отдельная камера площадью десять футов квадратных для человека, ожидающего суда, стоила шестьдесят франков в месяц. Для наблюдения за заключенными и предотвращения их побегов были обучены большие собаки. Дважды в год, в мае и сентябре, самые отчаянные каторжники отправлялись из Парижа на галеры. Они ехали, скованные одной цепью, в длинных повозках, чтобы восемь конных полицейских могли следить за ста двадцатью из них. Галеры в Тулоне, судя по всему, были не так плохи, как парижские тюрьмы. Они содержались в чистоте и хорошо ремонтировались, а

заклученные были достаточно хорошо накормлены и одеты; однако некоторые из них находились в заточении сорок, пятьдесят или даже шестьдесят лет. Им разрешалось заниматься самообслуживанием и зарабатывать немного денег. Они делились на три класса: дезертиры, контрабандисты и воры, отличавшиеся цветом своих шапок. [Сноска: Mercier, iii. 265, x. 151. Howard, Lazarettos, 54].

Пытки считались обычным средством раскрытия преступлений. Они применялись различными способами, формы которых различались в разных провинциях. Это и воздействие огнем на различные части тела, и растяжение желудка и легких водой, налитой в рот, и удары большим пальцем, и дыба, и сапог. Это были лишь методы расследования, применявшиеся к мужчинам и женщинам, чье преступление не было доказано. После вынесения приговора они могли быть повторены для выявления сообщников. Большая часть допроса обвиняемых проходила наедине, и во время него им не предоставлялся адвокат для защиты. Свидетелей против них вызывали только один раз, и то лишь после того, как они давали свои показания и несли наказание за лжесвидетельство, если отказывались от них. Многие преступления карались смертью. Вороватых слуг могли казнить, но при Людовике XVI общественное чувство справедливо считало это наказание слишком суровым для такого проступка, так что хозяева не преследовали и судьи не осуждали за него [Сноска: Во Франции не допускались адвокаты для той важной части судопроизводства, которая велась в тайне. Вольтер, xlviii. 132. В Англии в то время адвокаты не предоставлялись заключенным по праву в делах о тяжких преступлениях; но судьи имели привычку напрягать закон, чтобы допустить их. Строго говоря, они могли только инструктировать заключенного по вопросам права. Blackstone iv. fol. 355 (ch. 27). Англичане, похоже, долгое время питали здоровое недоверие к признаниям. Блэкстоун, *ubi supra*. Насколько континентальная любовь к исповедям проистекает из церкви; и насколько любовь церкви к исповедям является следствием вечно присутствующего в человеческой природе суетного человека?]

Другие преступники не избежали такой участи. Использовался самый варварский способ казни. В главных городах Франции было установлено колесо. На улицах раздавался голос глашатая, разносившего копии приговора. Простые люди толпились у эшафота, а богатые не гнушались снимать окна с видом на сцену. Приговоренного сначала растягивали на кресте, и палач одиннадцать раз ударял железным прутom, каждый удар ломал кость. Затем несчастного уложили на спину на колесо телеги, сломанные кости торчали сквозь плоть, голова свисала, со лба капал кровавый пот, и оставили умирать. Рядом с ним священник бормотал религиозные утешения. Благодаря таким зрелищам население французских городов было приучено наслаждаться гораздо менее бесчеловечным зрелищем гильотины [Сноска: Mercier, iii. 267. Говард говорит, что тюремщик в Авиньоне рассказывал ему, что видел, как заключенные под пытками потеют кровью. Lazarettos, 53].

Лишь в середине века умы людей были обращены к реформе уголовного права. Однако выдающиеся писатели уже давно указывали на бесполезность пыток. "Пыточные камеры - опасное изобретение, и, кажется, они скорее испытывают терпение, чем истину", - говорит Монтень; но он считает их наименьшим злом, которое человеческая слабость изобрела в данных обстоятельствах. Монтескье продвинулся на шаг дальше. Он указал на то, что пытки не являются необходимостью. "Мы видим, как сегодня очень хорошо управляемая нация [англичане] отвергает ее без неудобств". ... "Столько умных людей и столько гениев написали против этой практики, - продолжает он, - что я не смею говорить вслед за ними. Я уже собирался сказать, что это может быть допустимо при деспотических правительствах, где все, что внушает страх, составляет большую часть управления; я собирался сказать, что рабы у греков и римлян, - но я слышу голос природы, который кричит против меня". Вольтер

напал на эту практику в своей обычной бодрой манере, но с характерным благоразумием предположил, что пытки все же могут применяться в случаях цареубийства[Сноска: Montaigne, ii. 36 (liv. ii. ch. v). Так я интерпретирую последние слова этой главы. Монтескье, iii. 260 (*Esprit des Lois*, liv. vi. ch. 17). Вольтер, xxxii. 52 (*Dict. philos. Question*), xxxii. 391 (*Ibid.*, *Torture*)].

Такие разрозненные выражения, как эти, могли бы долго оставаться бесплодными. Но в 1764 году появилась восхитительная книга миланского маркиза Беккариа, а примерно тринадцать лет спустя англичанин Джон Говард опубликовал свою первую книгу о состоянии тюрем. Беккариа разделял идеи философов по большинству вопросов. Там, где он расходился с ними, он, как и Руссо, отклонялся в сторону социализма. Но по полезности для человечества мало кто из них может сравниться с ним. От него современный мир почерпнул некоторые из своих самых важных идей, касающихся обращения с преступностью. Крайний, как и большинство философов его эпохи; неспособный, как и они, признать должную ограниченность своих теорий, он все же изменил мышление цивилизованных людей по одному из самых важных вопросов, с которыми им приходится иметь дело. За сто лет его небольшая книга претерпела столь значительные изменения, что, читая ее, трудно вспомнить, что в ней вообще могли быть какие-то новшества. "Цель наказания... состоит не в чем ином, как в том, чтобы не дать преступнику нанести дальнейший вред обществу и предотвратить совершение другими такого же преступления". "Все судебные процессы должны быть публичными". "Чем скорее после совершения преступления будет назначено наказание, тем более справедливым и полезным оно будет". "Преступления эффективнее предотвращаются *уверенностью*, чем суровостью наказания". Это общие места современного уголовного законодательства. Сложность заключается в их применении. В XVIII веке их применение было необходимо. "Пытки преступника во время суда над ним - это жестокость, освященная обычаем почти во всех странах", - говорит Беккариа. И действительно, в его время пытка, похоже, была законной на всем континенте, хотя и ограниченной в Пруссии и устаревшей в Голландии. Беккариа полностью выступает против пыток, причем на самых разных основаниях. Что касается пыток до вынесения приговора, то он считает их тяжким злом для невиновных, "ибо в глазах закона каждый человек невиновен, чье преступление не доказано". Кроме того, ожидать, что человек должен быть одновременно и обвинителем, и обвиняемым, и что боль должна быть проверкой истины, - это путаница во всех отношениях; как будто истина находится в мышцах и сухожилиях несчастного, подвергаемого пытке. Таким образом, сильные будут спасаться, а слабые - осуждаться". Наказания, предложенные Беккариа, в целом мягкие, он бы вообще отменил смертную казнь, полагаясь на уверенность, а не на суровость наказания. [Сноска: Беккариа, *passim*. Lea, *Superstition and Force*, 515].

Не стоило ожидать, что книга Беккариа произведет немедленные изменения в нравах христианства. Поначалу уголовное право оставалось неизменным как в теории, так и на практике. Но совесть более продвинутых мыслителей была затронута. В 1766 году в Аббевиле молодой человек по имени Ла Барр был осужден за то, что стоял и носил шляпу во время прохождения религиозной процессии, пел богохульные песни, произносил богохульные слова и делал богохульные жесты. В то время в городе было большое волнение в связи с изувечением распятия, стоявшего на мосту, но Ла Барр не был замешан в этом безобразии. Судьи в Аббевиле, по-видимому, открыто обвинили его в личной враждебности. Молодого человека, подвергнутого пыткам, приговорили к публичному признанию с веревкой на шее перед церковью Святого Вульфрана, где находилось пострадавшее распятие, к вырезанию языка, обезглавливанию и сожжению тела. Этот возмутительный приговор был подтвержден парижским парламентом. Суеверный король Людовик XV не дал разрешения на

помилование. Приговор был приведен в исполнение, но отрезание языка было опущено, палач лишь сделал вид, что выполняет эту часть своей работы. Голова Ла Барра упала под аплодисменты жестокой толпы, восхищенной искусным ударом палача. Негодование, не смешанное со страхом, пронеслось по либеральной партии Франции. Гнев и скорбь Вольтера были громко выражены. Это было, по крайней мере, улучшением состояния общественного чувства в предыдущих поколениях, что такая жестокость не должна была встретить всеобщего одобрения.[Сноска: Лучший рассказ о деле Ла Барра, который я встречал, находится в Desnoiresterres, *Voltaire et Rousseau*, 465].

Практика пыток не обходилась без защитников. Один из них спросил, что можно сделать, чтобы найти украденные деньги, если вор отказывается сказать, где он их спрятал. Но это был не единственный его аргумент. "Сам обвиняемый, - сказал он, - имеет гарантию в пытке, которая делает его судьей в его собственном деле, так что он становится способным избежать смертной казни, связанной с преступлением, в котором его обвиняют". И этот писатель с уверенностью утверждает, что на один пример, который можно было бы привести в течение двух или трех столетий, когда невинный человек поддался насилию пыток, можно было бы привести миллион случаев законного наказания. [Сноска: Muyard de Vouglans, цитируется в Du Boys, ii. 205].

И все же во второй половине XVIII века прогресс шел довольно быстро. В юриспруденции той эпохи проводилось различие между подготовительными пытками, которые применялись к подозреваемым, чтобы заставить их признаться, и предварительными пытками, которые применялись к осужденным перед казнью, чтобы получить обвинения от соучастников. Первая из них, несомненно, большой позор для цивилизации, была отменена во Франции 24 августа 1780 года; вторая - только в 1788 году, и то лишь временно. Таким образом, одна из величайших современных реформ была осуществлена еще до революции. Примерно в то же время было принято множество постановлений об улучшении состояния французских тюрем. Они были примерно такими же плохими, как и в других странах, и это было действительно очень плохо[Сноска: *Вопрос подготовительный; вопрос предварительный, иногда называемый q. définitive*. Desmazes, *Supplices*, 177. Desjardins, p. xx. Howard, *passim*. Англичане давно хвастаются тем, что пытки не разрешены их законом; и хотя *peine forte et dure*, несомненно, была пыткой, хвастовство это в целом небезосновательно. Пытки были отменены в некоторых частях Германии в восемнадцатом веке, но в других частях сохранялись до девятнадцатого. В Бадене от нее избавились только в 1831 году. Lea, *Superstition and Force*, 517].

Судебные инстанции действовали не только против людей. Парижский парламент имел обыкновение выносить приговор книгам, предположительно содержащим опасные вещества. Подозрительный том приносился в суд генеральным адвокатом, зачитывались нежелательные отрывки, книга объявлялась "еретической, раскольничьей, ошибочной, богохульной, жестокой, нечестивой" и приговаривалась к сожжению публичным палачом. Затем у подножия огромных ступеней, которые до сих пор можно увидеть перед зданием суда в Париже, зажгли факел. Уличные мальчишки и бродяги сбегались посмотреть на это зрелище. Секретарь суда, если верить современнику, бросил в огонь пыльную старую Библию, а осужденную книгу, вдвойне ценную из-за своего осуждения, надежно запер в своем книжном шкафу[Сноска: Mercier, iv. 241].

Что касается автора, то иногда Парламент напрямую выступал против него, но чаще с ним расправлялись с помощью приказа под королевской рукой и печатью, известного как *lettre de cachet*[Сноска: *Lettre de cachet* была написана на бумаге, подписана королем, а заверена подписью министра. Она была так запечатана, что ее нельзя было открыть, не сломав печать.

Считалось, что это частный заказ. Ларусс]. Произвольное заключение в тюрьму без суда и следствия настолько возмущает чувства англосаксов, что мы склонны забыть, что до недавнего времени оно было частью обычной практики большинства цивилизованных стран. Она считается необходимой для того, что называется *полицией* страны, - слово, для которого в английском языке нет точного эквивалента. Полиция, в этом смысле, не только наказывает за преступления, но и предотвращает опасность. Действия, которые могут нанести вред обществу, предотвращаются путем угадывания злых намерений; а преступным предприятиям не дают прийти в действие.

Подобная защита является частью функции каждого правительства; но на континенте в старые времена, да и сейчас в некоторых странах, долгое и мучительное заключение людей, которые никогда не были осуждены ни за какое преступление, считалось одним из надлежащих методов полиции. В глазах французов это было в какой-то мере оправдано тем, что секретность спасала чувства невинных семей, которые таким образом не страдали в общественной оценке из-за проступков одного непокорного члена. Во Франции, где семья представляет собой гораздо большую ячейку общества, чем в англоязычных странах, позор одного человека, принадлежащего к ней, затрагивает остальных гораздо серьезнее. Старая французская *грамота*, заключавшая жертву в государственную тюрьму, была слишком изощренным методом, чтобы использовать его в отношении буйных представителей низших классов - для них существовали менее достойные формы разбирательства; но она свободно применялась в отношении людей, имеющих какое-либо значение. Расточителей и развратных молодых людей сажали в тюрьму по просьбе их родственников. Авторы опасных книг с готовностью отправляли в Бастилию, Венсенн или Форс л'Эвек. Вольтер, Дидро, Мирабо и многие другие подвергались подобному заключению; говорят, что первый из них своим влиянием добился заключения в тюрьму одного из своих литературных врагов. Падшим государственным деятелям везло, когда они не попадали из кабинета в тюрьму, а получали возможность изгнания или уединения в собственных загородных домах. Но это было еще не самое худшее. *Грамота* слишком часто становилась орудием частной ненависти. Подписанная королем небрежно или даже на пустом месте, она могла быть получена фаворитом или фавориткой фаворита для собственных целей. А если у жертвы не было защитника, который мог бы выступить в его защиту, он мог быть забыт в плену и потерять целую жизнь.

От подобных злоупотреблений нет иного средства, кроме гласности. Если, с одной стороны, слишком много внимания уделяется романтической истории Бастилии, которая, конечно, не была постоянной угрозой для большинства мирных французов, то, с другой стороны, слишком большой упор делается на тот несомненный факт, что при Людовике XVI в этой мрачной старой крепости содержалось совсем немного заключенных, и некоторые из них были людьми, которые могли быть брошены в тюрьму при любой системе правления. Во времена правления непосредственного предшественника этого короля творились большие несправедливости. От произвола не отказалось и само правительство Людовика XVI. В последний год перед тем, как Генеральное собрание собралось в Версале, королевские министры заключили в Бастилию двенадцать бретонских дворян, чье преступление заключалось в том, что они настойчиво представляли петицию от дворян своей провинции. Квартиры, которые они должны были занять, были заполнены другими заключенными, поэтому пришлось освободить место, переведя этих несчастных в сумасшедший дом в Шарантоне, откуда они были освобождены только в следующем году по решению комитета Национального собрания[Сноска: Barère, i. 281. Возможно, самым страшным в Бастилии было то, что никто толком не знал, что происходит внутри. Мерсье считает, что простые люди не боялись ее, iii. 287, 289].

## ГЛАВА IX.

### РАВЕНСТВО И СВОБОДА.

Дворянство Франции как привилегированный орден вызывало неприязнь простого народа. Более вдумчивые французы восемнадцатого века, по крайней мере все те, кого принято называть философами, ставили перед собой два великих идеала. Это были равенство и свобода. Стремление к ним сопровождалось в их сознании презрением к прошлому и его урокам, непониманием тех благ, которые завещали им прежние эпохи, и ненавистью к несправедливостям и злоупотреблениям, дошедшим до нас из прежних времен. Среди них слово "готика" было жестоким термином упрека, направленным без разбора на здания, законы и обычаи. Считалось, что история, за исключением истории Спарты, состоит больше из предупреждений, чем из образцов. Незадолго до революции несколько человек, собравшихся в дамском салоне, обсуждали воспитание Дофина. "Я думаю, - сказал Лафайет, - что ему было бы неплохо начать свою "Историю Франции" с 1787 года".

Эта тенденция к обесцениванию прошлого в определенной степени объясняется естественным для живых умов предпочтением дедуктивных методов мышления перед индуктивными. Гораздо легче и приятнее принять несколько правдоподобных общих принципов и размышлять над ними, чем собирать и сравнивать бесконечные ряды сухих фактов, и не путем долгих наказаний большая часть мира будет приведена к более трудному методу. Энтузиазм в отношении одного из великих процессов мышления не должен вызывать презрения к другому. Даже великий индуктивный французский философ XVIII века Монтескье не смог в какой-то мере понять непрерывность истории и черпал факты для своего исследования скорее из Китая и Англии, чем из Франции, скорее из Римской республики, чем из существующей монархии. Страх перед цензором, гражданскими и церковными трибуналами, не терпящими открытого обсуждения вопросов, представляющих интерес для современности, несомненно, усиливал эту тенденцию.

Идея равенства на первый взгляд кажется простой, но равенство может быть разного рода. Абсолютного равенства во всех отношениях между двумя человеческими существами никто никогда не видел и, возможно, никому не приходило в голову желать его. Все отношения в жизни основаны на неравенстве. Различия между мужем и женой, другом и подругой делают их необходимыми и близкими друг другу; родитель защищает и служит ребенку, ребенок слушается и помогает родителю; гражданин призывает магистрат охранять его права, магистрат исполняет законы, которые имеют свою санкцию в согласии тела граждан. Поэтому равенство как политический идеал - это ограниченное равенство. Оно может распространяться на условия, может быть ограничено гражданскими правами или возможностями.

Философы восемнадцатого века, за которыми последовала и наша школа, повсеместно считали, что приблизительное равенство условий является желательным. Руссо соглашался с Монтескье, считая, что небольшая республика, ни один из граждан которой не был бы ни очень богатым, ни очень бедным, скорее всего, будет находиться в желательном состоянии. Добродетель, по их мнению, будет ее особой характеристикой. В некоторых швейцарских кантонах, а позже в борющихся американских колониях Великобритании французы обнаружили сообщества, приближающиеся к их идеалу в отношении равного распределения богатства; и их открытие в последнем случае не обошлось без больших результатов. С тех пор этот вид равенства исчез из значительной части Америки, как он всегда должен исчезать там, где растет цивилизация. Хорошие люди оплакивают его уход;

некоторые, возможно, терпеливо переносят его возвращение. Их примерно столько же, сколько и тех, кто оставляет городскую жизнь, чтобы навсегда поселиться в деревне, также являющейся родиной сравнительного равенства условий. Теоретическое восхищение этим видом равенства разделяла большая и просвещенная часть французского дворянства. Таким образом, орден был ослаблен тем, что многие из его членов не верили в его требования.

Другой вид равенства - гражданские права. До революции во Франции царил закон, но не все французы подчинялись одному и тому же закону. Существовали привилегированные лица и привилегированные местности. К этим аномалиям, порой порождающим лишения, умы интеллигентных людей того времени относились с особым нетерпением. Они верили, как уже говорилось, в естественные законы, заложенные в каждой груди и находящие свое выражение в каждом сознании; и многие из них имели грубое представление о том, что эти законы могут быть легко применены к чрезвычайно сложным фактам реальной жизни. Если предположить, что такие законы существуют, абсолютны, как математические аксиомы, и гораздо проще в применении, то все вариации будут ошибкой, все аномалии - абсурдом, все претензии привилегированного класса - несправедливыми и необоснованными.

Равенство гражданских прав также продиктовано страхом перед угнетением; очень важный мотив в XVIII веке, когда власть имущие все еще могли иногда быть очень деспотичными. Мы видели, как Вольтер подвергся обращению со стороны члена одной из великих семей. Еще более вопиющие бесчинства, по-видимому, были нередки в царствование Людовика XV, и хотя во Франции, вероятно, никогда не было такого свободного от них времени, как при его преемнике, память о них была еще свежа. Именно в их дряхлости политические злоупотребления подвергаются наиболее яростному нападению. Когда они молоды и похотливы, они грозны.

Опять же, существует равенство возможностей. Его хотят получить как средство изменить равенство условий в свою пользу, как шанс быть более чем равным своим товарищам. Этого жаждут способные и амбициозные люди. Там, где оно отрицается, самые сильные хорошие люди будут менее полезны для государства, если только не окажутся в благоприятном положении при рождении; самые сильные плохие люди, возможно, будут более опасны, потому что будут более недовольны. Именно такое равенство, более чем какое-либо другое, французские философы и их последователи фактически обеспечили французам и в меньшей степени другим европейцам современности. Благодаря их усилиям шанс бедного, но талантливого ребенка подняться к власти и богатству был несколько увеличен. Этот шанс, когда они начинали свои труды, не был таким безнадежным, как его часто представляют. Сейчас он не так велик, как иногда принято считать. Тем не менее, есть один значительный прогресс. Мы видели, что при старой монархии многие важные места были зарезервированы для представителей благородного сословия, и практически для нескольких семей среди них. С тех пор как монархия канула в Лету, возможность служить государству, с большими наградами, которые общественная жизнь предлагает сильным и стремящимся, была открыта, по крайней мере теоретически, для всех французов.

Если идея равенства сравнительно проста, то идея свободы во многом противоположна. В общем смысле это слово означает не более чем отсутствие внешнего контроля. В политике оно используется, прежде всего, для обозначения отсутствия иностранного завоевания, и в этом смысле страна может называться свободной, хотя ею управляет деспот. Следующее значение свободы - политическое право, и именно в этом смысле оно чаще всего использовалось до последних лет. Когда тиран ниспровергал свободы греческого города, он заменял права олигархии своим личным правлением. Массе жителей, возможно, не было ни

лучше, ни хуже, чем раньше. Когда Хэмпден сопротивлялся посягательствам короля Карла I, он вел борьбу высших и средних классов против деспотизма, и мы считаем его одним из главных поборников свободы. Действительно, свобода в этом смысле настолько далека от того, чтобы быть идентичной равенству, что многие из тех, кто был первым в ее защите, были членами аристократий и владельцами рабов. Обвинять их в непоследовательности - значит вводить их в заблуждение двусмысленным значением слова. Они боролись за права, которые считали своими собственными; они отрицали, что права всех людей одинаковы. В XVIII веке во Франции некоторые организации, такие как духовенство и Парижский парламент, боролись за политические свободы в этом старом смысле, а перед началом Французской революции многие из наиболее просвещенных представителей дворянства надеялись получить такие свободы. Можно было бы избежать много крови и смятения и провести много полезных реформ, если бы французы не так дико хватались за фантом равенства, а стремились к более безопасной цели - политической свободе.

Другой вид свободы, хотя он, несомненно, был желанным для отдельных людей во все века, является почти полностью современным идеалом для цивилизованных сообществ. Это отсутствие вмешательства не только иностранной власти или незаконного угнетателя, но и самого закона. Стремление к подобной свободе почти во все века считалось несовместимым с должным уважением к порядку и безопасности. Оно считалось не более чем злым желанием нечистого духа, искушением самого лукавого. Однако в восемнадцатом веке мы видим рост новых мнений. Возможно, порядок настолько прочно укрепился в европейском мире, что реакция могла спокойно наступить. Во всяком случае, мы видим новый взгляд на вещи. К "независимости", слову, которое часто использовалось клерикальной партией, и всегда как термин упрека, философы относятся благосклонно. Прокладывается путь к терпимости ко всем видам мнений и к большинству видов произносимых слов.[Сноска: Несмотря на нетерпение, проявленное Вольтером к любой критике в свой адрес, он и его последователи сделали больше, чем кто-либо другой из когда-либо живших людей, чтобы сделать критику свободной для всех писателей]. Новая школа мыслителей приспосабливает новую форму мышления к экономическим вопросам. *Laissez faire; laissez passer*. Ограничить функции правительства. Порядок возникнет из среднего уровня противоборствующих интересов; правильное направление создается суммой конфликтующих сил. Со времен Французской революции эта доктрина оказала огромное влияние на сопротивление притязаниям социализма - этой новой формы тирании, в которой все должны быть деспотами, а каждый - рабом. Но мало кто из философов принял его полностью. Большинство из них желали постоянного вмешательства правительства для достижения тех или иных целей, а многие верили во власть, почти всемогущество, мифического персонажа, частично заимствованного у Плутарха и обычно называемого Законодателем.

История и действия этого персонажа могут быть в общих чертах изложены следующим образом. Каждый народ, ныне цивилизованный, в ранние времена находился в варварском состоянии. Однажды откуда-то пришел великий человек и принес с собой полный набор законов, морали и нравов. Этим законам и обычаям он обычно приписывал божественное происхождение. Народ, которому они были провозглашены, принял их, и последующее счастье и процветание людей было пропорционально их совершенству. Причины, которые, как предполагается, побудили варварское племя изменить все свои привычки по велению одного человека, приводятся редко, а если и приводятся, то до смешного неадекватно. Теория законодателя уже устарела. Принято считать, что институты каждой расы выросли вместе с ней, что они соответствуют ее природе и истории, постепенно изменяются, иногда по воле народа, и в большей или меньшей степени под иностранным влиянием, но что их

общий характер не может быть внезапно изменен. Таким образом, ее институты так же истинно принадлежат цивилизованной расе, как кожа без меха или прямохождение принадлежит человечеству. Есть некоторые доказательства в поддержку любой из этих теорий, и истина, вероятно, будет лежать между ними, хотя ближе к последней. Тем не менее, эффект от внедрения более высокой цивилизации в более низкую порой кажется необычайно быстрым. История законодателя является частью большинства ранних историй и мифологий. Классическим образцом обычно считается Минос или Ликург. Во Франции между 1740 и 1790 годами было мало умных людей, которые не мечтали бы примерить на себя сандалиии этих достойных людей.

Хотя идеи, связанные с равенством и свободой, были расплывчатыми и неопределенными, обычно предполагалось, что они будут совпадать. Свобода и равенство, однако, имеют тенденции, естественно противоположные друг другу. Устраните внешние силы, управляющие волей людей, отмените иностранное господство, дайте каждому гражданину политические права, сведите вмешательство законов к минимуму, и естественные различия и неравенство физической, умственной и моральной силы, или силы воли, присущие человечеству, получат более полную возможность действовать. Сильные улучшают свои естественные преимущества, они приобретают господство над более слабыми соседями, они монополизируют возможности для себя, своих друзей и детей. Только держа всех людей в строгом подчинении чему-то вне себя, можно сохранить их сравнительное равенство. Этот факт был инстинктивно осознан одной из школ французских мыслителей. Мы увидим, что последователи Руссо, выдавая себя за поборников Свободы, на самом деле были основателями системы, которая является полной противоположностью индивидуальной свободы.[Сноска: Возможно, нет необходимости отмечать, что я коснулся здесь только политического значения слова Свобода. В восемнадцатом веке это слово часто использовалось в философском смысле, и вечная проблема необходимости и свободы воли горячо обсуждалась].

## ГЛАВА X.

### МОНТЕСКЬЮ.

Среди французской аристократии XVIII века выделяется один человек, оказавший влияние на человеческую мысль за стенами зала суда; один философ, который смотрит на существующее общество как на нечто, что нужно спасти и направить. Деятельность Вольтера и его последователей была в основном негативной. Их любимым занятием было разрушение. Уродливые и непригодные для жизни здания гения Руссо требовали для своего возведения поля, с которого были удалены все возможные следы цивилизованного строительства. Но Монтескье, сатирически оценивая пороки общества, которое он видел вокруг себя, все же ценил все блага цивилизации. Он признавал, что перемены всегда сопровождаются злом, даже если их преобладающий результат - добро, и что к ним следует относиться осторожно и осмотрительно. Его идеи оказали влияние на ведущих людей второй половины века в меру их рассудительности и в обратной пропорции к их энтузиазму.

Шарль Луи де Секонда, барон Монтескье, родился в 1689 году, по наследству был одним из председателей парламента Бордо. [Сноска: В юности он был известен как Шарль Луи де ла Бреде, это имя было взято из фьефа его матери. Фамилию Монтескье он унаследовал от дяди, вместе с должностью *председателя Мортье*. Vian, *Histoire de Montesquieu*, 16, 30]. В ранней жизни он был признан человеком растущим, респектабельным судьей, скорее разумным и блестящим, чем ученым; человеком светским, богатым и бережливым, не очень счастливо женатым и любившим дамское общество. Внешне он был некрасив: большая голова, слабые

глаза, крупный нос, впалый лоб и подбородок. По темпераменту он был спокойным и жизнерадостным. "У меня было очень мало печалей, - говорит он, - и еще меньше уныния". "Учеба была для меня суверенным средством против жизненных невзгод, и у меня никогда не было печали, которую не рассеял бы час чтения". По его словам, он был застенчив, но меньше среди ярких людей, чем среди глупых. Он был добродушен и несколько эгоистичен; его легко забавляло не столько то, что говорили люди, сколько то, как они это говорили. Он был хорошим домовладельцем и добрым хозяином. Рассказывают, что однажды, отругав одного из своих слуг, он со смехом обернулся к стоявшему рядом другу. "Они как часы, - сказал он, - и время от времени нуждаются в подзаводе". [Сноска: См. медальон, приведенный Вианом, который, по мнению "*Универсальной биографии*", является единственным подлинным портретом. Также Montesq. vii. 150, (*Pensées diverses. Портрет М., написанный*, по-видимому, когда ему было около сорока лет). Также Vian, 141].

Монтескье установил для себя высокую планку долга. В документе, предназначенном только для сына, он пишет: "Если бы я знал что-то, что было бы полезно для меня самого и вредно для моей семьи, я должен был бы отбросить это от себя. Если я знал о чем-то, что было полезно для моей семьи и , что не было полезно для моей страны, я должен постараться забыть об этом. Если бы я знал что-то полезное для моей страны, но вредное для Европы и человечества, я бы считал это преступлением" [Сноска: Montesq., vii. 157].

Первая книга Монтескье появилась в 1721 году и сильно отличалась от последующих. Она остроумна и разнузданна в довольно величественной манере, полна острых наблюдений и резкой сатиры. В отличие от книг других знаменитых писателей века, "Персидские письма" - это, безусловно, работа джентльмена; французского джентльмена, когда герцог Орлеанский был регентом.

"Персидские письма", как следует из их названия, представляют собой предполагаемую переписку двух богатых персов, Усбека и Рики, путешествующих по Франции и обменивающихся письмами со своими друзьями и евреями в Персии. Письма, которые получают путешественники, содержащие сплетни их гаремов, составляют лишь небольшую часть книги и, очевидно, призваны придать ей разнообразие и легкость. В письмах, которые они пишут своим персидским корреспондентам, мы имеем сатирическую картину французского общества. Как далеко опустилась правящая, непогрешимая церковь в сознании французов, когда хорошо поставленный и довольно эгоистичный человек мог написать следующее.

"Папа - главный христианин. Он - старый идол, которому люди возжигают фимиам по привычке. В былые времена он был грозен даже для князей, ибо низлагал их так же легко, как наши великолепные султаны низлагают царей Иримета и Грузии. Но его больше не боятся. Он называет себя преемником одного из самых первых христиан, известного как Святой Петр; и это, конечно, богатое наследство, потому что у него огромные сокровища и богатая страна под его властью".

Епископы - это легисты, подчиненные Папе. У них две функции. Собираясь вместе, они принимают статьи веры, как и он. Когда же они разделены, то освобождают людей от соблюдения законов. Ведь христианская религия полна сложных предписаний, и считается, что труднее исполнить свой долг, чем иметь епископов, которые дадут тебе послабление. Доктора, епископы и монахи постоянно поднимают вопросы на религиозные темы и долго спорят, пока, наконец, не собирается собрание, чтобы принять решение между ними. Ни в одном королевстве не было столько гражданских войн, как в королевстве Христа [Сноска: Montesq., i. 124. Letter xxix].

Далее мы имеем представление о том, как религия рассматривается во французском обществе. Она является не столько предметом освящения, сколько предметом спора. Придворные, солдаты, даже женщины восстают против церковников и просят их доказать то, во что другие решили не верить. Это происходит не потому, что люди определились с разумом, не потому, что они взяли на себя труд исследовать истинность или ложность этой религии, которую они отвергают. Это бунтари, которые почувствовали иго и стряхнули его, не успев осознать. Поэтому в своем неверии они не более тверды, чем в своей вере. Они живут в приливе и отливе, который непрерывно переносит их из одного в другое". [Сноска: Montesq., i. 251. Letter lxxv.] С большой поправкой на сатиру, мы имеем интересную и мрачную картину небольшой, но важной части французского народа. Примечательно, что "Персидские письма" на тринадцать лет предшествуют "Философским", или "Английским письмам" Вольтера[Сноска: 1721-1734].

Монтескье утверждает, что хорошо иметь в стране несколько сект, поскольку они следят друг за другом, и каждый стремится не опозорить свою партию. Но автор ратует именно за веротерпимость, а не за равенство. В начале восемнадцатого века государственная церковь казалась почти необходимой для мысли. Однако Монтескье не питает большой симпатии ни к какой форме догматической религии; в этом он явно принадлежит к философам; мораль, в его глазах, - это великое и, возможно, единственное, чего следует желать; повиновение закону, любовь к людям, сыновняя почтительность - вот, говорит он, первые акты всех религий; церемонии хороши только в предположении, что их заповедал Бог; но насчет повелений Бога легко ошибиться, ибо существует две тысячи религий, каждая из которых выдвигает свои требования. Таким был великий аргумент католиков, что множество протестантских сект - при условии их ложности - обращается против их изобретателей[Сноска: Ibid., i. 164. Письмо xlvii. Сравните с мнением Монтескье, высказанным в "*Духе законов*", что государь не должен ни допускать установления новой формы религии, ни преследовать уже установленную].

О разнужданности "Персидских писем" уже говорилось. Одной из наиболее заметных особенностей трудов философов XVIII века является то, что вся тема сексуальной морали рассматривается ими с иной точки зрения, чем мы сами. Мыслящие французы той эпохи верили, что существует система естественной морали, навязанной человеку его собственной природой и природой вещей. Они считали, что существует и искусственная система, опирающаяся только на позитивный закон или церковные таинства. Церковный ум был склонен игнорировать это различие. Эта тенденция зашла слишком далеко и вызвала реакцию.

Это различие не совсем игнорируется даже людьми тех рас, которые больше всего уважают закон. Никому не кажется, что предписание убираться с травы в общественном парке или правило поворачивать направо при езде на автомобиле имеет такое же значение, как и предписание держать руки подальше от ковыряния и воровства. Заведомое нарушение правил естественной морали вызывает гораздо больший одиозный резонанс, чем нарушение правил, зависящих исключительно от постановления законодательной власти. Контрабанда может быть упомянута как преступление, приближающееся к разделительной линии в народном чувстве большинства стран. Немногие мужчины будут чувствовать себя так же позорно, если их поймает таможенник с коробкой сигар, спрятанной под брюками на дне багажника, как и если их схватят за кражу той же коробки с прилавка табачного магазина. В странах, где законы произвольны, а законотворческая власть не пользуется доверием, это различие выражено сильнее, чем там, где правительство пользуется полным доверием и одобрением общества. Более прогрессивные французы сто пятьдесят лет назад

считали законы своей страны плохими во многих отношениях. Поэтому они считали, что существует большая разница между тем, что юристы называют *запрещенным злом*, и *злом как таковым*.

Теперь, если допустить, что это различие существует в сознании людей, есть один большой класс преступлений и пороков, который большинство англосаксов относит к одной категории, а французские философы - к другой. Это нарушения сексуальных законов. Одна из величайших заслуг церкви перед христианством состоит в том, что она всегда делала особый акцент на обязанности целомудрия. Одной из ее величайших ошибок является то, что она превозносила практику безбрачия над супружеской верностью. Философы, как это было в их обычае, изучали практику различных народов. Они обнаружили, что некоторые древние свободно разводились по желанию любой из сторон. Они узнали, что восточные народы обычно допускают многоженство. В своей стране они увидели низкий уровень сексуальной морали среди высших классов, отчасти, возможно, благодаря примеру развратного двора. Наблюдение и желание в сочетании с ненавистью к духовенству исказили их суждения. Они забыли, по крайней мере частично, что целомудрие является основой семьи и цивилизованного государства; что развод и полигамия, хотя и имеют огромное значение, но являются второстепенными вопросами; что на сексуальном самоограничении цивилизация покоится так же, как на уважении к жизни и собственности. От ложной теории, что безбрачие - это искусственное преступление, иллюзорное изобретение аскетической церкви, как мне кажется, зависит многое из того, что было худшим в практике французов, многое из того, что наиболее отвратительно в их литературе.[Сноска: Заповедь "Не прелюбодействуй" одинаково применима к многоженцам и моногамистам. Изначально она была провозглашена для первых и для народа, в котором мужчина мог отдать свою жену].

Этой теории редко придерживаются безоговорочно. В "Персидских письмах" она не идет дальше подробной апологии развода, язвительного осуждения безбрачия и общей разнузданности тона. Поздние сочинения Монтескье свободны от непристойностей. Но в них заметно, что он, возможно, самый высокоумный из философов, как и все остальные, постоянно настаивает на важности добродетели, но не относит целомудрие к числу добродетелей[Сноска: См. историю о гебуре, который женился на своей сестре, Montesq., i. 226, Letter lxvii. Судя по всему, речь идет о том, что законы, запрещающие браки в случае кровного родства, являются произвольными].

В "Персидских письмах" дела монархии обстоят немногим лучше, чем у церкви. "Король Франции, - пишет Рика, - самый могущественный принц в Европе. У него нет золотых рудников, как у его соседа короля Испании; но у него больше богатства, чем у последнего, ибо он черпает его из тщеславия своих подданных, более неисчерпаемого, чем рудники. Известно, что он затевал и вел большие войны, не имея других средств, кроме почетных титулов, которые можно было бы продать; и в силу непомерной человеческой гордыни его войска были оплачены, крепости обставлены, флоты снаряжены".

"Более того, этот король - великий маг; он управляет умами своих подданных; он заставляет их думать так, как ему заблагорассудится. Если у него в казне всего один миллион долларов, а нужно два, ему достаточно заверить их, что один доллар стоит два, и они ему верят. Если ему предстоит тяжелая война, а денег нет, достаточно вбить им в голову, что бумажка - это слиток, и они тут же поверят. Он даже доходит до того, что заставляет их поверить в то, что он излечивает их от всех болезней, прикасаясь к ним. Такова его сила и власть над их умами"[Сноска: Ibid., i. 110, Letter xxiv. Упоминание о продаже должностей и титулов, о привычке обесценивать монету и о прикосновении к золотухе].

"То, что я расскажу вам об этом принце, не должно вас удивлять: есть другой маг, более сильный, чем он; он не менее владеет духом короля, чем сам король - духом других. Этот маг зовется Папой. Иногда он заставляет короля поверить, что трое - это только один; что хлеб, который едят люди, - это не хлеб, что вино, которое они пьют, - это не вино, и многое другое в том же роде".

Рика видела молодого короля Людовика XV. Лицо его величественно и очаровательно; хорошее образование, дополненное добрым природным нравом, дает надежду на то, что он станет великим государем. Но Рике сообщают, что нельзя рассказать об этих западных королях, пока не узнаешь об их любовнице и духовнике. "При молодом принце они соперничают, при старом - объединяются. Сила молодого короля делает дервиша слабым; но госпожа обращает в свою пользу и силу, и слабость". [Сноска: Montesq., i. 339, Letter cvii].

Христианские князья давно освободили всех рабов в своих государствах, заявив, что христианство делает всех людей равными. Это религиозное действие было очень полезно для них, поскольку сокращало власть их главных владык. С тех пор они завоевывали новые страны, где рабство было выгодно. Они забыли свою религию и разрешили покупать и продавать рабов[Сноска: Ibid., i. 252, Letter lxxv].

Французы в большей степени руководствуются законами чести, чем персы, потому что они более свободны. Но святилище чести, репутации и добродетели, похоже, создается в республиках, где человек может чувствовать, что у него действительно есть страна. В Греции и Риме корона из листьев, статуя, похвала государства были достаточным вознаграждением за выигранную битву или взятый город. Швейцария и Голландия, обладая самой бедной почвой в Европе, являются самыми густонаселенными странами для своей территории. Свобода и роскошь, которая всегда следует за ней, привлекают в страну чужеземцев. Политическое равенство граждан, как правило, порождает равенство состояний, а также рассеивает изобилие и жизнь.

Но при произвольном правлении принц, его придворные и несколько человек владеют всеми богатствами, в то время как остальная страна страдает от крайней бедности[Сноска: Montesq., i. 291, Letter lxxxix. См. также с. 381, 386, Письма sxxii., sxxiv].

Сатирический характер "Персидских писем" достаточно очевиден из приведенных выше отрывков. Но Монтескье гораздо более широко и справедливо известен как мудрый и ученый писатель о государстве, чем как сатирик. Книга, которую мы рассматриваем, была самой легкой, как и самой ранней из его значительных работ. Здравый смысл, осторожность и консерватизм его натуры проявляются в "Персидских письмах" менее заметно, чем в его более поздних работах; но даже там они заметно контрастируют с поспешностью и мелкотемьем многих философов. "Правда, - говорит он, - что законы иногда приходится изменять, но это случается редко; и когда это происходит, к ним следует прикасаться дрожащей рукой; следует соблюдать столько торжественности и использовать столько предосторожностей, что народ, естественно, может прийти к выводу, что законы очень священны, раз для их отмены требуется столько формальностей"[Сноска: Ibid., i. 401, Letter sxxxix].

Вот мнение, возможно, преувеличенное, но не лишенное частых иллюстраций с тех пор, как он его написал. "Кажется... что самые большие головы становятся узкими, когда их собирают вместе, и что там, где больше всего мудрецов, там меньше всего мудрости. Большие тела всегда сильно привязаны к деталям, к суетным обычаям; а важные дела всегда откладываются. Я слышал, что один король Арагона, собрав эстафеты Арагона и Каталонии, на первых заседаниях решал, на каком языке вести дискуссию. Спор был оживленным, и

эстимейты распались бы тысячу раз, если бы не было найдено решение, согласно которому вопросы должны были задаваться на каталонском языке, а ответы даваться на арагонском"[Сноска: Montesq., i. 344, Letter six. Посмотрите на несколько главных совещательных органов мира, настолько связанных своими правилами, что они едва могут двигаться; и сравните с ними по эффективности небольшие законодательные органы и советы, которые оперативно решают многие важные и сложные интересы, заседаая за закрытыми дверями].

"Я никогда не слышал, чтобы люди, говоря о публичном праве, - пишет он в другом письме, - не задавались вопросом о происхождении общества; что кажется мне абсурдным. Если бы люди не образовывали общества, если бы они разделялись и бежали друг от друга, мы должны были бы спросить о причине этого и выяснить, почему они держатся в стороне. Но они созданы привязанными друг к другу, сын рождается рядом с отцом и остается там; это и есть общество, и причина общества"[Сноска: Ibid., i. 301, Letter xciv].

Сатирическая книга, подобная "Персидским письмам", не могла быть открыто опубликована во Франции при Людовике XV. На самом деле первое издание было напечатано в Амстердаме, хотя на титульном листе в качестве места публикации указан Кельн. Книга была анонимной, но Монтескье был хорошо известен как автор и быстро приобрел большую известность. Через несколько лет, поскольку в старой Франции дела шли небыстро, его предложили избрать в Академию. Быть одним из сорока членов этого органа - законное стремление литературного француза. Кардинал де Флери, занимавший пост премьер-министра, как говорят, заявил, что король никогда не даст согласия на избрание автора "Персидских писем". Он добавил, что не читал эту книгу, но люди, которым он доверял, заверили его, что она опасна. По словам Вольтера, после этого Монтескье поспешно напечатал искаженное издание "Писем", сам отнес экземпляр кардиналу, уговорил его преосвященство прочитать часть книги и с помощью друзей убедил его изменить свое решение. Подобная уловка более достойна Вольтера, который постоянно опровергал свои собственные произведения, чем Монтескье, который, как я полагаю, никогда этого не делал. Д'Алембер рассказывает эту историю так, что она вполне заслуживает доверия последнего. Он говорит, что Монтескье, увидевшись с министром, сказал ему, что по личным причинам он не дал своего имени "Персидским письмам", но что он далек от того, чтобы отречься от книги, которой, по его мнению, у него нет причин стыдиться. Затем он настоял на том, что о "Письмах" следует судить после их прочтения, а не по слухам. После этого кардинал прочел книгу, остался доволен ею и ее автором и снял свои возражения против избрания последнего в Академию[Сноска: *Nouvelle Biographie Universelle. Вольтер (список писателей эпохи Людовика XIV)*. D'Alembert, vi. 252. Дата избрания Монтескье - 24 января 1728 года. См. обсуждение всей этой истории в Vian, 100. Там же говорится, что Монтескье угрожал покинуть Францию и отказался от пенсии в это время. Монтескье рассказывает историю о пенсии, но без указания даты: "Je dis que n'ayant pas fait de bassesse, je n'avais pas besoin d'etre consolé par des graces", vii. 157. Вольтер всегда ревновал Монтескье к его репутации; кроме того, в это время он был не в ладах с Академией, в которую был избран только в 1746 году].

Незадолго до этого Монтескье сложил с себя полномочия одного из председателей парламента Бордо, продав пожизненную долю в нем, но оставив обратный выкуп за сыном. Получив таким образом досуг, он отправился в длительное путешествие, продолжавшееся три года. "Во Франции, - говорил он позже, - я со всеми подружился, в Англии - ни с кем; в Италии я всем делаю комплименты; в Германии я со всеми пью". "Когда я приезжаю в какую-

нибудь страну, я смотрю не на то, хороши ли там законы, а на то, исполняют ли они те, которые у них есть; ибо хорошие законы есть везде"[Сноска: Vian, 90. Montesq. vii. 186, 189].

Монтескье прибыл в Англию осенью 1729 года, отплыв из Голландии на яхте лорда Честерфилда, с которым он познакомился на континенте. Он провел в стране семнадцать месяцев и, несмотря на свою эпиграмму о том, что ни с кем не подружится, виделся с самыми выдающимися людьми, включая Свифта и Поупа, был принят в Королевском обществе и представлен ко двору. В то время, когда Англия и английский язык были малоизвестны во Франции, он изучал их так, что это оказало глубокое влияние на все его взгляды на правительство. "В Лондоне, - говорит он, - свобода и равенство. Свобода Лондона - это свобода лучших людей,[Сноска: *Honnestes gens*, что не может быть точно переведено. Montesq., vii. 185. Vian, 112.], чем она отличается от свободы Венеции, "которая есть свобода разврата". Равенство Лондона - это также равенство лучших людей, в чем оно отличается от свободы Голландии, которая есть свобода народных масс".

"В настоящее время Англия - самая свободная страна в мире; я не исключаю никакой республики. Я называю ее свободной, потому что принц не может причинить никому никакого мыслимого вреда; потому что его власть контролируется и ограничивается законом. Но если бы нижняя палата стала их хозяйкой, ее власть была бы неограниченной и опасной, потому что она обладала бы и исполнительной властью; тогда как сейчас неограниченная власть находится в парламенте и короле, а исполнительная - в короле, власть которого ограничена. Поэтому хороший англичанин должен стремиться защищать свободу в равной степени от нападков короны и палаты"[Сноска: Montesq., vii. 195 (*Notes sur l'Angleterre*)].

Монтескье привез из Англии восхищение тем, что он там увидел, подлинное и гораздо более разборчивое, чем у Вольтера. Если исследования Монтескье были в основном направлены на изучение политических институтов страны, то исследования Вольтера охватывали философию и социальную жизнь Англии. Через этих двух великих людей, возможно, больше, чем через кого-либо другого, английские идеи распространялись во Франции в середине XVIII в.[Сноска: Вольтер вернулся из Англии за несколько месяцев до того, как Монтескье отправился туда в 1729 г.].

Теперь Монтескье продолжил свои занятия с расширенным кругозором. По-видимому, еще до того, как он отправился в путешествие, у него уже созрел проект написания большого труда о Духе законов. Но в 1784 году он опубликовал небольшую книгу "Величие и упадок римлян". Говорят, что это сочинение состояло из части материалов, собранных для "Духа законов", и было опубликовано отдельно, чтобы не отводить римлянам слишком большое место в более важном труде. В этом сомневались, но ни в предмете, ни в обращении с ним нет ничего такого, что делало бы это невероятным. Да и не так уж это важно, если между двумя книгами есть единство цели и согласие метода.

Величие и упадок римлян - это исследование философской истории. По форме оно не отличается от "Рассуждений о первых десяти книгах Ливия" Макиавелли. Этот замечательный труд был бы самым полезным чтением для французов XVIII века, как и во все времена для студентов, изучающих науку политики. республиках Макиавелли имел больше опыта, чем Монтескье. Оба считали республиканскую форму правления наиболее желательной; оба полагали, что она невозможна без сохранения существенного имущественного равенства между гражданами. Монтескье, который знал о монархии больше, чем Макиавелли, также больше верил в нее. Оба ненавидели правление Римской церкви. [Сноска: Макиавелли, ii. 210. Монтескье, ii. 136, 140. Mach., ii. 130.] Француз

превосходит итальянца в практической мудрости; он также более блестящ. Своим блеском он, возможно, иногда увлекает за собой, но, думаю, не часто. Если при чтении Вольтера мы чувствуем, что блестящая точка часто является причиной высказывания, то при чтении Монтескье нас, как правило, поражает весомость мысли в прочитанном.

"Тирания князя, - говорит Монтескье, - не приближает его к гибели, как безразличие к общественному благу приближает республику. Преимущество свободного государства в том, что доходы лучше управляются, но как, если они хуже? Преимущество свободного государства в том, что в нем нет фаворитов; но когда этого нет и когда вместо того, чтобы обогащать друзей и родственников принца, приходится обогащать друзей и родственников всех тех, кто участвует в управлении, все теряется; законы обходятся опаснее, чем нарушаются принцем, который, будучи всегда самым большим гражданином государства, больше всех заинтересован в его сохранении"[Сноска: Montesq., ii. 139].

Короли, как отмечает Монтескье, вызывают меньше зависти, чем аристократия; ведь король слишком высоко стоит над большинством своих подданных, чтобы вызывать сравнения, в то время как дворяне не занимают такого положения. Республики, где рождение не дает никаких привилегий, по его мнению, более счастливы в этом отношении, чем другие страны; ведь народ может мало завидовать власти, которую он предоставляет и отнимает по своему усмотрению. Монтескье забывает, что каждый шанс возвыситься, который возбуждает в сильных и добродетельных людях благородное подражание, вызовет в слабых и низких соответствующую низменную страсть зависти. Полный деспотизм, по его мнению, невозможен. В каждом народе существует общий дух, на котором основывается вся власть. Против него правитель бессилен. Разумно не нарушать устоявшиеся формы и институты, ибо те самые причины, которые обеспечили их прочность до сих пор, могут сохранить их и в будущем, а причины эти зачастую сложны и неизвестны. При изменении системы теоретические трудности могут быть преодолены, но остаются недостатки, которые может выявить только применение. Глупость завоевателей заключается в том, что они хотят заставить побежденных принять новые законы и обычаи, и это бесполезно; ведь при любой форме правления подданные могут подчиняться. Люди никогда не бывают так оскорблены, как когда вмешиваются в их церемонии и обычаи. Угнетение иногда служит доказательством того, что их уважают; вмешательство в их обычаи всегда свидетельствует о презрении"[Сноска: Montesq., ii. 181, 315, 316, 266, 174, 209].

Таковы некоторые из общих мнений Монтескье, содержащиеся в "Величии и упадке римлян". В той же книге встречается выражение идеи (впоследствии повторенной и разработанной), которая должна была стать, возможно, самой плодотворной из его учений. "Законы Рима, - говорит он, - мудро разделили государственную власть между множеством должностей, которые поддерживали, сдерживали и умеряли друг друга; и поскольку каждая из них имела лишь ограниченную власть, каждый гражданин был способен достичь любой из них; и народ, видя, как несколько человек проходят перед ним один за другим, привык ни к одной из них"[Сноска: Ibid., ii. 200].

Эта идея о том, что разделение власти крайне желательно, что система сдержек и противовесов в правительстве будет способствовать обеспечению свободы, так и не укоренилась во Франции. Действительно, Монтескье, как он сам отчасти предвидел, в своей стране больше превозносили, чем читали[Сноска: Ibid., vii. 157 (*Pensées diverses. Portrait de M par lui-même*)]. Но в далеких колониях Америки "Величие и упадок римлян" и "Дух законов" находили жаждущих учеников. Мысли Монтескье были воплощены в конституциях новых государств, чье социально-экономическое состояние было недалеко от того, которое он считал наиболее желательным. В этих государствах доктрина разделения властей была

принята сознательно и тщательно, с самыми благотворными результатами. Это разделение не было новой идеей для американских колонистов: оно уже в какой-то мере было частью их институтов. Но можно не сомневаться, что эта идея укрепилась в их сознании благодаря тому, что ее ясно изложил один из писателей по политическим вопросам, которым они больше всего восхищались [Сноска: Мы видели, что Монтескье пришел к этой идее на основе изучения английской конституции, как она существовала в его время. Что касается разделения властей, то правительство Соединенных Штатов гораздо больше соответствует его идее, чем нынешнее правительство Англии, в котором система сбалансированных властей была заменена системой управления нижней палатой, на опасность которой он указывал. Полные результаты этого изменения будут известны только будущим поколениям].

Прошло четырнадцать лет с момента публикации "Величия и упадка римлян", когда в 1748 году появилось великое произведение Монтескье "Дух законов". Книга анонсируется ее автором как нечто совершенно оригинальное, "дитя без матери". [Сноска: *Prolem sine matre creatam*, на титульном листе]. Это утверждение также не совсем обоснованно, хотя любой читатель, знакомый с "Политикой" Аристотеля, вряд ли сможет не заметить сходства между этой великой книгой и другой. Не стоит умалять гений Монтескье и тем, что сравнение будет не совсем в его пользу.

Схема Монтескье раскрывается в названии, которое первоначально было дано его книге. "О духе законов, или об отношении, которое законы должны иметь к конституции каждого правительства, нравам, климату, религии, торговле и т. д.". К этому автор добавил новые исследования римских законов о наследовании, французских законов и феодальных законов". Таким образом, мы видим, что основной темой книги является связь законов с обстоятельствами страны, в которой они существуют. В этом также заключается ее главная ценность и претензия на оригинальность. Философы XVIII века, следуя примеру церкви, считали, что существует абсолютный стандарт справедливости, к которому можно легко отнести все законы, независимо от страны, в которой они существуют. Если законы Неаполя отличались от законов Пруссии, законы, управляющие флегматичным голландцем, от законов, сдерживающих возбудимого жителя Марселя, то один или другой свод законов, или оба, должны быть неправильными. Гражданское право латинской расы, общее право Англии - каждое из них претендовало на то, чтобы быть выражением совершенного абстрактного разума. Церковь с ее канонами, одинаковыми для всех рас и климатов, подтверждала эту теорию. Ко всем этим людям пришел Монтескье с учением, которое должно было примирить их претензии.

"Право в целом - это человеческий разум, поскольку он управляет всеми народами земли; а политические и гражданские законы каждого народа должны быть лишь частными случаями, к которым применяется этот человеческий разум".

"Они должны быть настолько приспособлены к людям, для которых они созданы, что очень велика вероятность того, что законы одной нации будут применимы к другой".

"Они должны быть связаны с природой и принципом правительства, которое установлено или собирается быть установленным; формируют ли они его, как политические законы, или поддерживают его, как гражданские законы".

"Они должны быть связаны с *физической* природой страны; с морозным, жгучим или умеренным климатом; с качеством почвы, положением и размером страны; с образом жизни людей, как фермеров, охотников или пастухов; они должны быть связаны с количеством свободы, которую может позволить конституция; с религией жителей, их склонностями, их богатством, их численностью, их обычаями, их моралью, и их манерами. Наконец, они имеют

отношения друг к другу; они имеют их к своему собственному происхождению, к цели законодателя, к порядку вещей, на котором они установлены. Их следует рассматривать со всех этих точек зрения".

"Именно это я и обязуюсь сделать в данной работе. Я рассмотрю все эти отношения. Они образуют то, что называется "духом законов"". [Сноска: Montesq., iii. 99 (liv. i. с. 3)].

Следует заметить, что Монтескье ни в коем случае не отрицает существование общих принципов справедливости. Напротив, он положительно утверждает это [Сноска: Ibid., iii. 91 (liv. i. с. 1)]. Но большая ценность его учения заключается в другом уроке. "Лучше сказать, что правительство, наиболее соответствующее природе, - это то, чьи особые склонности в наибольшей степени соответствуют склонностям народа, для которого оно создано". Этот принцип, конечно, можно вывести из Аристотеля; но не менее необходимо было учить его в восемнадцатом веке; не менее необходимо учить его и сегодня". [Сноска: Ibid., iii. 99; Аристотель, *Политика*, liv. vii. с. ii].

Концепция была великой и настолько простой, что кажется невозможным, чтобы ее когда-либо упустили; но с ней жестоко боролись при ее провозглашении, и многие блестящие и ученые люди не смогли ее понять. [Сноска: Montesq., iv. 145 n] Таковы люди в наше время, которые восхваляют деспотизм во Франции или хотят установить парламентское правительство в Индии. Монтескье, вероятно, зашел в своих теориях слишком далеко. Он приписывал северу энергию и доблесть, как если бы самыми завоевательными народами, которые знала тогда Европа, были норвежцы и финны, а не македонцы, итальянцы и испанцы. Стерильность почвы он считал благоприятной для республик, плодородие - для монархий. Естественно, что человек, восставший против долгой духовной тирании, угнетавшей мысль в Европе, должен был придать чрезмерное значение материальным причинам. Тем не менее в этой идее была своя доля истины. Его утверждение, которое можно назвать его любимой теорией, также не всегда было чрезмерным. "Несколько вещей, - говорит он, - управляют человеком; климат, религия, законы, максимы правительства, примеры прошлого, нравы, манеры; отсюда проистекает общий дух, который является их результатом. Иногда одна из этих сил преобладает, иногда другая" [Сноска: Montesq., iv. 307 (liv. xix. с. 4)].

Можно отметить, что Монтескье, как часто и Вольтер, постоянно сбивают с пути несовершенные знания об иностранных, а особенно варварских и диких народах. Со времен путешествий и завоеваний эпохи Возрождения в Европе появилось множество рассказов о чужих странах, написанных во многих случаях людьми отнюдь не точными, если не сказать, по словам Маколея, "лжецами по двойному праву, как путешественники и как иезуиты" [Сноска: *Эссе о Макиавелли*]. Писатели сто пятьдесят лет назад не могли использовать лучший материал, чем тот, который был доступен. Они хотели черпать знания из далеких предметов, и их подозрительные трубы искажали формы и изменяли цвета. Несовершенное знание иностранных государств иногда приводило Монтескье к курьезным ошибкам, но они чаще влияли на его иллюстрации, чем на его теории.

Изложив свою общую доктрину, Монтескье переходит к ее применению. Поскольку законы должны быть приспособлены к природе правительства каждой страны, необходимо изучить эту природу и рассмотреть, что является *принципом* или движущей силой каждой формы правления. "Существует разница, - говорит он, - между природой правительства и его принципом: природа - это то, что делает его таким, какое оно есть, а принцип - то, что заставляет его действовать. Первое - это его особая структура, а второе - человеческие страсти, которые заставляют его действовать" [Сноска: Montesq., iii, 120 (liv. iii. с. 1)].

Монтескье признает четыре вида правления: демократическое, аристократическое, монархическое и деспотическое. Принципом демократии он считает *добродетель*, без которой народное правительство не может существовать[Сноска: Montesq., iii. 122 (liv. iii. с. 3)]. Аристократическое государство нуждается в добродетели меньше, поскольку народ сдерживается дворянами. Но дворяне могут с трудом подавлять членов своего ордена и вершить правосудие над их преступлениями. Однако при отсутствии большой добродетели аристократическое государство может существовать, если правящий класс будет придерживаться *умеренности*[Сноска: Ibid., iii. 126 (liv. с. 4)]. В монархиях большие вещи могут быть сделаны при малой добродетели, поскольку в них есть другой движущий принцип, который заключается в чести[Сноска: Ibid., iii. 128 (liv. iii. с. 5, 6 и 7).] Этот род правления основан на предрассудках каждого человека и каждого рода людей; он опирается на ранги, предпочтения и различия, так что подражание часто заменяет собой добродетель. В монархии будет много сносных граждан, но редко найдется очень хороший человек, который любит государство больше, чем самого себя. Движущим принципом деспотизма является *страх*[Сноска: Ibid., iii. 135 (liv. iii. с. 9)]; ибо в деспотических государствах добродетель не нужна, а честь была бы опасна. Эти качества - добродетель, честь и страх - могут существовать не в каждой республике, монархии и деспотии; но они должны существовать, если правительство должно быть совершенным в своем роде[Сноска: Ibid., iii. 140 (liv. iii. с. 11)].

При рассмотрении "Духа законов" следует помнить, что Монтескье чаще всего имел в виду, говоря о демократических республиках, Грецию; говоря об аристократических республиках, ранний Рим и Венецию; о монархиях - Францию и Англию; о деспотиях - Восток[Сноска: Но иногда он упоминает Англию как страну, где республика скрывается под формами монархии. Montesq., iii. 216 (liv. V. с. 19)].

При каждой форме правления воспитание и законы должны работать вместе, чтобы укрепить мотивирующий принцип, принадлежащий этой форме. Особенно это необходимо в республиках, ибо честь, поддерживающая монархии, поддерживается страстями; добродетель же, от которой зависят демократии, предполагает отказ от себя. Добродетель в республике - это любовь к самой республике, которая ведет к доброй морали; общественное благо ставится выше частного удовлетворения. Таким образом, мы видим, что монахи любят свой орден тем больше, чем строже его правила. Любовь к государству в демократии превращается в любовь к равенству и, таким образом, ограничивает честолюбие желанием оказать большие услуги республике. Любовь к равенству и бережливости возбуждается главным образом самими равенством и бережливостью, когда они установлены законом. Законы демократического государства должны всячески поощрять равенство, например, запрещая завещания и препятствуя приобретению больших земельных владений. В демократическом государстве все люди при рождении вступают в огромный долг перед государством, и, что бы они ни делали, они никогда не смогут его выплатить. В руках частных лиц не должно быть больших богатств, потому что такое богатство дает власть и дает удовольствия, которые противоречат равенству. Внутренняя бережливость должна делать возможными государственные расходы. Даже таланты должны быть умеренными. Но если демократическая республика будет основана на торговле, то частные лица могут спокойно обладать большими богатствами; ведь дух торговли несет в себе дух бережливости, экономии, умеренности, труда, мудрости, спокойствия и порядка.

В демократическом государстве очень важно сохранять старые законы и обычаи; ведь все имеет тенденцию к вырождению, а развращенная нация редко совершает что-то великое. Для поддержания аристократической республики необходима умеренность. Дворяне

должны быть просты в своей жизни и почти не отличаться от плебеев. Следует избегать оскорбляющих гордость различий, таких как законы, запрещающие межродовые браки. Привилегии должны принадлежать сенату как органу, а простое уважение должно оказываться только отдельным сенаторам.[Сноска: Montesq., iii. 151 (liv. iv. c. 5). Ibid., iii. 165-183 (liv. v. c. 2-8)].

Поскольку честь является движущим принципом монархии, законы должны поддерживать ее и быть приспособлены для поддержания того *благородства*, которое является родителем и ребенком чести. Дворянство должно быть наследственным; оно должно иметь прерогативы и права; оно образует связь между принцем и нацией. Монархическое правление имеет то преимущество перед республиканским, что, поскольку дела находятся в одних руках, оно отличается большей оперативностью исполнения. Но все же должно быть что-то, что сдерживает волю принца. Лучше всего, если это будет не само дворянство, а такие органы, как суды, наделенные конституционными правами, как французские парламенты[Сноска: В деспотическом правительстве движущим принципом является страх. Правитель города должен быть абсолютно ответственен Montesq., iii, 191 (liv. v. c. 10)].

Монтескье много упрекали, как в его эпоху, так и после, за его пристрастное отношение к монархии, как он находил ее существующей во Франции. Признавая, что республика является более справедливой и равноправной формой правления, он считал, что монархия лучше всего подходит для его времени и страны. Многие люди, следившие за историей Франции с его времен, согласятся с ним. Защищая некоторые практики, которые сегодня считаются вопиющими злоупотреблениями старой Франции, он рекомендовал некоторые реформы, которые были бы очень полезны. Часто бывает мудрее найти оправдание для сохранения старого обычая, чем причины для введения нового; а Монтескье был консерватором, которого сделали таковым его природа, его социальное положение, его богатство, его образование юриста, его возраст и его опыт. Когда он писал "Персидские письма", он, возможно, был готов ниспровергнуть основные институты своей страны ради исправления злоупотреблений; но когда он провел двадцать лет над "Духом законов", когда он осознал сложность жизни и взаимозависимость вещей, он был готов скорее реформировать, чем разрушать.

В деспотическом правительстве движущим принципом является страх. Правитель города должен быть абсолютно ответственным перед правителем провинции, иначе последний не сможет быть полностью ответственным перед государем. Таким образом, абсолютизм распространяется на все государство. Поскольку нет иного закона, кроме воли князя, и поскольку этот закон не может быть известен каждому в деталях, должно существовать множество мелких тиранов, зависящих от тех, кто стоит непосредственно над ними[Сноска: Montesq., ii. 209 (liv. v. c. 16)].

После не очень удачной попытки дать определение свободы, которую он определяет как власть делать то, чего мы должны желать, и не делать того, чего мы не должны желать[Сноска: Ibid., iv. 2-4 (liv. xi. c. 2, 3)], Монтескье говорит нам, что политическая свобода существует только в ограниченных правительствах, поскольку все люди, обладающие властью, склонны злоупотреблять ею и будут продолжать это делать, пока не встретят препятствия; как и сама добродетель нуждается в сдерживании. Различные нации, говорит он, имеют различные цели: завоевание было целью Рима, война Спарты, торговля Марсея; есть страна, прямой целью конституции которой является политическая свобода. Эта страна - Англия.[Сноска: Монтескье здесь и в других местах избегает упоминать Англию или Францию по имени; любопытное жеманство. Однако ссылки на них безошибочны].

В каждом государстве существует три вида власти: законодательная, исполнительная и судебная. Политическая свобода гражданина - это спокойствие духа, проистекающее из его уверенности в собственной безопасности; и чтобы дать ему эту свободу, правительство должно быть таким, чтобы ни один гражданин не мог бояться другого. Такая безопасность может существовать только там, где законодательная, исполнительная и судебная власти находятся в разных руках. В большинстве европейских монархий правительство ограничено, потому что принц, обладающий первыми двумя полномочиями, оставляет третью другим; он издает законы и исполняет их, но назначает других людей вместо себя судьями. В итальянских республиках все три власти объединены. Один и тот же орган магистратуры принимает законы, исполняет их и судит каждого гражданина по своему усмотрению; такой орган столь же деспотичен, как и восточный князь.[Сноска: Это суждение несколько смягчено в отношении Венеции. Наиболее ярким примером тирании одного народного органа в современную эпоху является Франция при Конвенте]. Судебная власть, говорит Монтескье (имея в виду английский суд присяжных), не должна быть предоставлена постоянному сенату, а осуществляться лицами, выбранными из народа, образуя трибунал, который действует только до тех пор, пока этого требует необходимость. В серьезных делах преступник должен вместе с законом выбирать своих судей или, по крайней мере, иметь право отвода. Законодательная и исполнительная власть может быть с меньшей опасностью передана постоянным органам, поскольку они не осуществляются против отдельных лиц". Затем он высоко оценивает представительное правление и свободу, оставленную членам парламента в английской системе. Он считает, что народ более способен мудро выбирать представителей, чем решать вопросы, - мнение, в котором современный опыт может усомниться. Он одобряет существование второй палаты, состоящей из людей, отличающихся рождением, богатством или почестями; ведь если бы они были смешаны с народом и получили бы только по одному голосу, как и остальные, общая свобода стала бы их рабством, и они не были бы заинтересованы в ее защите, потому что она чаще всего была бы обращена против них самих[Сноска: Montesq., iv. 7 (liv. xi. c. 6)].

Правительство Франции, говорит Монтескье, не имеет, подобно правительству Англии, непосредственной целью свободу; оно стремится лишь к славе гражданина, государства и принца. Но из этой славы проистекает дух свободы, который во Франции может совершать великие дела и способствовать счастью не меньше, чем сама свобода. Три власти здесь распределены не так, как в Англии; но у них есть свое собственное распределение, в соответствии с которым они в большей или меньшей степени приближаются к политической свободе; и если бы они не приближались к ней, монархия выродилась бы в деспотизм"[Сноска: Montesq., iv. 24. (liv. xi. c. 7)]. Это звучит как пустая фраза; однако во времена Монтескье, несомненно, существовали некоторые ограничения для абсолютизма французского монарха. "Если подданные обязаны повиноваться королям, то короли, со своей стороны, обязаны повиноваться законам", - заявил Парижский парламент в 1753 году. А за пределами своих собственных границ Франция долгое время считалась ограниченной монархией. [Сноска: Rosquain, 170. Макиавелли, ii. 140, 215, 322 (Рассуждения о первых десяти книгах Ливия)]. Помимо ограничений, налагаемых привилегиями церкви и парламентов, существовали, по-видимому, некоторые признанные фундаментальные законы (наследование короны по мужской линии было одним из них), которые государь не в силах был бы уничтожить в данный момент. А общественное мнение, как уже говорил Монтескье, имеет силу даже в самых деспотичных странах. В европейской нации, не сломленной духом длительной тирании и обладающей печатным станком, эта сила всегда должна быть очень велика.

Что касается восхищения Монтескье английской формой правления, то оно, несомненно, вместе с другими причинами способствовало изучению на континенте английских политических методов. С тех пор эти методы были приняты многими континентальными государствами, но вряд ли с таким количеством модификаций, чтобы адаптировать их к местным условиям, как это было бы желательно. Но именно современная английская конституция, в которой власть почти полностью принадлежит Палате общин и осуществляется ее чиновниками, была скопирована. В Америке принцип разделения властей пошел дальше, чем когда-либо в Англии, и из всех составляющих их формы правления это та, с которой многие разумные американцы не хотели бы расставаться.

Мы уже достаточно видели нападки Монтескье на церковь. Самые яростные из них были сделаны в юности и в книге, явно сатирической. В зрелом возрасте, когда он писал в более философском духе, его язык был умеренным и мудрым. "Плохо рассуждать против религии, - говорит он, - собрав в одном большом труде длинное перечисление зла, которое она породила, если не перечислить и добра, которое она сделала. Если бы я стал рассказывать обо всем вреде, который причинили миру гражданские законы, монархия или республиканское правительство, я бы наговорил ужасных вещей"[Сноска: Montesq., v. 117 (liv. xxiv. с. 2)]. Эта идея была далеко не по зубам Вольтеру.

Далее Монтескье рассуждает о различных формах религии. Магометанство он считает особенно подходящим для деспотизма, христианство - для ограниченных правительств. Католицизм приспособлен к монархиям, протестантизм, и особенно кальвинизм, - к республикам. Там, где фатализм является религиозной догмой, наказания, налагаемые законом, должны быть более суровыми, а бдительность общества - более высокой, так что этими мотивами могут руководствоваться люди, которые в противном случае отказались бы от самоограничения; но если утверждается догма свободы, дело обстоит иначе. Климат не может не влиять на религию. Омовение, которое требуется от магометанина, полезно в его теплой стране. Протестант в Северной Европе вынужден зарабатывать на жизнь более тяжелым трудом, чем католик на Юге, и поэтому желает меньше религиозных праздников. Если государство может предотвратить установление новой формы религии в своих границах, оно сочтет нужным сделать это; но если будет установлено несколько религий, не следует позволять им мешать друг другу. Следует избегать уголовных законов в религиозных вопросах; ибо каждая религия имеет свои духовные наказания, и ставить человека между страхом мирского наказания, с одной стороны, и страхом духовного наказания, с другой, деградирует его душу. Владения духовенства должны быть ограничены законами о смертной казни[Сноска: Ibid., v. 124-136 (liv. xxiv. с. 5-14)].

Дух умеренности должен быть духом законодателя. Это Монтескье объявил главной темой своей книги. Политическое благо, как и моральное, всегда находится между крайностями[Сноска: Montesq., v. 379 (liv. xxix. с. 1)].

Именно эта умеренность делала "Дух законов" неприятным для более пылких философов. Разделяя многие чувства своих современников, и особенно их недоверие к церкви, Монтескье, тем не менее, не желал впадать в те же крайности, что и они. Его глава "О единообразии" и критические замечания, высказанные по этому поводу Кондорсе, представляют собой замечательный пример этого.

"Существуют определенные идеи единообразия, - говорит Монтескье, - которые иногда овладевают великими умами (ведь они касались Карла Великого), но неизменно поражают малые умы. Они находят в них некое совершенство, которое они признают, потому что его невозможно не видеть; одинаковые весы в полицейских делах, одинаковые меры в торговле,

одинаковые законы в государстве, одинаковая религия во всех его частях. Но всегда ли это желательно без исключений? Всегда ли зло перемен меньше, чем зло страданий? И не заключается ли величие гения в том, чтобы знать, в каком случае необходимо единообразие, а в каком - различие? В Китае китайцы управляются по китайским церемониям, а татары - по татарским; и тем не менее именно этот народ во всем мире более всего привержен спокойствию. Пока граждане подчиняются закону, какое значение имеет то, что все они будут подчиняться одному и тому же?"

Эта глава (вся она приведена выше, и в "Духе законов" она может сойти за одну из средних по объему), по словам Кондорсе, "одна из тех, что снискали Монтескье снисходительность всех предрассудков, всех, кто ненавидит интеллектуальный свет, всех защитников злоупотреблений и т. д.". Продолжив свои инвективы еще некоторое время, Кондорсе излагает суть своих аргументов следующим образом: "Поскольку истина, разум, справедливость, права людей, интересы собственности, свободы, безопасности везде одинаковы, мы не видим, почему все провинции одного государства или даже почему все государства не должны иметь одинаковые уголовные законы, одинаковые гражданские законы, одинаковые законы торговли и т. д. Хороший закон должен быть хорошим для всех людей, как истинное утверждение истинно для всех. Законы, которые кажутся различными для разных стран, либо касаются предметов, которые не должны регулироваться законами, как большинство торговых правил, либо основаны на предрассудках и привычках, которые следует искоренить; и одно из лучших средств их уничтожения - перестать поддерживать их законами"[Сноска: Montesq., v. 412 (liv. xxix. c. 18). Condorcet, i. 377. Однако в другом месте Кондорсе говорит о Монтескье как о человеке, совершившем переворот в сознании людей в области права. D'Alembert, i. 64 (Condorcet's *Éloge de d'Alembert*). Руссо также учит, что все законы и институты не приспособлены ко всем народам, но это потому, что он считает большинство народов детскими или слабоумными].

В этих двух отрывках мы видим, что вопрос между Монтескье и философской партией вполне решен. Только он один из великих французов своего века признавал огромную сложность человеческой жизни и человеческих дел. Не отрицая существования основополагающих принципов справедливости, он видел, что эти принципы трудно сформулировать по-настоящему, еще труднее их разумно применить. Для их применения он предложил множество ценных предложений. Они были утеряны в спешке и суете приближающейся революции. Превосходная простота ума, способная игнорировать разнообразие человеческой природы, была, возможно, необходима для искоренения старых злоупотреблений. Но деликатная задача создания постоянного правительства не может быть успешной, если не учитывать как различия, так и сходства между людьми.

## ГЛАВА XI.

### ПАРИЖ.

Представители Третьего сословия различались между собой гораздо больше, чем представители духовенства или дворянства. В это сословие входили богатый банкир и нищий у его ворот, ученый энциклопедист и водонос, не умеющий выговорить свое имя. К Третьему сословию принадлежал каждый мирянин, не принадлежащий к благородной крови. И хотя это был непривилегированный орден, внутри него существовали привилегированные организации и привилегированные лица. Корпорации, гильдии, города и целые провинции обладали правами, отличными от прав остальной части страны.

В царствование Людовика XVI город Париж занимал в мире положение, еще более выдающееся, чем то, которое он занимает сегодня. Ведь тогда Франция была неоспоримо

первой европейской державой, а Париж был тогда, как и сейчас, не только столицей и метрополией, но и сердцем и центром жизни Франции. Население, по разным оценкам, составляло от шести до девятисот тысяч человек. Город увеличивался в размерах, постоянно возводились новые дома. Временами во время этого правления строилось так много, что каменщики работали по ночам, получая двойную зарплату. Архитекторы и мастера-каменщики богатели, а арендная плата была высокой по сравнению с другими местами. Чужестранцы и провинциалы стекались в Париж на зиму и возвращались в страну во время прекрасного сезона. Сентименталисты читали труды Руссо и восхваляли деревенскую жизнь, но тогда, как и сейчас, мало кто из тех, кто мог позволить себе оставаться в городе и однажды попал под его очарование, стремился постоянно жить за городом.[Сноска: Mercier, iv. 205, vii. 190. Babeau, Paris en 1789, 27].

Общественные здания и сады были достойны первого города Европы. С некоторыми из них знакомы и сегодняшние путешественники. Большая часть примечательных церквей, которые стоят сейчас, существовала до революции. Из дворцов, находившихся тогда в городе, три самых известных встретили разную судьбу. Люксембургский, который был резиденцией старшего брата короля, изменился меньше всего. К самому зданию были сделаны лишь небольшие дополнения. Его сад был и остается тихим, упорядоченным местом, где в тени сидят респектабельные семьи. Лувр был значительно расширен. При Людовике XVI он состоял из зданий, окружающих восточный двор, крыла, выходящего к реке (галерея Аполлона), и длинной галереи, которая была перестроена, проходящей у берега реки и соединяющей этот старый дворец с Тюильри. Примерно половина пространства, ныне заключенного между двумя сторонами огромного здания и известного как площадь Каррузель, в то время была покрыта домами и улицами. Территория к востоку от дворца Тюильри не была застроена, но часть ее была огорожена высокими железными перилами. Такие перила, либо оригинальные, либо их преемники, можно было увидеть на том же месте до недавнего времени, и, возможно, они сохранились до наших дней. Площадь дю Каррузель, как она тогда существовала без этих перил, представляла собой площадь умеренного размера, окруженную домами.

Сам дворец Тюильри имел богатую событиями историю с момента вступления на престол Людовика XVI, и только в последние годы был полностью сметен с лица земли. Но сады, носящие его имя, мало изменились. Как и тогда, так и сейчас вдоль их сторон тянутся длинные приподнятые террасы, хотя улицы Риволи не было, а единственный доступ к садам с северной стороны осуществлялся по двум или трем улицам или переулкам от улицы Сент-Оноре. Внутри сада широкие солнечные аллеи и тенистые каштаны располагались так же, как и сейчас. Хорошо одетые люди прогуливались или сидели под деревьями, а немая толпа допускалась только на два-три праздника в год. Вследствие этого исключения жены респектабельных горожан приходили без присмотра подышать воздухом в садах. Их привозили в креслах-седлах, из которых они выходили у ворот. На месте нынешней площади Согласия была площадь Луи Кинза с конной статуей этого "любимого" монарха, на которой стоит обелиск. Недалеко от пьедестала этой опрокинутой статуи, недалеко от входа на улицу, называемую Королевской, недалеко от места, где многие люди были задавлены насмерть толпой, собравшейся посмотреть фейерверк в честь бракосочетания дофина и принцессы Марии-Антуанетты Австрийской, стоял эшафот, на котором дофин и принцесса, достигнув вершины земного великолепия, должны были расплатиться за свои собственные грехи и слабости, а также за грехи своей страны.

К западу от площади шли Елисейские поля, все еще несколько неухоженные, но уже тогда на них сидели на стульях люди, чтобы понаблюдать за проезжающими каретами, как и сейчас в

любой прекрасный полдень. Бульвары протянулись по всему городу в тени и были модным местом для прогулок и поездок, рядом с которыми росли и процветали небольшие театры, избежавшие монополии Оперы и Франсе. Но бульвары были почти единственными широкими улицами. Эти бесконечные прямые проспекты, которые даже блеск и движение Парижа вряд ли могут сделать чем-то утомительным, еще не были прорублены. Улицы были узкими и тенистыми; большинство из них были не очень длинными и математически прямыми, но придерживались общего направления и то тут, то там расширялись, превращаясь в маленькую площадь перед церковными дверями, или изгибались, следуя неровностям местности. Такие улицы не соответствовали вкусу эпохи и вызывали недовольство прогрессивных людей Парижа. Руссо, видевший Турин, был разочарован французской столицей. По прибытии он увидел лишь маленькие, грязные и вонючие улицы, уродливые черные дома, нищету, нищих и рабочий люд; впечатление, произведенное таким образом, никогда полностью не изгладилось из его памяти, несмотря на великолепие, которое он узнал в более позднее время. Юнг считал, что Париж нельзя сравнивать с Лондоном, а Томас Джефферсон писал, что последний, хотя и красивее Парижа, не так красив, как Филадельфия. Но парижанину вполне нравились его неровные улицы. На них можно было увидеть прекрасные вещи. Хотя город был переполнен, во многих местах были сады, принадлежащие монастырям и даже частным лицам. А однажды во время прогулки можно было выйти на мост, где, если бы на нем не было домов, можно было бы вдохнуть свежий ветерок и посмотреть, как солнце скрывается за далекой деревней Шайо; ведь нигде оно не заходит так великолепно, как вдоль Сены[Сноска: *Paris à travers les ages*. Babeau, *Paris en 1789*. Cognel, 27, 74. Rousseau, xvii. 274 (*Confessions*, Part i. liv. iv.). Young, i. 60; Randall's *Jefferson*, i. 447].

Дома были высокими и темными, а улицы узкими и грязными. Воды было мало, а тратить ее не на что, так как большая часть города зависела от колодцев или от ведер, приносимых из Сены. О нехватке воды вряд ли стоило сожалеть, ведь сточных канав для отвода грязной воды было мало, а водостоки и так были переполнены. Он проходил по середине улицы, которая шла под уклон, а тротуаров не было. Когда шел дождь, сточная канава поднималась и переполнялась, и предприимчивые люди выходили с маленькими деревянными мостиками на колесиках, просовывали их между каретами и давали быстроногим пешеходам возможность перебраться через поток, если они не поскользнулись на мокрой доске; а хорошенькая женщина иногда доверяла себя рукам грузного носильщика[Сноска: См. гравюру в Fournel, 539, после Гранье. Кондукторы вошли в обиход еще до революции. *Encyc. meth. Jurisp.*, x. 716]. В домах были водостоки вдоль карнизов, но не было проводников, спускающихся по стенам, поэтому вода с крыш собиралась и спускалась через каждые несколько ярдов потоком, разрывая зонтики, заливая плащи и шляпы. Навоз, рассыпанный перед дверями больниц, чтобы заглушить стук колес, вымывался на улицу и добавлял разрушительные свойства, которые и без того были характерны для парижской грязи. Исключительно обильный снегопад полностью выходил из-под контроля властей, заполняя улицы из стороны в сторону лужами слякоти, в которых, как известно, тонули упавшие лошади. Когда солнце снова светило, все было оживленно, как прежде; бесчисленные автомобили заполнили улицы от стены до стены, их огромные ступицы выходили далеко за пределы колес и грозили разорвать пешехода, когда он прижимался к дому. Кареты знати прорывались сквозь толпу, водители окликали их, чтобы освободить место; теперь их редко сопровождали бегуны в великолепных ливреях, как это было принято при прежнем правлении, но иногда впереди проносились одна или две огромные собаки, и парижане жаловались, что их сначала сбивали с ног собаки, а потом переезжали колеса. Временами появлялись уличные уборщики, которые подметали грязь и увозили ее, предварительно изрядно забрызгав одежду всех, кто проходил рядом с ними. На некоторых улицах стояли

скотобойни, и перепуганный скот время от времени пробирался в соседние лавки. Вывески весело раскачивались над головой. Они привлекали самый невнимательный взгляд: часто это были гигантские сапоги, или мечи, или перчатки, обозначающие то, что продавалось внутри; а если это были слова, то они могли быть написаны с ошибками и таким образом приспособлены к грубому пониманию. На стенах висели большие плакаты с рекламой театров. Уличные музыканты играли на своих инструментах. Певцы баллад рассказывали о последнем великом преступлении. Среди всего этого шума проворный горожанин, для которого ходьба была искусством, осторожно выбирал дорогу в низких туфлях и белых шелковых чулках, надеясь избежать необходимости обращаться к услугам людей с щеткой для одежды и чернилами, которые поджидали на углах улиц[Сноска: Mercier, xii. 71, i. 107, 123, 215, 216. Young, i. 76. В 1761 году вывески на главных улицах были уменьшены до трех футов. Позже было приказано устанавливать их вровень со стенами. Babeau, *Paris*, 42; но см. Mercier. Впервые названия на углах улиц появились в 1728 году. Babeau, *Paris*, 43. Franklin, *L'Hygiène*].

Они представляли собой прекрасное зрелище, эти жители Парижа, до того как мужская половина мира приняла, даже в часы игры, черно-серую ливрею труда. Парижане последней половины правления короля Людовика XVI отличались простотой в одежде, но не мрачностью. Считалось, что шляпа с петухом навсегда вытеснила менее изящную круглую шляпу. Ее смело надевали на собственные волосы, которые пудрили и завязывали сзади черной лентой. Для пальто в моде были полосы, светло-голубые и розовые или других ярких цветов. Жилет и бриджи могли быть бледно-желтыми, с розовыми переплетами и голубыми пуговицами; подвязки и чулки белых чулок - голубыми; туфли - черными, с простыми стальными пряжками. Это был бы подходящий костюм для улицы; хотя многие люди носили придворный траур из экономии и забывали снять его, когда происходил суд. Красивая табакерка, которую часто меняли, и кольцо были частью костюма хорошо одетого человека; и было принято носить двое часов, вероятно, из-за чрезмерного стремления к симметрии; в то время как сатирик намекает, что чистые кружевные манжеты иногда пришивали к грязной рубашке[Сноска: Babeau, *Paris*, 214. Таблицы мод в различных книгах. В 1789 году в качестве вечернего платья стали появляться костюмы черного цвета. На улице джентльмены стали одеваться как конюхи, подражая англичанам. Шпагу все еще иногда носили даже высшие слуги, но трость быстро вытесняла ее. Женщины также носили трости, которые помогали им ходить в туфлях на высоком каблуке. Мерсье, xi. 229, i. 293.]

Костюм джентльменов в это царствование был столь же изящным по форме, как и любой другой, который носили в современной Европе. Пальто и жилет были довольно длинными и повторяли линии лица; узкие бриджи сходились с длинными чулками чуть ниже колена, выгодно демонстрируя фигуру. Женское платье, напротив, было жестким, гротескным и некрасивым; талии носили очень длинными, а обручи - большими и жесткими. Но самым заметным было огромное сооружение, которое почти все время правления возвышалось над головами дам. Поскольку его высота варьировалась от одного до трех футов, а конструкция была весьма замысловатой, его не часто удавалось снять. Для его сооружения требовалось немалое мастерство, и бедные девушки иногда могли заработать на жизнь, сдавая свои головы на почасовую практику неуклюжим подмастерьям цирюльника. Одно время в моду вошли рыжие волосы, которые имитировали с помощью красной пудры. Цвета для одежды менялись с изобретением миллинеров, а в Париже уже возникла привычка давать гротескные названия новым цветам. Около 1782 года "блошинные спины и животы", "гусиный помет" и "парижская грязь" стали последней новинкой. Шапки "а-ля Бостон" и "а-ля

Филадельфия" вышли из употребления. Вместо модных табличек, которыми Париж с тех пор снабжает весь мир, но которые при Людовике XVI только входили в обиход, кукол одевали по последнему слову моды у мельничихи и отправляли в Лондон, Берлин и Вену[Сноска: Franklin, *Les soins de toilette*. Mercier, viii. 295, ii. 197, 198, 213].

Одежда простых людей была более яркой и разнообразной, чем в наше время, но, вероятно, менее опрятной. Чистота лица никогда не была главной добродетелью среди французской бедноты. Несмотря на то, что на реке имелись тщательно продуманные купальни, значительная часть людей едва ли знала, что такое мыться[Сноска: Но Янг говорит: "В отношении чистоты я думаю, что заслуга двух наций разделилась; французы чище в своих лицах, а англичане в своих домах". Young, i. 291. Все приведенное там сравнение французских и английских обычаев очень интересно]. Сентиментальные молочницы Грёза не более похожи на загорелых и морщинистых женщин, продававших молоко на улицах Парижа, чем придворные пастушки Ватто и Буше на грубых крестьян, пасших овец на горах Юра. Но парижский кокни любил наряжаться и скорее уморил бы голодом свой желудок, чем спину. В лавках мельников, где хорошенькие швеи целыми днями сидели за шитьем на виду у улицы, напоминая парижанам о сералах, никогда не пустовали те, у кого были деньги, чтобы их тратить. Для более скромных кошельков женщины, сидевшие под зонтиками перед колоннадой Лувра, торговали ненужной одеждой; в воскресенье на набережных работали киоски, а в понедельник - ярмарка на площади Гreve.[Сноска: Mercier, viii. 269, ix. 294, v. 281, ii. 267].

О наших временах иногда говорят, что богатые стали богаче, а бедные беднее, чем в прежние времена. Я считаю, что это совершенно не так, и что во второй половине XIX века меньшая часть жителей цивилизованных стран страдает от голода и холода, чем когда-либо прежде. Какими бы ни были цифры, с помощью которых подсчитываются состояния, несомненно, что видимая разница между богатыми и бедными была больше в царствование Людовика XVI, чем в наше время[Сноска: Мерсье упоминает состояния от 100 000 до 900 000 ливров дохода и говорит о первом как об обычном, i. 172. Между тем клерки получали от 800 до 1500 ливров и даже меньше. Те, у кого было 1200, носили бархатные плащи, ii. 118]. Несмотря на моду на простоту, которая была одним из увлечений тех дней, придворный все еще иногда сверкал парчой. Его ливрейные слуги ждали у дверей. Его лакеи забирались за карету и будили тускло освещенные улицы отблесками своих факелов, когда тяжелая машина увозила его домой после ужина и карточного стола. Роскошь больших домов была относительно дороже. Блюдо из раннего гороха могло стоить шестьсот франков. Шесть различных чиновников (слово менее достойное вряд ли подошло бы для обозначения важности вопроса) отвечали за приготовление еды и напитков его светлости и издевались над многочисленным штатом прислуги, кухонных мальчиков и скоморохов. В доме был мэтр, или эконо́м, который занимался закупками и хранением продуктов; главный повар, готовивший супы, закуски, *антре* и *антреме*; кондитер, отвечавший за печь; жаровщик, который откармливал птицу и обкладывал салом мясо, прежде чем поставить вертел в колесо; итальянский кондитер для сладких блюд; дворецкий, присматривавший за вином. Хлеб обычно привозили из пекарни, даже в большие дома, и расплачивались за него, ведя счет с помощью зарубок на палочке. Выпечка была важным ремеслом в Париже, и во времена дефицита пекарям предоставлялась первая возможность купить древесину. Что касается деликатесов, то в отеле д'Алигр на улице Сент-Оноре был большой магазин, "знаменитый храм чревоугодия", где трюфели из Перигора, куропатки в горшках из Нерака и карпы из Страсбурга лежали рядом с финиками, инжиром и горшочками с апельсиновым желе, и где иностранец из-за Рейна или Альп мог найти свою собственную квашеную капусту или макароны.[Сноска: Mercier, x. 208, xi. 229, 346, xii. 243].

За столами богачей было принято принимать много гостей; не современным способом, приглашая людей в определенный день и час, а по общему приглашению. Хозяин открывал свой дом два-три раза в неделю для ужина или обеда, и любой, кто был однажды приглашен, всегда мог заглянуть к нему. Так возник класс прилично одетых людей, которые имели привычку ежедневно ужинать за счет своих знакомых. После ужина было принято ускользать; хозяйка через стол обращалась к удаляющемуся гостю с вежливой фразой, который отвечал ей одним словом[Сноска: Mercier, i. 176, ii. 225. *La Robe dine, La finance souvre*. Мерсье рассказывает, что человек, который целый год не появлялся в доме, где его однажды приняли, должен был представляться снова и приводить какие-то оправдания, например, что он путешествовал и т. д. Хозяйка делала вид, что верит]. Разумеется, лишь небольшая часть жителей Парижа ела за столами богачей. Рацион средних слоев был гораздо менее изысканным, но, как правило, один или два раза в день в него входило мясо. Рынки были грязными, а рыба - дорогой и плохой. Пошлины, которые взимались при въезде в город, повышали цены на продукты и вино, которое французы считают столь же необходимым. Провизию обычно покупали в очень небольших количествах, меньше фунта сахара за раз. Домой приносили столько, чтобы хватило только на один прием пищи, в клочке печатной бумаги или старом письме. Неудачные книги, таким образом, находили свое применение у бакалейщика. Перед обедом покупался запас на ужин, перед ужином - на ужин. После еды ничего не оставалось. Более бедные горожане несли свои обеды печься в поварские мастерские и экономили на цене дров. У низших классов мясо мелко рубили и упаковывали в сосиски, как это до сих пор делается в Германии, - экономичная мера, позволяющая скрыть многие недостатки и не потерять ни клочка[Сноска: Ibid., i. 219, xii. 128].

Употребление кофе стало всеобщим. Его продавали на улицах по два су за чашку, включая молоко и немного сахара. Пока богатые пили пунш и ели лед, бедняки утоляли жажду лакричной водой, набранной из блестящего цилиндра, который человек носил на спине. Чашки были прикреплены к этому странствующему фонтану длинными цепями и могли быть сорваны с жаждущих губ в толпе любым, кто проходил между пьющим и продавцом воды.[Сноска: Mercier, viii. 270, n., iv. 154, xii. 296, v. 310. См. таблички в Fournel, 509, 516].

Для самых бедных существовала подержанная еда, отвергнутые объедки богачей. В Париже они были достаточно отвратительны; но в Версале, где жили король и принцы, даже люди с хорошим достатком не гнушались покупать блюда, которые нетронутыми уносили с королевского стола. Возле птичьего рынка в Париже на огне всегда висел большой котел, в котором варились каплуны; вы покупали вареную птицу с ее бульоном - пикантное блюдо. В целом разнообразие пищи увеличивалось. За сорок лет количество используемых сортов овощей и фруктов почти удвоилось[Сноска: Ibid., v. 85, 249. Genlis, *Dictionnaire des Étiquettes*, ii. 40, n., цитируя Бюффона. На Центральном рынке Парижа до сих пор продаются объедки].

Население делилось на множество отдельных классов, но между ними было много общения, и способным и амбициозным людям было очень трудно подняться в мире. Финансисты стали богатыми и влиятельными, но к ним относились с завистью. В аристократическом государстве дворяне считают неправильным, чтобы у кого-то было столько же денег, сколько у них самих. В этом нет ничего странного; но еще более примечательно, что простые люди в целом придерживаются того же мнения, и что в то время как на изобилие великого дворянина смотрят не более чем на либеральность, соответствующую его положению, экстравагантность простого денежного человека осуждается и высмеивается. Во Франции эта тенденция усилилась из-за того, что многие из самых больших состояний были сделаны крестьянами, получавшими доход, которых ненавидели как мытарей даже больше, чем завидовали как богачей. Тем не менее один финансист, Неккер, хотя и иностранного

происхождения, был, пожалуй, самым популярным человеком во Франции во время этого царствования, и не последнюю роль в глупости или несчастье Людовика сыграло то, что он не смог заставить себя разделить восхищение своего народа своим генеральным директором казначейства.

Меркантильный класс в Париже не занимал высокого положения. Купец был слишком похож на лавочника, а лавочник был слишком похож на торгаша. Самая незначительная продажа требовала длительного торга. Возможно, отчасти это объясняется тем восхитительным фактом, что жена обычно объединялась с мужем в управлении магазином. Обычное право Парижа благоприятствовало имущественным правам замужних женщин, и последние были связаны со своими мужьями в торговле и советовались с ними во всех делах. Этот обычай до сих пор сохранился во Франции. Он способствует сближению мужа и жены, объединяя их занятия и интересы. К сожалению, она также приводит к пренебрежению детьми, особенно в младенчестве, когда их требования очень высоки. Поэтому француженка из среднего класса в некоторых отношениях больше жена и меньше мать, чем соответствующая англосаксонка. Младенцы, даже у людей с весьма скромным достатком, обычно отправлялись из Парижа в деревню, чтобы их выхаживали. На более поздних этапах жизни девочки постоянно находились при матери, за ними наблюдали и охраняли с такой заботой, о которой мы не имеем ни малейшего представления. Мальчиков же гораздо чаще отделяли от родителей и оставляли на попечение школьных учителей. Ни мальчикам, ни девочкам не доверяли и не позволяли приобретать самостоятельный опыт в той мере, в какой мы считаем это желательным.[Сноска: Mercier, i. 53, v. 231, ix. 173, vi. 325].

Браки обычно оставлялись на усмотрение родителей, за исключением самых низких классов; и родители слишком часто руководствовались скорее материальными, чем личными соображениями при выборе жен и мужей для своих сыновей и дочерей. Такая система брака казалась бы невыносимой, если бы мы не знали, что ее переносит и одобряет большая часть человечества. Возможно, что главное возражение против нее кроется не столько в отсутствии привязанности между женатыми людьми, которая, как можно предположить, является ее естественным результатом, сколько в ослаблении чувства верности. В Англии и Америке считается позорным нарушить договор, который обе стороны заключили добровольно, с открытыми глазами; и это чувство значительно усиливает другие мотивы верности. И хотя во Франции, если верить рассказам французских писателей, богатый и праздный класс всегда был полон супружеской неверности, в мире, пожалуй, нет людей более сплоченных, чем мужья и жены французского низшего и среднего классов. Работая бок о бок всю неделю с неутомимой работоспособностью, ведя экономный, но не скудный образ жизни, они вместе ищут невинных удовольствий по воскресеньям и праздникам. Все окрестности Парижа оживлены их непристойным весельем, которое они разделяют так же свободно, как и труд, которым оно было заработано. Буйство спорта, в котором мужчин не сопровождают женщины, концентрированная вульгарность летнего пансиона, где женщины живут отдельно от мужчин из своих семей, почти одинаково неизвестны во Франции. Во второй половине XVIII века многие парижские мещане владели небольшими виллами в пригородах, куда по воскресеньям уезжали всей семьей, иногда прихватывая с собой мальчика из магазина в качестве особой милости. Простой народ также можно было встретить в большом количестве в пригородных деревнях, таких как Пасси, Автей или в Булонском лесу, танцующим на зелени; хотя в правление Людовика XVI. говорят, что они были менее веселыми, чем раньше.[Сноска: Mercier, in. 143, iv. 162, xii. 101].

Художники, ремесленники и подмастерья, в разных своих степенях, составляли классы большой важности, ибо Париж славился многими видами производства, и особенно теми,

которые требовали хорошего вкуса. Однако было замечено, что из-за сокращения власти торговых гильдий и, как следствие, роста конкуренции французские товары теряют в качестве, а дешевеют, так что говорили, что мастерство в Париже становится менее тщательным, чем в Лондоне.

Парижская полиция уже отличалась своей эффективностью. Жители столицы Франции жили в безопасности в своих домах или свободно выезжали за город, в то время как жители Лондона подвергались опасности быть остановленными разбойниками на пригородных дорогах или ограбленными ночью взломщиками домов в городе. Кроме того, парижане долгое время были необычайно свободны от беспорядков и за более чем столетие не видели ни одного серьезного, в то время как Лондон был напуган, а в 1780 году во время бунта Гордона было уничтожено много имущества. Несмотря на предчувствия некоторых пессимистов, люди ожидали не великой революции, а скорее социальных и экономических реформ. Считалось, что силы подавления слишком сильны для сил восстания. В конце концов, крах наступил не из-за неудач обычной полиции, а из-за деморализации в центре власти и в армии. Пока Людовик царил в Версале, управление Парижем продолжалось эффективно. Поддерживалась переписка с полицией других городов. Преступники и подозреваемые, арестованные, могли быть осуждены по упрощенной процедуре. Генерал-лейтенант полиции мог по своему усмотрению наказывать без огласки. Самые скандальные преступления систематически скрывались от общественности; этот процесс был более благоприятен для морали, чем для гражданской свободы. Для преступных слоев Парижа произвольное заключение в тюрьму было общей судьбой, и неблагоприятные мужчины и женщины попадали в банды[Сноска: Mercier, vi. 206. Monier, 396].

В конечном счете ответственность за произвольный арест затрагивала жизнь лишь небольшой части горожан. Для большинства парижан гораздо важнее было, чтобы улицы были безопасны днем и ночью; чтобы были пожарные машины и монахи-капуцины обучались ими пользоваться, а солдаты спешили на пожар и заставляли всех трудоспособных мужчин нести ведра; чтобы мелкие гражданские дела решались быстро и справедливо[Сноска: Mercier, i. 197, 210, ix. 220, xii. 162 (*Jurisdiction consulaire*)].

Рост гуманных идей, характерный для эпохи, в это царствование начал затрагивать больницы и богадельни, а также тюрьмы, и уменьшать их ужасы. В Hotel Dieu, самой большой больнице Парижа, на одной грязной койке иногда помещалось шесть пациентов. И все же даже там произошли некоторые улучшения. И хотя Говард считал эту больницу позором Парижа, он обнаружил в городе множество других благотворительных фондов, которые делали ей честь. Здесь, как и везде, не было единообразия.[Сноска: Mercier, vii. 7, iii. 225. Howard, *State of the Prisons*, 176, 177. Babeau, *La Ville*, 435. Коньель, 88. Ужасное описание отеля "Дье", написанное в 1788 году членом Академии наук Теноном, приведено в A. Franklin, *L'Hygiène*, 181].

В медицинской профессии обычные врачи стояли гораздо выше хирургов, многие из которых были учениками парикмахеров; но, по-видимому, наука хирургии преподавалась лучше и действительно находилась в более продвинутом состоянии, чем медицина. В школе хирургии обучалось более восьмисот студентов. В медицине прививки медленно пробивали себе дорогу, но к ним прибегали только представители высших классов. Чрезмерные кровопускания и чистки выходили из моды, но бедняки все еще пользовались услугами шарлатанов или глотали грубые лекарства, которые бакалейщики продавали дешевле, чем обычные аптекари, или полагались на универсальное средство низших классов Парижа - сердечный напиток из черной смородины[Сноска: Он назывался "*Kassuc*". Mercier, xii. 126, vii. 126].

Рядом с Отелем Дье находился приют для подкидышей, куда их привозили не только из Парижа, но и из дальних городов, и откуда их отправляли выхаживать в деревню. В Париж их привозили туго замотанными в пеленки, маленькими плачущими комочками, упакованными по трое в ватные ящики, которые несли на спинах мужчины. Привычка свободно одевать детей, рекомендованная Руссо, еще не дошла до бедняков, как и привычка кормить младенцев грудью их собственных матерей, которую он также стремился внедрить, была быстро оставлена богатыми. Смертность среди подкидышей была велика, так как за время пребывания в приюте в одной палате иногда содержалось двести таких детей[Сноска: Mercier, iii. 239, viii. 188. Коньель нашел приют очень чистым. Cognel, 87].

Хотя по мере приближения Революции наблюдался некоторый спад религиозного пыла, церковные обряды по-прежнему были заметны во всем своем великолепии. В праздник Тела Христова длинная процессия проходила по улицам, где двери и окна были увешаны коврами и гобеленами. Камвольные картины, правда, были приспособлены скорее для декоративных, чем для благочестивых целей, и слишком щепетильные люди могли быть шокированы, увидев Европу на быке или Психею, любующуюся спящим Купидоном, на пути религиозной процессии. Впрочем, на такие аномалии можно было не обращать внимания. Вокруг святого воинства собирались сановники государства и города в своих официальных одеждах, возглавляемые жрецами, которые в этот день, казалось, командовали городом. Говорят, что в некоторых случаях великие лорды довольствовались тем, что посылали своих слуг с печенками представлять их. Солдаты составляли эскорт. Толпа на улице падала на колени, когда процессия проходила мимо. Цветы, благовония, музыка, верующие, стоящие лбом в пыли, - все это придавало сцене живописность. Через неделю церемония была повторена с почти такой же пышностью. В следующее воскресенье в северных пригородах прошла еще одна процессия. Обнаженные мальчики, ведущие ягнят, представляли святого Иоанна Крестителя; восьмилетние магдалины, идущие рядом со своими сестрами, плакали о своих грехах; ученики школы Святого Сердца шли с опущенными глазами. Святыню несли под помостом, за шнуры которого держались уважаемые горожане, в сопровождении сорока швейцарских гвардейцев. Сто пятьдесят кадильниц качали ладан в воздухе. Дипломатический корпус наблюдал за процессией с балкона венецианского посла, даже протестанты кланялись или преклоняли колени вместе с остальными. [Сноска: Mercier, iii. 78. Cognel, 101].

Время от времени, в течение года, эти великие церемонии возобновлялись либо в обычный день, либо по случаю. 3 июля швейцарца с улицы Нашей публично несли в процессии. Существовала легенда, что однажды швейцарский солдат-протестант ударил мечом статую Святой Девы на углу этой улицы, и из раненого образа потекла кровь. Поэтому в годовщину этого преступления по городу носили плетеную фигуру, которая с диковинной смесью благочестия и веселья прикладывалась ко всем святым образам на углах улиц. Первоначально она была одета как швейцарец, но жители Швейцарии, которых в Париже было много и они были полезны, запротестовали против обычая, который мог вызвать их презрение; и тогда гротескный великан был одет в парик и длинное пальто, с деревянным кинжалом, выкрашенным в красный цвет, в руке. Грамматик Дю Марсе однажды попал в беду по случаю этой процессии. Он шел по улице, когда одна женщина толкнула локтем другую, пытаясь подойти к статуе. "Если вы хотите помолиться, - сказала женщина, которую толкнули, - встаньте на колени там, где вы находитесь; Пресвятая Дева - она везде". Дю Марсэ был настолько неосторожен, что вмешался. Будучи грамматиком, он, вероятно, был склонен к спорам. "Моя добрая женщина, - сказал он, - вы говорите ересь. Только Бог есть везде, а не Дева". Женщина повернулась к нему и воскликнула: "Видите этого старого негодяя, этого гугенота, этого кальвиниста, который говорит, что Пресвятая Дева не везде!"

После этого на дю Марсе напала толпа, и он был вынужден укрыться в доме, откуда его спасла стража, которая держала его в заточении для собственной безопасности до наступления ночи[Сноска: Mercier, iv. 97. Фурнель, 176. Это шествие было упразднено по приказу полиции 27 июня 1789 года. Фурнель, 177].

В качестве примера случайной процессии можно привести октябрь 1785 года, когда триста тринадцать пленников, выкупленных из рабства у алжирцев, в течение трех дней с большой помпой водили по улицам братья из ордена Искупления. Каждого пленника вели два ангела, к которым он был привязан красными и синими лентами, а ангелы несли свитки, украшенные гербами орденов. Как обычно, демонстрировались знамена и кресты, стражники и полицейские, звучали музыкальные оркестры и возлагались пальмовые ветви. Долгий поход требовал частых возлияний, которые предлагали верующие, и говорят, что многие из пленников и некоторые из профессионально религиозных людей слишком вольно себя вели. Пьяный ангел, должно быть, представлял собой невеселое зрелище. Целью этой процессии было собрать деньги, чтобы выкупить из рабства больше пленников, поскольку барбарийские пираты все еще позволяли европейским державам грабить торговлю в Средиземноморье и похищать христианских моряков[Сноска: Bachaumont, xxx. 24. Сравните Lesage, i. 347 (*Le diable boiteux*, ch. xix). О процессии людей, освобожденных из тюрьмы благодаря благотворительности за то, что они не платили своим мокрым сиделкам, см. Mercier, xii. 85].

Религиозный дух народа проявлялся не только в больших праздниках. По воскресеньям все лавки закрывались, и простые люди слушали хотя бы утреннюю мессу, хотя к вечерне относились все более небрежно. Каждую весну в течение двух недель после Пасхи наблюдалось большое оживление религиозных обрядов, церкви и исповедальни были переполнены. Но в течение всего года на улицах Парижа можно было встретить одну скромную процессию. Бедный священник в поношенной рясе благоговейно несет Святыню под старым грязным навесом. Впереди шествует священник с пономарем, который звонит в колокол, при звуке которого прохожие преклоняют колени, а такси и кареты останавливаются. Людовик XV однажды встретил "Доброго Бога", как благочестиво называли евхаристическую облатку, и заслужил недолгую популярность, опустившись на шелковые колени в грязь. Все желающие могут проследовать с виатикумом в покои умирающего. Дозор, если встретит процессию на обратном пути, сопровождает ее в церковь.[Сноска: *Ордонанс полиции Шатле о наблюдении за праздниками и торжествами от 18 ноября 1782 года*. Monin, 403.]

Давайте проследим за этим ранним утром и, расположившись под крыльцом, где разбитые статуи святых еще увенчаны увядшими цветами вчерашнего праздника, или побродив затем по улицам города, понаблюдаем за потоком жизни, который течет то сильнее, то мягче час от часу.

Сейчас семь часов. Рыночные садовники с пустыми корзинами бегут на своих усталых лошадях в сторону пригорода. Они уже снабдили рынки. Навстречу им попадают лишь ранние клерки, свежевыбритые и напудренные, спешащие в свои конторы. В девять город решительно просыпается. Молодые парикмахеры-хирурги ("whiting", как называют их парижане), с головы до ног обсыпанные пудрой для волос, несут в одной руке щипцы для завивки, в другой - парик, направляясь к домам своих клиентов. Официанты из лимонадных лавок разносят кофе и пирожные жильцам меблированных домов. На бульварах молодые денди, пораженные англоманией, неловко спорят со своими седельными лошадьми.

В десять адвокаты в черном и клиенты всех мастей стекаются на остров в реке, где находятся судебные инстанции. Дворец, как называют большое здание суда, представляет собой большую и внушительную громаду зданий, с прекрасными залами и крепкими тюрьмами, а также красивейшими готическими часовнями. Но коридоры загромождены лавками лоточников, торгующих канцелярскими принадлежностями, книгами и безделушками[Сноска: Mercier, vi. 72, iv. 146, ix. 171. Cognel, 41].

На улице Нёв де Пти Шамп разыгрывают королевскую лотерею. На платформе появляется генеральный лейтенант полиции в сопровождении нескольких офицеров. Рядом с ним находится колесо фортуны. Колесо вращается, останавливается, и мальчик с завязанными глазами просовывает руку в отверстие колеса и вытаскивает билет, который передает чиновнику. Тот открывает его, держа перед собой, чтобы отвести подозрение в нечестной игре. Билет вывешивается на доску, и мальчик вытаскивает еще один. Толпа сначала шумна и возбуждена, а затем мрачна и уныла, поскольку все шансы исчерпаны.

Полдень - время наибольшей активности на бирже, когда ленивые люди слоняются вокруг Пале-Рояля, чьи сады являются центром новостей и сплетен. В прихожих банкиров и чиновников толпятся озабоченные клиенты. В два часа улицы заполняются обедающими, и все кэбы оказываются заняты. Это тяжелые и неуклюжие машины, грязные внутри и снаружи, а кучера - пьяные парни. В кабриолетах мчатся клерки и прислуга, а трезвые люди скандалят, видя женщин в этих легкомысленных автомобилях без сопровождения. "Они ездят в одиночку, парами!" - кричит одна из них, - "без мужчин. Можно подумать, они хотят сменить пол". Стиляги водят высокие английские "виски". Все забито телегами и повозками, с мешками, балками и бочками с вином. Для тех, кто хочет выехать за город, есть удобные дорожные фазтоны или дешевые и убогие *каррабасы*, в которых двадцать человек трясутся вместе, а скорость движения составляет всего две-три мили в час; в то время как по дороге в Версаль активные постиллионы, известные под названием *enragés*, довезут вас до королевского города и обратно, расстояние в двадцать миль, и дадут вам время вызвать государственного министра, и все это в течение трех часов.[Сноска: Mercier, vii. 114, 228, ix. 1, 266, xi. 17, xii. 253. Chérest, ii. 166].

Между половиной второго и тремя модные люди садятся ужинать, следуя таинственному закону своей природы, который заставляет их делать все на час или два позже, чем другие смертные. В четверть пятого улицы снова полны народом. Люди направляются в театр или едут кататься по бульварам, кофейни заполняются. С наступлением рассвета группы плотников и каменщиков, отряхивая извесь со своих тяжелых ботинок, тяжело продвигаются в сторону пригородов. В девять вечера люди идут ужинать, и на улицах царит беспорядок, больший, чем в любое другое время дня. Скандальные сцены, которые исчезли из современного Парижа, но которые все еще можно увидеть в Лондоне, в прошлом веке разрешались рано вечером; но задолго до полуночи полиция изгнала с улиц всех нарушителей порядка. В одиннадцать кофейни закрываются; город затихает, лишь время от времени его будят кареты богачей, возвращающихся домой после позднего ужина, или топот ночных животных шести тысяч крестьян, которые по ночам привозят в большой город овощи, фрукты и цветы[Сноска: Ibid., iv. 148].

## ГЛАВА XII.

### ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ГОРОДА.

Провинциальные города Франции при Людовике XVI только начинали приобретать современный вид. Построенные первоначально в стенах, их дома были высокими, а улицы - узкими, кривыми и грязными. Но в XVIII веке большинство стен было снесено, а на их месте

проложены общественные прогулки или дороги. Идея о том, что красота городов во многом заключается в ширине и прямоте их улиц, прочно закрепилась в общественном сознании. Эта идея, если и не воплощается в жизнь более полно, чем это может быть в старом городе, имеет много положительных сторон. До Французской революции широкие, пыльные, современные проспекты, по которым свободно проезжают люди и кареты, свободно проникают свет и воздух, но где нет ни тени от солнца, ни укрытия от ветра, начали вытеснять более прохладные и менее ветреные, но зловонные переулки, где находила приют оживленная жизнь Средних веков. Во многих городах были построены большие и внушительные общественные здания, выходящие на площади. С художественной тщательностью, присущей французскому уму, фасады окружающих частных домов были приведены в соответствие со стилем их более гордых соседей. Улицы освещались, хотя и довольно тускло; на углах их были написаны названия, а в некоторых случаях дома были пронумерованы.

Но такие новшества коснулись не каждого провинциального городка и не всех мест, в которые они попадали. Чаще всего старый облик улиц был мало изменен. Дома выпирали на узкую дорогу, имели всевозможные непонятные углы и закоулки. Витрины магазинов были не застеклены и затенялись только деревянным козырьком или верхней половиной ставней. Другая половина ставни могла быть опущена, образуя полку, с которой товары могли выходить на проезжую часть. Возле деревянной вывески, скрипевшей над головой, стояла статуя Девы Марии или святого. Заглянув в тускло освещенную лавку, можно было увидеть мастера, работающего над своим ремеслом, с подмастерьем и учеником. Повсюду сутились домохозяйки: то они спорили с покупателем у дверей лавки, то готовили обед или ругали краснощекую служанку на кухне[Сноска: Babeau, *La Ville*, 363. Там же, *Les Artisans*, 73, 82. Viollet le Duc, *Dict. d'Architecture (Boutique.)*].

Дом был шириной всего в одну комнату, но высотой в несколько этажей. Наверху находились покои и, возможно, гостиная. Даже среди людей со средним достатком входило в моду современное разделение комнат, а кровати изгонялись из кухонь и гостиных. Кроватей тоже было больше, а людей в каждой - меньше, чем в прежние годы. На стенах комнат краска и бумага заменяли гобелены, а светлые цвета, отличавшиеся яркостью и чистотой, вытесняли мягкие темные тона, грязь и паразитов[Сноска: Babeau, *Les Bourgeois*, 9, 19, 37].

Дома были тонко построены, двери и окна дребезжали в своих рамах. Комнаты в большей части Франции отапливались только открытым огнем, хотя печи из кирпича или глазурованной керамики были широко распространены в Швейцарии и Германии; дрова были скудны и дороги. В странах, где зима короткая и резкая, люди переносят ее с терпением, какое только возможно, вместо того, чтобы делать запас прочности, как это необходимо там, где холода более суровые и продолжительные. В доме носили более толстую одежду, чем при передвижении по улицам. Ватные тапочки защищали ноги от холода кирпичного пола, а старики сидели в креслах с высокими спинками, чтобы отгородиться от сквозняка, и подкладывали под ноги пуфики. Обморожения были и остаются постоянным раздражителем европейской зимы. Халат был в моде во Франции, как и в Америке, где мы часто видим его на портретах прошлого века. Подобные одеяния были в ходу еще в Средние века. Они относятся к холодным домам[Сноска: Babeau, *Les Artisans*, 123. В 1695 году вода и вино замерзли на королевском столе в Версале, *Les Bourgeois*, 23].

Одежда рабочего класса, которая была очень яркой в эпоху Возрождения, стала мрачной в XVII веке, но вновь обрела яркость в XVIII. Горожане одевались в менее яркие цвета, чем деревенские крестьяне, но не дешевле, чем их средства. Уже исчезали социальные различия в костюме, и было замечено, что воскресного рабочего в черном пальто и

напудренными волосами можно было принять за магистрата, а жену богатого мещанина едва ли можно было отличить от дворянки[Сноска: Babeau, *Les Artisans*, 13, 199. Ручная работа была очень дешевой. Бабо приводит счет за черное платье стоимостью 210 ливров 15 су, из которых только 3 ливра ушло на изготовление; *Les Bourgeois*, 169 n.].

Бедные горожане, принадлежавшие к среднему классу, отличались большой бережливостью, но их жизнь не была лишена комфорта. Мы читаем о семье в небольшом городке Оверни до середины века, состоявшей из мужчины и его жены с большим количеством детей, матери жены, двух ее бабушек, трех теток и сестры, которые сидели за одним столом и жили на один скромный доход. Муж и отец имели небольшой бизнес, владели огородом и небольшой фермой. В саду выращивалось почти столько овощей, сколько хватало всей семье. Айва, яблоки и груши консервировались на зиму в меду. Женщины пряли шерсть собственных овец, а также лен со своего поля, который соседи помогали им полоть по вечерам. Из грецких орехов своих деревьев они выжимали масло для стола и для лампы. Большие каштаны варили для еды. Хлеб также делали из своего зерна, а вино - из своего винограда.

В провинциальных городах, среди людей с небольшим достатком, юношам и девушкам позволялась здоровая свобода. Там устраивались прогулки под луной и певческие вечеринки. Любовные связи, возникавшие в результате такого сближения молодых людей, оказывались не хуже других браков. Но в больших городах сватовство по-прежнему устраивали родители, и девушки воспитывались скорее для того, чтобы понравиться старшим, чем юношам, ведь именно старшие должны были найти им мужей[Сноска: Marmontel, i. 10, 51. Babeau, *Les Bourgeois*, 315].

Развлечения были простыми и рациональными в среде культурного среднего класса. Жители провинций не отказывались от любительской музыки и декламации, а мода петь песни за столом, которая выходила из моды в Париже, все еще сохранялась в небольших заведениях. В провинциальном обществе царил литературный колорит, который сегодня уже исчез. Люди писали стихи и приводили цитаты. Но это не мешало менее интеллектуальным удовольствиям. Игроки иногда проводили за карточным столом восемнадцать часов из двадцати четырех. Балы давались либо частными лицами, либо по подписке. Танцы начинались в шесть часов и продолжались до утра; ведь жители маленьких городов отдаются занятию или развлечению с такой основательностью, которую не допускает более торопливая столичная жизнь. На этих балах собиралась местная знать и высшие слои мещанского сословия, офицеры, магистраты, гражданские чиновники и их семьи, ведь социальное равенство во Франции набирало силу. Лавочники и адвокаты, как правило, довольствовались более спокойными развлечениями: экскурсиями за город, театрами, визитами и небольшими зваными вечерами. Танцы под открытым небом и уличные представления, в которых раньше принимали участие все сословия, теперь оставались уделом бедняков[Сноска: Babeau, *Les Bourgeois*, 209, 225, 241, 305].

Подмастерье иногда жил с хозяином, иногда имел собственную комнату в другой части города. Одевался он бедно, жил трудно, но, как правило, имел свое вино. Хлеб и овощи составляли основную часть его рациона, любимым блюдом были бобы. Заработная плата составляла в среднем около двадцати шести су в день для мужчин и пятнадцати для женщин; стоимость денег была, возможно, вдвое выше, чем сейчас, но в разных городах она сильно различалась. Часы работы были долгими. В провинциальных городах летом люди вставали в четыре утра и не прекращали работу до девяти вечера. Но это был разнообразный и неторопливый домашний труд, а не монотонная каторжная работа на большой фабрике. Кроме того, праздников было более чем достаточно, в среднем два в неделю в течение всего

года. Французские рабочие отмечали их песнями, танцами и вином, но пьянство и разгул были редкостью[Сноска: Babeau, *Les Artisans*, 21, 34. A. Young, i. 565].

Шансы рабочего подняться в своем ремесле были гораздо выше, чем сейчас. Подмастерьев было не в два раза больше, чем мастеров[Сноска: Babeau, *Les Artisans*, 63. Возможно, при Людовике XVI рабочих было больше. Мануфактуры становились все более масштабными. В Марселе на 65 мыловаренных фабриках работало 1000 человек; в 60 шляпных мастерских - 800 мужчин и 400 женщин. Jullian, i. 85. Но Марсель был большим городом. В более мелких местах старые домашние ремесла все еще сохраняли свои позиции]. Капитал, необходимый для открытия своего дела, был невелик, хотя пошлины были относительно велики; за лицензию нужно было платить полиции, а за прием - гильдиям.

Эти гильдии регулировали всю торговлю и производство в стране. Они обладали строгой монополией, и ни одному человеку не разрешалось заниматься каким-либо ремеслом в качестве мастера, не будучи членом одной из них. Гильдии постоянно враждовали между собой. Так, сапожники постоянно жаловались на сапожников, что последние продают новую обувь, а также подержанную, что противоречит высоким привилегиям корпорации сапожников. Иногда в дело вмешивались гражданские власти. Так, парижские отделочники, имеющие право делать шелковые пуговицы, добились принятия постановления, запрещающего носить пуговицы из той же ткани, что и пальто, а также пуговицы, отлитые, выточенные или сделанные из рога.

В гильдиях существовали и другие правила, регулирующие производство. Количество нитей на дюйм в ткани различных наименований и видов было строго регламентировано. Новые изобретения с трудом пробивали себе дорогу в борьбе с правами, закрепленными за этими корпорациями. Так, Ле Прево, придумавший использовать шелк для изготовления шляп, подвергался всевозможным нападкам со стороны других шляпников, которые говорили, что он нарушает их привилегии; но он преодолел их настойчивостью и в конце концов сколотил большое состояние. Правила служили для поддержания стандартов качества в производстве, которые, вероятно, в некоторой степени упали после их отмены. Часто они создавались в интересах мастеров за счет рабочих, которые, в свою очередь, создавали тайные объединения, борясь с ними теми же методами, что и современные профсоюзы. Так, в 1783 году подмастерья-бумажники ввели систему штрафов для своих мастеров, которые они обеспечивали, массово дезертируя со службы тех, кто им сопротивлялся[Сноска: Babeau, *Les Artisans*, 51, 108, 202, 239. Levasseur, ii. 353. Тюпро, iii. 328, 347. (*Éloge de M. de Gournay*), Mercier, xi. 363.]

Успешный мастер своего дела, разбогатев, мог перейти в верхнюю часть среднего класса, в *высшую буржуазию*. Он становился фабрикантом, купцом, возможно, даже, выйдя на пенсию, королевским секретарем с патентом на потомственное дворянство. Его дети, вместо того чтобы покинуть школу, когда они научились читать, писать и шифровать и приняли первое причастие, оставались или переходили в высшую школу, чтобы изучать латынь и греческий. Его жену называли мадам, как герцогиню. Вероятно, она способствовала его возвышению не только добрыми советами и домашней бережливостью, но и искусством продавщицы и деловым талантом. Если он умрет, пока его сыновья будут молоды, она поймет его дела и сможет продолжить их в свою пользу и в пользу своих детей. Ни одна служанка, красная лицом и растрепанная в юбках, больше не гремит кастрюлями в маленькой темной кухне за магазином и не стоит, раскинув руки, давая советы своей хозяйке. Преуспевающий человек обустривает свой дом с размахом, и если наглые лакеи великих не ошиваются у его дверей, то, по крайней мере, один или два из этих тихих и внимательных стариков-слуг, чья

почтительная и уважающая себя фамильярность добавляет одновременно и комфорт, и достоинство жизни. [Сноска: Babeau, *Les Artisans*, 158, 167, 181, 204, 271].

Не только в стенах собственного дома мещанин мог быть важным человеком. Города сохранили до конца монархии некоторые из прав, за которые они боролись в более ранние и суровые времена. Собрания, по-разному составленные в разных местах, но иногда представлявшие гильдии и братства, а иногда состоявшие из всех горожан, принимали участие в управлении городом. Они голосовали по вопросам займов, ведения городских тяжб и вообще по муниципальным делам. Должностные лица выбирались различными способами, некоторые из них - с помощью очень сложных форм выборов, а некоторые - путем бросания жребия. В разных местах эти должностные лица носили разные титулы: консулы, эшеваны, синдики или юраты. Иногда они осуществляли значительные исполнительные и судебные полномочия, контролируя обычную полицию города. Их привилегии и льготы варьировались в зависимости от города, цвета их официальных одеяний и церемоний вступления в должность. Города дорожили своими древними правами, лишёнными значимости централизованными слугами короны, и неоднократно выкупали их у короля, когда раз за разом старые должности упразднялись, а вместо них учреждались новомодные покупные мэрии[Сноска: Babeau, *La Ville*, 39. Когда города покупали должность мэра, они должны были назвать действующего мэра, и город владел этой должностью только в течение его жизни, а после его смерти должен был выкупить ее снова. Там же, 81. Это выглядит так, как будто королевская должность мэра не была наследственной, несмотря на *Edit de la Paulette*. Если не находилось другого покупателя, города были обязаны выкупить должность. *Ibid.*, 79].

Муниципальные власти разделяли с духовенством контроль над образованием и заботу о бедных и больных. Последние были собраны в больших больницах, многие из которых управлялись неэффективно[Сноска: В разных местах были большие различия. Howard, *passim*. Больница, богадельня и т. д. в Дижоне были хорошими; больница в Лионе была большой, но тесной и грязной. Ригби, 102, 113. Muirhead, 156]. Всегда следует помнить, размышляя о повседневной жизни прошлого, что в старые времена и даже во второй половине прошлого века высокая степень цивилизации и большая роскошь не были несовместимы с почти полным пренебрежением к тому, что мы привыкли считать необходимыми удобствами. Комфорт, действительно, можно назвать современным словом, обозначающим современную идею. Даже сто лет назад грязь и запахи были настолько обычным явлением, что на них почти не обращали внимания, а болезни, возникающие от грязи и нечистого воздуха, переносились как неизбежное проявление божественного гнева. И все же некоторые успехи были достигнуты. В Средние века, когда все носили шерсть, ванны были совершенно необходимы; в результате повсеместного использования льна они сначала вышли из моды, а при Людовике XVI снова вошли в моду. Чесотка, столь распространенная в Оверни в начале века, что в школах для учеников, страдающих ею, отводилась отдельная скамья, в 1786 году была почти неизвестна. Проказа почти исчезла во Франции к концу семнадцатого века. В первой четверти восемнадцатого чума все еще была случайным гостем, несмотря на строгие карантинные правила. При ее приближении города закрывали ворота и укрепляли стены, а перепуганные власти принимались за чистку и побелку. В 1722 году марсельские врачи ходили в турецком сафьяне, перчатках и маске из того же материала; у маски были стеклянные глаза и большой нос, наполненный дезинфицирующими средствами. Как вид этого костюма влиял на пациентов, не сообщается. Когда чума закончилась, запели *Te Deum*, и процессии направились к храму Святого Роха[Сноска: Babeau, *Les Bourgeois*, 177. *Ibid.*, *La Ville*, 443].

Школы были открыты в каждом городе. Школьные мастера образовывали гильдию, мастера письма - другую, и ни одному из них не разрешалось посягать на прерогативы конкурента. Школьные мастера в городах, как правило, назначались духовенством, но муниципальные власти сохраняли определенный контроль. Обучение мальчиков в значительной степени осуществлялось Братствами, в то время как обучение девочек почти полностью поручалось Сестрам. Во многих местах начальное обучение было бесплатным и обязательным, по крайней мере, на словах. Закон об этом был принят при Людовике XIV, чтобы приобщить детей протестантов к католическому учению; но этот закон не всегда соблюдался. На севере Франции существовали вечерние школы для взрослых и воскресные школы, где обучали чтению и письму, вероятно, детей, занятых в течение недели ремеслом. Определенный объем религиозного обучения предшествовал церемонии "первого причастия". Что касается средних или высших школ, то, как говорят, в XVIII веке они были более многочисленными и доступными, чем сейчас, когда они в основном были объединены в крупных городах. В 1789 году во Франции насчитывалось пятьсот шестьдесят два заведения, считавшихся средними, около трети из них находились в руках братств. Кроме того, существовало множество частных школ, лицензированных муниципальными властями. Мальчики вдали от дома жили очень просто. Мармонтель, который был отправлен из своего маленького городка в школу соседнего, оставил описание своего образа жизни. "По обычаю школы я поселился вместе с пятью другими учениками в доме честного ремесленника, и мой отец, огорченный тем, что уезжает без меня, оставил мне мой пакет с провизией на неделю. Они состояли из большой буханки ржаного хлеба, небольшого сыра, куска бекона и двух-трех фунтов говядины; мама добавила дюжину яблок. Это, раз и навсегда, был рацион самых сытых учеников в школе. Готовила для нас хозяйка дома, и за ее хлопоты, огонь, лампу, постели, жилье и даже овощи с ее маленького огорода, которые она клала в кастрюлю, мы давали ей по двадцать пять су в месяц, так что в целом, за исключением одежды, я обходился отцу от четырех до пяти луидоров в год". Это было около 1733 года, и, возможно, за последующие полвека стиль жизни даже школьников несколько повысился. Сыновья профессиональных людей и представителей среднего класса были в лучшем положении в отношении образования, чем большинство молодых дворян; поскольку первых отправляли в хорошие школы, а вторых воспитывали дома некомпетентные воспитатели. Казалось бы, мальчику было достаточно легко получить образование, а девочке - еще сложнее. Но никто из тех, кто ознакомился с литературой того времени, не подумает, что Франция в то время была обделена умными женщинами[Сноска: Babeau, *La Ville*, 482. Там же, *Les Bourgeois*, 369. Marmontel, i. 16. Montbarey, i. 280. Ch. de Ribbe, i. 320].

В XVIII веке в народной жизни происходили большие перемены. Простые ремесленники в 1789 году чувствовали себя более комфортно, чем первые жители города за пятьдесят лет до этого. Средний класс жил во многом как дворяне, с материальной роскошью и интеллектуальными удовольствиями. Однако искусственные барьеры все еще сохранялись. Горожанин, если он не был знатного происхождения, не допускался не только в армию, но и к высшим должностям в администрации и в адвокатуре. Дворянство платья могло быть подвергнуто попеременно фамильярному и наглому обращению то со стороны шпаги, то со стороны двора. Последние занимали большинство должностей, вызывавших сильное тщеславие, и многие из тех, что приносили наибольшую прибыль. Зависть возможна только там, где люди или сословия сближаются друг с другом, а до революции различные сословия во Франции быстро сближались.

## ГЛАВА XIII.

### СТРАНА.

Пожалуй, нет ни одной большой страны, населенной цивилизованным человеком, более благосклонной к природе, чем Франция. Обладая всеми видами поверхности - от возвышенных гор до колышущихся песчаных дюн, от суглинистой равнины до обрывистых скал, - эта земля овеяна климатом, в котором редко случаются крайности жары и холода. Виноград созревает на большей части территории страны, апельсин и олива - в ее юго-восточном углу. Глубокая почва многих провинций дает достаточную отдачу от труда земледельца. Если жители такой страны не процветают, то, несомненно, в этом виноват скорее человек, чем природа.

В моду вошло представлять французского крестьянина до революции как жалкое и голодающее существо. "По стране разбросаны дикие животные, самцы и самки; черные, синюшные, все обожженные солнцем; они с непобедимым упорством привязаны к земле, в которой роются. У них есть что-то похожее на членораздельный голос, а когда они поднимаются на ноги, то видят человеческое лицо; на самом деле это мужчины. На ночь они уходят в норы, где питаются черным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости сеять, копать и собирать урожай, чтобы жить, и тем самым заслуживают того, чтобы не испытывать недостатка в хлебе, который они посеяли". Это описание, красноречиво написанное Ла Брюйером, цитировалось сотней авторов. Одни использовали его, чтобы приукрасить свои книги сенсационным абзацем, другие, и их немало, чтобы показать, от какой нищеты избавила французскую нацию Революция.

Достижения последних ста лет многочисленны и велики, но не стоит поэтому верить, что за три поколения великая нация вышла из дикости. Давайте посмотрим, какую часть описания Ла Брюйера можно списать на риторику и на удивление ученого, который впервые пристально смотрит на своего соотечественника. Несомненно, крестьянин обгорел на солнце; несомненно, он грязен. Его речь грубо ложится на городское ухо; черты лица огрубели от воздействия. Его хижина гораздо менее комфортабельна, чем городской дом. Его пища груба и не всегда обильна. Все это может быть правдой, и все же крестьянин может быть умным и цивилизованным. Он может быть так же счастлив, как и большинство тружеников на земле. У него могут быть дни комфорта, часы наслаждения.

Хотя французские писатели восемнадцатого века находят много недостатков в положении крестьянина, их общее мнение о его судьбе не является неблагоприятным. Вольтер считает его в целом благополучным. Руссо постоянно превозносит не только нравственность, но и счастье сельской жизни. Мирабо Старший говорит, что веселость исчезает, возможно, потому, что люди слишком богаты, и утверждает, что Франция не дряхлая, а энергичная[Сноска: La Bruyere, *Caractères*, ii. 61 (*de l'homme*). Вольтер, *passim*, xxxi. 481, *Dict. philos.* (*Население*). Mirabeau, *L'ami des hommes*, 316, 325, 328].

"Общий вид людей отличается от того, что я ожидал, - пишет один английский путешественник своей семье в 1789 году, - они сильны и хорошо сложены. Мы видели много самых приятных сцен, когда проезжали вечером перед приездом в Лисл: маленькие компании, сидящие у своих дверей; некоторые мужчины курят, некоторые играют в карты на открытом воздухе, а другие прядут хлопок. Все, что мы видим, несет на себе отпечаток промышленности, и все люди выглядят счастливыми. Мы действительно видели мало признаков роскоши в людях, потому что не видим столько джентльменских кресел, как в Англии, но мы видели мало представителей низших классов в лохмотьях, праздности и нищете. Какие странные предрассудки мы склонны принимать в отношении иностранцев!

Признаюсь, я привык думать, что французы - ничтожный, незначительный народ, что они скудны на вид и живут в убожестве от притеснений со стороны начальства. То, что мы уже видели, опровергает это; [Сноска: Обратите внимание, что это было написано во французской Фландрии. Примечание д-ра Ригби.] мужчины сильны и атлетически сложены, а лицо страны показывает, что промышленность здесь не подавляется. Женщины тоже, - я говорю о низшем классе, который во всех странах самый многочисленный и самый полезный, - сильные и хорошо сложенные, и, похоже, выполняют большую работу, особенно в деревне. Они несут большие грузы и, похоже, нанимаются на рынок с продуктами полей и садов на спине. Англичанка, возможно, сочла бы это тяжелым занятием, но дачники в Англии, конечно, не так обеспечены; я уверен, что они не выглядят такими счастливыми. На этих женщинах с большими и тяжелыми корзинами на спине очень хорошие чепцы, волосы напудрены, в ушах серьги, ожерелья и кресты. Мы еще не видели ни одной, на которой была бы шляпа. Больше всего в увиденном меня поражает удивительная разница между этой страной и Англией. Я не знаю, что мы можем подумать об этом со временем, но сейчас разница, кажется, в пользу первых; если они и не счастливы, то, по крайней мере, выглядят очень похожими на них".

"Мы проехали по Франции от четырех до пяти сот миль, - пишет тот же путешественник в другом месте, - и почти не видели ни одного невозделанного акра, кроме двух лесов и парков, один из которых принадлежит принцу Конде, о чем я упоминал в прошлом письме, а другой - королю Франции в Фонтенбло, и те покрыты лесом. В каждом месте почти каждый дюйм вспахан или перекопан, и в это время кажется, что на него давит тяжесть урожая. На дорогах до самого края, по которому проезжают колеса, и на холмах до самой вершины видны следы человеческой деятельности. С тех пор как мы покинули Париж, мы проехали через страну, где выращивают виноградную лозу. Она растет по бокам и даже на вершинах самых высоких холмов. Она также процветает там, где почва слишком бедна, чтобы выращивать кукурузу, и на склонах обрывов, где ни одно животное не смогло бы протащить плуг". [Сноска: Dr. Rigby, 11, 96. См. также Sir George Collier, 21].

Давайте теперь переместимся на другой конец Франции и послушаем другого путешественника, в целом менее восторженного, чем предыдущий. "Сам сбор винограда, - говорит Артур Янг, - вряд ли может быть такой сценой активности и оживления, как эта всеобщая уборка кукурузы, которой сейчас оживлены все города и деревни Лангедока. Кукуруза грубо уложена вокруг сухого, твердого места, где множество мулов и лошадей рысью движутся вокруг центра, женщина держит поводья, а другая, или девушка, или две, с кнутами; мужчины подают и расчищают пол; другие занимаются уборкой, подбрасывая кукурузу в воздух, чтобы ветер сдувал мякину. Задействована каждая душа, причем с такой жизнерадостностью, что люди, кажется, так же довольны своим трудом, как сам фермер своими огромными кучами пшеницы. Сцена необычайно оживленная и радостная. Я часто останавливался и выходил, чтобы посмотреть, как они работают; со мной всегда обращались очень вежливо, и мои пожелания хорошей цены для фермера и не слишком хорошей для бедняков были хорошо приняты" [Сноска: Arthur Young, i. 45 (24 июля 1787)].

Эти описания дали бы слишком благоприятное представление, если бы их можно было отнести ко всей Франции. Все крестьянки не пудрили волосы и не носили серьги. Крестьянки Франции выполняли гораздо больше полевых работ, чем англичанки. Их фигуры стали согнутыми, а общий вид изможденным; английский наблюдатель, привыкший к более румяным лицам своих соотечественниц, мог бы принять их за женщин вдвое старше себя. Они часто ходили босиком, а по дороге на рынок носили обувь на палке, пока не приближались к городу. Им приходилось быть экономными, и можно было увидеть, как они

собирают в передники сорняки на обочинах дорог, чтобы кормить своих коров. Все провинции были не так богаты, как Фландрия. Во Франции были огромные пустыри, поросшие метлой и вереском. Волки и медведи по-прежнему наводили ужас на отдаленные фермы. Кроме того, случались голодные времена, которые усугублялись глупыми постановлениями правительства, препятствовавшими свободному перемещению провизии по стране. В некоторых провинциях эти голодные сезоны часто повторялись. Тогда несчастные жители впадали в отчаяние. Молодые люди отказывались вступать в брак, говоря, что не стоит приносить в мир несчастных детей. Но в целом деревенские жители были трудолюбивы и счастливы, имели достаток насущный и часто бывали веселы, напоминая в этом отношении скорее англичан до пуританского возрождения, чем англосаксов более современных времен.[Сноска: A. Young, i. 6 (May 22, 1787). Ibid., i. 45 (24 июля 1787 г.), i. 18, (10 июня 1787 г.), i. 28 (28 июня 1787 г.). D'Argenson, vi. 49 (Oct. 4, 1749), vi. 322 (28 декабря 1850 г.), vii. 55 (22 декабря 1751 г.), viii. 8, 35, 233, ix. 160. Тюрго (Turgot, iv. 274) считает, что в Лимонсине в 1766 году семьи рабочих имели не более 25-30 ливров на человека в год на свое содержание, считая все, что они получали. Это всего лишь 1 64/100 су в день, а хлеб стоил 2 1/2 су за фунт. A. Young, i. 439. Это не представляется возможным. Люди жили частично на каштанах].

В деревне, как и в городах, процветание и материальное благополучие постепенно росли. Последние годы правления короля Людовика XIV были годами депрессии и несчастий. Внешние войны, преследования протестантов внутри страны, тяжелые налоги и плохое управление привели к сокращению численности и богатства французской нации. Но с воцарением Людовика XV в 1715 году началось время восстановления. За семьдесят лет население увеличилось с шестнадцати до двадцати шести миллионов человек. Возросла и земельная рента. Природное превосходство почвы, природный интеллект людей приводили к медленному и неравномерному улучшению.[Сноска: Clamageran, iii. 464. Bois-Guillebert, 179 и др. Horn, 1. Улучшение не было всеобщим. Говорят, что Лотарингия утратила свое процветание со времени объединения с Францией в 1737 году. Mathieu, 316].

Одна треть земли была покрыта мелкими фермами, которые после смерти каждого владельца делились между его детьми. По любопытному обычаю (возникшему, не знаю, в какой форме, из ревности или каприза), раздел был невольно сделан еще более губительным. Было принято делить между наследниками не только все имущество, но и каждую его часть. Так, если крестьянин умирал, владея шестью полями и оставив троих детей, не было принято, чтобы каждый ребенок брал по два поля, а тот, кому досталось лучшее, компенсировал разницу деньгами своим братьям. Возможно, деньги были слишком скудны для этого. Но каждое из шести полей делилось на три части, одна из которых доставалась каждому ребенку, так что вместо шести отдельных участков земли теперь было восемнадцать. Этот процесс повторялся до тех пор, пока ферма не стала почти затеняться одним вишневым деревом[Сноска: Sybel, i. 22. Chérest, ii. 532. Тюрго, iv. 260. Английские писатели, от Артура Янга до леди Верни, красноречиво говорят о вреде мелких владений].

Класс средних собственников был очень мал. Инциденты, связанные с владением землей всеми, кто не был знатным, приводили к тому, что растущие семьи уходили в города. Большие перемены, произошедшие во французской стране за последние сто лет, в определенной степени заключаются в формировании класса людей, владеющих фермами умеренного размера.

Большая часть земли принадлежала дворянам и духовенству. Точная пропорция не может быть установлена. По некоторым данным, она достигала двух третей, но это, скорее всего, преувеличение. Владельцы привилегированных классов редко обрабатывали значительную

часть своей земли сами, нанимая рабочих, хотя определенные привилегии и льготы предоставлялись тем, кто предпочитал держать свои хозяйства в собственных руках. Некоторые из них сдавали свои земли в аренду за фиксированную денежную ренту. Но большая часть обрабатываемой земли, которой владели дворяне и духовенство, находилась в руках *метайеров*, арендаторов, которые платили арендную плату в виде пропорциональной части урожая. Иногда землевладелец брал на себя часть налогов, иногда предоставлял скот или сельскохозяйственные орудия. Его доля в валовом урожае обычно составляла половину. Эта система, до сих пор распространенная в некоторых частях Франции, не считается выгодной ни для помещика, ни для арендатора, а придумана главным образом для того, чтобы удовлетворить недостаток капитала у последнего.[Сноска: Юнг считает, что цена пахотной земли и ее рента во Франции примерно такие же, как в Англии. Чистый доход во Франции больше, потому что там нет нищенских податей, а десятина в этой стране более умеренная. Цена пахотной земли, по его расчетам, составляет в среднем 20 фунтов за акр; рента - 15 шиллингов 7 д. за акр = 3 9/10 процента от продажной стоимости. Из этого следует вычесть два вингтьема и 4 су за ливр (налоги, уплачиваемые землевладельцем) и другие расходы, и чистый доход остается между 3 и 3 1/4 процента. Однако урожай пшеницы во Франции гораздо хуже, чем в Англии, поэтому доля, получаемая домовладельцем, больше, а арендатором - меньше. Во Франции землевладелец получает половину урожая, в Англии - от одной четвертой до одной шестой, иногда только одну десятую. A. Young, i. 353].

Мы можем представить себе загородные дома знати, разбросанные по всей стране так, что путешественник наткнулся на один из них раз в две или три мили. Иногда резиденцией лорда был древний замок со стенами толщиной в восемь футов, возвышавшийся над окружающим лесом с вершины крутого холма, темный и грозный, но уже не грозный. Внутри большой зал был вымощен камнем. Его стены были увешаны сумрачными портретами и ржавыми доспехами. Из зала открывалась просторная спальня с гобеленовыми стенами и монументальной кроватью. На занавесках и покрывалах виднелась тонкая вышивка какой-нибудь прародительницы, давно упокоившейся в семейной часовне. Возможно, и сами простыни были сотканы ее челноком. Эта спальня, по старинному обычаю, все еще была гостиной семьи. Иногда господский дом был современным, элегантным и симметричным; он был окружен павильонами, а перед ним находилась каменная терраса с балюстрадой, на которой стояли вазы для выращивания растений. Внутри дом представлял собой многоэтажные комнаты с белыми стенами и позолоченной лепниной. У стен стояли стулья с высокими спинками и кривыми ножками в стиле последнего царствования, а посреди темного, скользкого, хорошо натертого воском пола - более легкие кресла и табуреты. Бабушкино кресло с пуфиком стояло в углу камина, где религиозно зажигали огонь на Всех Святых и гасили на Пасху, независимо от погоды. Сквозь высокие окна, выходившие на землю, виднелись длинные прямые садовые дорожки, не слишком ухоженные, и подстриженные кустарники, то тут, то там встречались мраморные нимфы, поросшие мхом и сломанные, или вышедший из строя фонтан. Семья не тратила много денег на это место. Делать было нечего, разве что в сезон стрельбы[Сноска: Taine, *L'ancien régime*, 17. Mme. de Montagu, 59].

Чтобы это последнее занятие оставалось за лордом и его друзьями, дичь строго охраняется, к большому ущербу для урожая. С браконьерами жестоко расправляются, и крестьянин может не иметь ружья, чтобы защититься от волков. Существует достаточно законов против злоупотреблений помещиков и егерей, против вытаптывания молодой пшеницы, против назойливых жалоб и штрафов, но сельские жители говорят, что эти законы не соблюдаются справедливо. Особенно тяжело приходится тем, кто живет рядом с *капитолиями* или

королевскими охотничьими угодьями. Здесь сельские хозяева не имеют права возводить новую стену без разрешения, чтобы не лишить зайцев свободы есть капусту. До назначенного дня нельзя срывать посевы, чтобы не потревожить молодых куропаток. Олени и кролики свободно живут на возделанных полях. Они - личные враги крестьян, и одним из первых противозаконных актов Революции будет их поголовное уничтожение[Сноска: Оливье, 78, упоминает законы, защищающие посевы. Всеобщая жалоба на каэров доказывает это недовольство. См. главу о каьерах. Капитолий Шантильи, как говорят, имел более 100 миль в окружности. A. Young, i. 8 (25 мая 1787 г.)].

В каждой деревне есть церковь, иногда даже в небольших местах - красивое готическое здание, чаще скромное по размерам и простое по архитектуре. Раз или два за день езды попадаются красные крыши и высокие стены монастыря, по виду не очень отличающегося от группы фермерских построек, - если бы не часовня и колокольня; ведь здесь, во Франции, фермы окружены высокими стенами. Между вспаханymi полями тянутся бесконечные прямые дороги, прекрасные образцы инженерного искусства, но малопроезжие, с рядами ломбардских тополей по обе стороны, которые манят испепеленного солнцем путешественника намеком на тень.

Крестьяне чаще живут в деревнях, чем на обособленных фермах, а сама деревня имеет грубоватый укрепленный вид. Поля, которые простираются вокруг нее, принадлежат крестьянам, но на правах измененной собственности. На них лорды осуществляют свои феодальные права. Существует *ценз*, фиксированная рента, ежегодная, вечная, неразрывно связанная с землей. Она выплачивается иногда деньгами, иногда зерном, фруктами или цыплятами, в соответствии с договором или давно установившимся обычаем. Есть еще *шампарт* - рента, пропорциональная урожаю, также выплачиваемая лорду; есть десятина, которую необходимо отдавать духовенству. Если крестьянин хочет продать свое владение, покупатель должен уплатить сеньору штраф, называемый *lods et ventes*, составляющий в некоторых случаях одну шестую часть цены, а в некоторых поместьях сеньор также имеет право отказаться принять нового арендатора и провести сделку за свой счет[Сноска: Prudhomme, 37, 137, 515].

Таковы общие признаки феодального владения. Аналогичные им права можно найти в Англии или Германии, где бы ни существовала эта система. И пережитки состояния вещей, гораздо более древнего, чем феодализм, не исчезли полностью. Лесные и пастбищные коммуны все еще напоминают о том времени, когда сельскохозяйственные земли находились в общем владении. Даже само это владение, с его ежегодным перераспределением полей, можно найти в Лотарингии[Сноска: Mathieu, 322].

Кроме того, существовало множество неприятных ограничений для крестьянина. На мельнице господина он должен молоть свою кукурузу; в печи господина он должен печь свой хлеб; к быку господина должна быть подведена его корова. От него могут потребовать многодневного труда на господской земле. Нелепые обычаи, оскорбляющие его достоинство или тщеславие, могли быть навязаны. В некоторых приходах новобрачных заставляли перепрыгивать через стену церковного двора. В других местах в определенные ночи в году крестьяне были обязаны бить воду в крепостном рву, чтобы заставить лягушек замолчать. Демократические писатели считали эти обычаи весьма тягостными, но они не были так безразличны самим крестьянам, как хотелось бы верить любителям старых добрых времен[Сноска: См. сельские каньоны, *passim*. Матье приводит текст обычного права *banalité*. Плата за четыре банала составляла 1/24 хлеба по весу; за банал мулена - 1/12 муки; за банал прессора - от 1/10 до 1/12 вина; но в разных местах даже в одной провинции плата

была разной. Жаловались, что для работы не хватает прессов и что из-за этого портится виноград. Mathieu, 285].

Не всегда феодальными правами пользовался и осуществлял их хозяин земли. Иногда он продавал их чужакам, в чьих руках они были просто доходом, и которые жестоко требовали их.

Истоки этих обычаев лежат в давно ушедшей форме цивилизации. Чтобы понять, на каких условиях французские крестьяне владели своими землями немногим более ста лет назад, мы должны оглянуться на много веков назад. Феодализм начался с военных завоеваний. Когда варвары захватили Римскую империю, вожди-победители разделили землю между своими главными последователями, и присвоенные таким образом титулы, хотя сначала и были личными, вскоре стали наследственными. Человек, получивший или унаследовавший землю, должен был появляться в поле со своими последователями по призыву своего вождя. Арендатор, в свою очередь, распределял землю между своими друзьями на условиях, аналогичных тем, на которых он сам ее получил; и этот процесс мог повторяться бесконечно. Таким образом, в государстве возникла иерархия, в которой каждый член был ответственен перед своими непосредственными начальниками и обязан в определенных пределах подчиняться человеку, стоящему над ним, а не королю, который должен был править всеми. Обязательства были различными, в зависимости от условий, на которых предоставлялись земли, но они всегда предполагали военную службу со стороны получателя и защиту со стороны получателя. Услуги были взаимными, а владение - обычным или модным, и большинство людей, владевших землей каким-либо другим способом, сочли нужным приспособиться к феодальному методу; а абсолютные или аллодиальные владельцы, если завоевательный прилив не оставил таковых, обычно со временем уступали свои земли какому-нибудь соседнему лорду и получали их обратно на феодальных условиях.

Но описанное здесь владение существовало только среди сравнительно богатых и знатных людей. Когда последний феодальный раздел был завершен, когда вождь сделал последнее пожалование своим вождям и земля была поделена между ними, оставалась еще большая часть населения, которая не несла никаких феодальных повинностей и не владела феодальным имуществом. Простые солдаты армии захватчиков, коренные жители завоеванной страны и их потомки, неразрывно смешавшись друг с другом, оставались на земле и обрабатывали ее как свободные арендаторы или крепостные. За пользование землей, на которой они жили, они платили деньгами, долей урожая или услугами. Они признавали титул феодалов, стоящих над ними, и, стараясь заключить выгодные сделки со своими хозяевами, редко выдвигали претензии на равенство или независимость. Крестьяне считали естественным и богом установленным порядком вещей, что они должны подчиняться и служить своим господам, но с частичным повиновением и ограниченной службой. Спросить, почему они довольствовались таким служением, означало бы открыть одну из величайших проблем истории. Какова бы ни была причина, на большей части земного шара и на протяжении большей части исторического времени люди соглашались подчиняться другим людям, которых они не выбирали, и обычно предпочитали наследственный принцип любому другому при определении того, на кого они будут смотреть как на своих правителей.

Так французские крестьяне и их сеньоры веками жили бок о бок, оказывая друг другу взаимные услуги, иногда ссорясь, а иногда заключая сделки. Крестьян призывали на военную службу, но они и их семьи укрывались в замке сеньора, когда над страной прокатывались частые войны. Мельница, чьи грубые механизмы все еще были усовершенствованы по сравнению с грубой ручной мельницей или еще более

примитивными ступкой и пестиком; печь, в которой крестьянин мог испечь хлеб, не зажигая огня на собственном очаге, после трудов длинного летнего дня; бык знаменитой породы по всей округе - все это принадлежало лорду, и все его арендаторы должны были пользоваться этим и платить за это по тарифам, установленным по давнему обычаю или, возможно, по какой-то давно забытой сделке, заключенной, когда эти удобства впервые были предоставлены жителям земли. Господин вел своих крестьян в бой, он защищал их от жителей соседней долины, он решал их разногласия в своем суде, где рядом с ним сидели самые знатные из его арендаторов; он управлял своими людьми, хорошо или плохо, в зависимости от своего характера, но в целом к их разумному удовлетворению. Его правительство, каким бы оно ни было, было их единственным убежищем от анархии. Лорд управлялся, не очень строго, более крупным лордом, который, в свою очередь, был обязан более крупному, чем он, лорду; пока, пройдя одну или несколько ступеней, не приходил король, или владыка земли.

Не стоит рассказывать о долгой борьбе, в результате которой короли Франции превратили эту свободную цепь верности в крепкие узы почти абсолютной монархии. С десятого века по семнадцатый борьба велась с переменным успехом. Феодалы потеряли значительную часть своей власти, но сохранили большую часть своих богатств и многие привилегии. Герцоги и графы, чьи отцы в своих владениях были столь же могущественны, как и сам король, сохранили свои титулы и доходы, но все свое время они проводили в прислуживании своему государю. Мелкий лорд все еще держал свой суд, в котором обычно председательствовал его бейлиф, но его функции постепенно узурпировали королевские судьи. Замок, больше не нужный для защиты, был превращен в загородный дом. Но многие старые обычаи и старые права сохранились, хотя их происхождение было забыто. Крестьяне по-прежнему несколько дней в году работали на землях своего господина или платили часть урожая в виде ренты за свои фермы, хотя они находились во владении их предков уже тысячу лет.

Эту или некоторую ренту крестьяне при Людовике XVI считали справедливой, поскольку не претендовали на абсолютное право собственности, но считали услуги обременительными и унижительными. Их представления по этим вопросам были не очень определенными, но в последние годы в их умах росло общее чувство несправедливости. К давним ссорам, которые всегда происходят в деревне, прибавились еще и подозрения в несправедливости. Все жаловались, что последнее обследование и распределение ренты были несправедливыми. Лорды уже не были настолько далеки от своих более бедных соседей, чтобы им можно было завидовать. Они уже не были настолько полезны, чтобы считаться необходимым злом, как склонна думать о своих правителях большая часть общества.

Давайте посмотрим на жизнь крестьянина. Его домик непривлекателен: низкая соломенная постройка, возможно, без пола. Вплотную к нему примыкает сарай, и семья не прочь найти тепло у скотины и навоза. Окна без стекол, и свиньи и куры заходят и выходят через открытую дверь. Но дом принадлежит крестьянину и является его жилищем. Он не смеет улучшать его, опасаясь увеличения налогов. Да его это и не особо волнует. В нем тепло ночью и сухо во время дождя; днем и в хорошую погоду он не выходит за дверь. Если ему удастся спрятать несколько сребреников в старом чулке, он охотнее достанет их, чтобы купить другой участок земли, чем потратит на бесполезные удобства и роскошь постройки.

Мебель, как правило, была лучше, чем дом. Большая кровать с занавесками из зеленой саржи была главным предметом, центром семейной жизни, местом рождения детей и местом смерти родителей. Ее делали как можно выше, чтобы приподнять спящих над сырой

землей. Перина помогала согреться. Вдоль стен комнаты стояло несколько шкафов и сундуков, потемневших от старости и грязи. Они были сделаны из дуба или грушевого дерева, а иногда украшены грубой резьбой. В восемнадцатом веке уровень комфорта в городах значительно повысился, но в деревне изменений было мало.

Одежда, как правило, была лучше, чем мебель. Костюмы провинциалов часто являются копией давно забытой придворной моды, упрощенной или измененной, чтобы приспособить ее к сельским навыкам и деревенским нуждам. Быть хорошо одетым - признак респектабельности; быть скромно одетым может служить признаком бережливости. По воскресеньям появлялись яркие плащи, синие, серые или оливковые. Женщины выходили в хороших платьях и чистых чепцах. На поясах были цветочные дамаски, рукава из белой саржи, подъюбки винного цвета. Золотой крест был признаком сравнительного богатства, но часто встречались и серебряные украшения. Кожаную обувь носили представители обоих полов. В будние дни носили деревянные башмаки или босые ноги в южных провинциях, а также комбинезоны из серого льна. При Людовике XVI хлопок начал вытеснять льняные и шерстяные ткани прежних лет. Более дешевая и менее прочная, одежда стала чаще обновляться. Это изменение противоречило красоте, но благоприятствовало чистоте.

Питание крестьянина во многом зависело от его урожая. В хорошие годы и на хороших почвах его хорошо кормили, в плохие годы и в бедных районах - плохо. Хлеб, главная статья его рациона, был дешевле и менее качественным, чем в Англии: пшеничная мука смешивалась с ржаной, ячменной, овсяной, каштановой или гороховой. Женщины готовили суп или кашу, разваривая этот хлеб в воде, добавляя, возможно, молоко или немного свинины для вкуса. Сыр и масло были в изобилии, так как общие земли были обширны. Говядину и баранину ели на Пасху или на праздник святого покровителя, а больше всего - на свадебных торжествах. Вино, судя по всему, считалось роскошью, но обычной. Крестьянин, не пробовавший его несколько раз в неделю, считался бедным; тот, кто пил его свободно, но умеренно два раза в день, назывался богатым. Табак, утешитель бедняков, был в широком употреблении. Это описание питания деревенских жителей относится скорее к более бедным крестьянам или к тем, чье состояние не превышало среднего, чем к тем, кто был в лучшем положении. В Нормандии хороший хлеб, мясо, яйца, овощи и фрукты с большим количеством сидра составляли ежедневный рацион в процветающих фермерских домах. [Сноска: Это описание состояния крестьян взято в основном из Babeau, *La vie rurale*].

Крестьяне не были отрезаны от любой социальной и политической активности. Каждый сельский приход образовывал отдельную маленькую общину, весьма ограниченную в своих правах и функциях, но не лишенную ценных корпоративных полномочий. [Сноска: Приход и община обычно совпадали, но не всегда. Ibid., *Le Village*, 97]. Он мог владеть имуществом, как недвижимым, так и личным; он мог подавать иски и быть судимым; он мог избирать своих должностных лиц и управлять своими делами. В XVIII веке во Франции, как и во многих других странах, вошло в моду делить общие земли, но многие приходы все еще владели большими участками в правление Людовика XVI. Доходы сельской общины формировались за счет продажи леса, сдачи в аренду пастбищ, права на рыбную ловлю или должности винодела в виноградарских районах. Расходы были многочисленны и разнообразны. Он ремонтировал неф церкви, хор содержался в порядке за счет священника. Приход содержал пасторский дом и стену вокруг церковного двора. Жеребьевка для ополчения осуществлялась за счет общины. Так же как и некоторые дороги. Она платила школьному учителю и синдику. Были и побочные расходы, такие как ежегодная месса, развозка писем, поддержание в порядке церковных часов. Иногда в счетах общины указывается плата за подарок какому-нибудь влиятельному лицу, способному помочь в судебном процессе или добиться снижения

налогов, начисленных на приход. Примечательной особенностью общинных расходов было то, что хозяин деревни делился ими со своими более бедными соседями. На эти сельские дела привилегии не распространялись[Сноска: Но так было не всегда. См. *каьер* Артиньоза в Провансе, *Archives parlementaires*, vi. 249. "Clochers et autres bâtiments généraux. (Les seigneurs n'en payent rien, même pour leurs biens roturiers, pour les différentes charges des communautés)"].

Публичные собрания этих маленьких общин проводились в определенные воскресенья года после мессы или вечерни. Иногда собрание проходило в самой церкви, чаще - перед ней, на зелени. Там мужчины деревни, стекая с паперти, стояли или сидели группами на траве, под деревьями. Председательствовал избранный ими синдик. Кворум для обычных дел составлял десять человек, но для подтверждения займа требовалось две трети от общего числа. За отсутствие на собрании или за уход с собрания до его закрытия можно было наложить штраф.

На этих городских собраниях обсуждались и решались дела общины. Совершались сделки купли-продажи, сдавались в аренду земли, голосовались за ремонт общественных зданий и дорог. Избирался синдик. Велся протокол заседаний, который затем представлялся на утверждение королевскому интенданту, без чего никакие действия не имели силы. Эта система просуществовала до кануна революции, но в это время уступила место другой. Под предлогом беспорядка общественные собрания постепенно были вынуждены передать свои функции частично или полностью выборным советам. Но некоторые важные вопросы, такие как выборы школьного учителя, по-прежнему оставались за общим собранием. В то же время избирательное право было несколько урезано. Избиратели должны были достигнуть двадцати пяти лет и платить определенные налоги.

В деревне был выборный староста, синдик,[Сноска: Так назывался синдик на севере Франции. На юге - *консул*. Babeau, *Le Village*, 45.], чьи функции не отличались от функций американского избирателя.

Он был исполнительным должностным лицом общины, вел ее дела и отвечал за ее бумаги. Центральное правительство страны также возлагало на него задачи. Он должен был заниматься формированием ополчения, сообщать об эпидемиях среди скота, следить за исполнением законов об уничтожении гусениц. Рядом с ним находились другие должностные лица, также избранные жителями, но более непосредственные слуги центральной власти, чем он. Это были сборщики налогов. У синдигов и сборщиков было много работы и ответственности, при этом они получали небольшую зарплату и не имели шансов на продвижение по службе. Честные и способные люди не хотели занимать такие места и часто пытались их избежать. Нечестные же получали на них незаконную выгоду за счет своих собратьев. Служить обществу считалось не столько честью, сколько обязанностью, и к службе можно было принудить нежелающего гражданина; но жители, находящиеся в легком положении, часто находили средства избежать этой работы, и тогда синдигов и сборщиков выбирали из числа более бедных и малообразованных крестьян. Некоторые из них не умели ни читать, ни писать.[Сноска: Приведенное выше описание политической жизни деревни взято главным образом из Babeau, *Le Village*. См. также *кайер* деревни Пин (*Paris extra muros*, *Archives parlementaires*, v. 22, Section 1)]. Государственный орган, который хочет, чтобы его хорошо обслуживали, не должен делать государственную службу слишком неприятной. Франция страдала одновременно и от переплаченных придворных, и от плохого обращения с синдиками и сборщиками.

Главным мирянином в деревне был управляющий сеньора (*bailli*), который выполнял судебные функции своего господина. Он стоял выше простых крестьян, а его жену называли "мадам". На ее кухне было больше кастрюль и сковородок, чем у соседей; ее белье и украшения были в большем изобилии, чем у них. Управляющий и приходской священник были самыми важными персонами в деревне. [Сноска: Babeau, *La vie rurale*, 156].

Школьный учитель стоял гораздо ниже священника, который имел над ним право надзора. Однако основной контроль над школами находился в руках общин, которые избирали учителей из кандидатов, одобренных духовенством. Последние больше настаивали на ортодоксальности, чем на компетентности. Положение сельского школьного учителя было не блестящим. Его дом обычно состоял из двух комнат, одной для школы, другой для семьи; книг было мало, одежда поношенная. Ученики платили ему частично, по три-пять су в месяц за чтение, больше за письмо и арифметику. В некоторых случаях на его нужды с прихода взимался налог в размере ста пятидесяти ливров. Но занятия в школе не проводились в течение всего года; ученики дезертировали в начале Великого поста и были заняты в поле до ноября. Мастер мог выступать в роли хирурга, адвоката или землемера; он мог обрабатывать участок земли. Он должен был помогать священнику во время богослужения, руководить хором или даже звонить в колокола. В стране, особенно в некоторых северных провинциях, было много простых начальных школ. В некоторых деревнях мальчики и девочки учились вместе, но высшие гражданские и церковные власти, король и епископы, более знакомые с нравами двора, чем с деревенскими, смотрели на эти смешанные школы с пренебрежением. В целом девочкам было труднее получить образование, чем мальчикам. [Сноска: Babeau, *La vie rurale*, 143. Там же, *Le Village*, 277. Там же, *L'Ecole de village*, 17, 18. Mathieu, 262. *Cahier "Instituteurs des petites villes, bourgs, et villages de Bourgogne"*, *Rev. des deux Mondes*, April 15, 1881, 874. Статистические данные несовершенны, но, изучив реестры браков, Бабо установил, что доля лиц, вступивших в брак, которые могли подписывать свои имена, варьировалась от почти 89 процентов мужчин и почти 65 процентов женщин в Лотарингии до 13 процентов мужчин и почти 6 процентов женщин в Нивернуа. Центральные провинции и Бретань были самыми неграмотными частями страны. *L'Ecole*, 3 n. 187. *Le Village*, 282 n. 3].

Честолюбивый юноша находил средства, чтобы подняться. Несмотря на тяжелые и плохо взимаемые налоги, он мог разбогатеть, добавить новые поля к ферме своего отца, достичь в какой-то степени комфорта и того уважения в своем районе, которое, возможно, является наиболее законно дорогим сердцу из всех мирских последствий успеха. Не было необходимости полностью ограничивать себя сельским хозяйством. Низшие ступени юриспруденции и медицины могли быть достигнуты сыном крестьянина, и если одного поколения труда едва хватало, чтобы достичь высших, то никакая карьера, за исключением тех немногих, которые были уготованы высшей знати, не была вне стремления подрастающего человека для его детей или детей его детей. Более скромное продвижение по службе было ближе. Кузнец и трактирщик были в глазах своих более бедных соседей примером процветания. Ученик, если повезет, мог стать школьным учителем, а то и приходским священником. Деятельный и напористый мог при благоприятном стечении обстоятельств занять какую-нибудь мелкую должность при центральном правительстве или стать управляющим у лорда. Какие только пути не открывались перед ними, чтобы достичь высокого положения [Сноска: Babeau, *La vie rurale*, 128 и т. д.].

Между тем для неамбициозных людей, для массы сельского населения, существовали более простые удовольствия: танцы на зелени в воскресный день, свадьбы с их пирами и весельем, ярмарки и праздник святого покровителя деревни. Были игры, матчи по пахоте, ухмылки. Праздники были частыми - слишком частыми, говорили знатоки; но, вероятно, они не часто

доставляли крестьянам радость. В эти дни они могли отбросить все заботы и играть так же искренне, как и работать. Принято считать, что француз, и особенно французский крестьянин, до революции был живее, чем когда-либо после нее"[Сноска: Ibid, 187. См. "Путешественник" Голдсмита, строки, начинающиеся так

"К более добрым небесам, где царят более мягкие нравы,  
I turn; and France shows her bright domain"].

В положении сельских жителей было много тяжелого, но оно было лучше, чем у большей части человечества. На европейском континенте только жители некоторых небольших государств сравнивались в благосостоянии с жителями более удачливых французских провинций. [Сноска: Голландия и Ломбардия были самыми богатыми странами в Европе. Тоскана в то время управлялась особенно хорошо. A. Young, i. 480. Крепостное право все еще существовало в некоторых отдаленных французских провинциях, особенно в горах Юра. Его главной особенностью было отчуждение в пользу господина имущества всех крепостных, умирающих бездетными]. А во Франции росло благосостояние. Налоги крестьянина постоянно становились все тяжелее, но еще быстрее росли его средства для их уплаты. Подъем материального благосостояния, великая перемена нового времени, ощущалась, хотя пока и слабо, в провинциях Франции.

#### ГЛАВА XIV.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.[Сноска: "Я должен еще раз заметить, что в сложной горе французских финансов не следует искать ясных счетов". A. Young, i. 578. Юнг считает, что доходы всего командования Людовика XVI составляют 680 664 943 ливра, i. 575. См. также Stourm, ii. 182].

Общая сумма налогов, уплаченных французской нацией до революции, никогда не будет точно известна; предмет слишком обширный и сложный, а учет велся слишком плохо. Неккер в своей работе "Управление финансами" считает, что сумма, ежегодно выплачиваемая народом, составляет пятьсот восемьдесят пять миллионов ливров. Байи (книга которого вышла в 1830 году и до сих пор не заменена) называет общую сумму в восемьсот восемьдесят миллионов. Но из этой суммы следует вычесть феодальные повинности и сборы за членство в торговых гильдиях, которые Байи включает в свою оценку и которые, безусловно, являлись частной собственностью, как бы ни был предосудителен их характер. Остается менее восьмисот тридцати семи миллионов ливров - сумма, выплачиваемая примерно двадцатью шестью миллионами французов в виде общих и местных налогов, включая десятину; в среднем около тридцати двух ливров на голову. Была ли эта сумма чрезмерной? Вероятно, нет, если бы нагрузка была правильно распределена. Если учесть, что покупательная способность сегодняшнего франка составляет половину ливра 1789 года, то современный француз все же платит больше, чем его прадед. Но можно не сомневаться, что он платит больше себе. В XVIII веке англичанин, вероятно, жил лучше, чем его французский сосед, но его преимущество не было бесспорным. Гренвилл в 1769 году говорит о сравнительной легкости налогов и дешевизне жизни, которые, по его словам, должны сделать Францию приютом для британских промышленников и ремесленников. Янг, двадцать лет спустя, утверждает, что налоги в Англии более чем вдвое превышают французские, но переносятся легче. Неккер говорит, что Англия несет такое же большое бремя налогов, как и Франция, несмотря на меньшее число жителей и меньшее количество денег в обращении; но переносит его легче, потому что оно лучше распределено. А Шастелюкс, придя к аналогичному выводу, замечает, что в конце концов из всех наций французы больше всех страдают от налогообложения[Сноска: Necker, *De l'Administration*, i.

35, 51. Bailly, ii. 275. Grenville, *The Present State of the Nation*, 35; но это заявление сделано в политическом памфлете, на который ответил и, по-видимому, опроверг Берк, *Observations on a Late State of the Nation*. A. Young, i. 596. Chastellux, ii. 169. На 1891 год среднее налогообложение на голову составляет 86 франков, на 1789 год - 34 ливра, *Statesman's Year Book*, 1891, p. 472, и Bailly].

При старой монархии налоги начислялись неравномерно по двум причинам. Существовали различия в местах и различия в лицах. Это, несомненно, относится ко всем странам, но во Франции различия были очень велики и не одобрялись народным сознанием. В стране, которая остро осознавала свое единство и была полна национального чувства, некоторые провинции облагались гораздо более высокими налогами, чем другие, причем не для собственных местных нужд, а для поддержки центрального правительства. В первую очередь облагались те провинции, которые были включены в общую систему налогообложения. Они были разделены на двадцать четыре округа (*generalités*), над каждым из которых стоял интендант. Двадцать из этих округов составляли сердце старой Франции, простираясь неравномерно от Амьена на севере до Бордо на юге и от Гренобля на востоке до моря. К ним добавились завоеванные или уступленные провинции: Эльзас, Лотарингия, Бар, Три епископства, Франш-Конте, Фландрия и Хайно, образовав между собой четыре округа и пользуясь привилегиями, превосходящими те, что были у старой Франции. Все это составляло земли избрания (*pays d'Élection*). С другой стороны находились земли сословий (*pays d'États*), провинции, сохранившие свои собрания, а вместе с ними и некоторые из своих древних прав на самостоятельное налогообложение или, по крайней мере, на взимание собственными силами тех налогов, которые вводило центральное правительство. Эта привилегия высоко ценилась провинциями, которые ею обладали. Эти провинции окружали Францию и включали в себя Лангедок, Прованс, Бургундское герцогство, Артуа, Бретань и некоторые другие. Центральное управление было настолько деспотичным и в то же время неповоротливым и неэффективным, что каждая провинция и каждый город стремились к тому, чтобы компенсировать свои налоги и установить их по фиксированной, хотя и высокой ставке. В наибольших масштабах этого добивались земли сословий, но подобные привилегии, в большей или меньшей степени, сохранялись и в большинстве городов. Здесь, как и везде, мы должны помнить, что Франция не возникла как однородная нация с ее современными границами. С момента воцарения дома Капетингов в X веке к владениям короны присоединялись провинция за провинцией. Многие из них сохранили древние права. Таможни и пошлины в них различались, при переходе из одной в другую взимались сборы. Приходилось считаться с привилегиями, призами старых войн, правами, закрепленными в некоторых случаях торжественными договорами. Войны Средневековья велись в основном за правовые претензии. К концу этого периода вся Европа была полна привилегированных территорий, лиц или корпораций. Привилегии и права рассматривались как собственность. Современная борьба велась за идеи, и одними из самых заветных из них были равенство и единообразие. Священность собственности и договора в какой-то мере ушла на второй план.[Сноска: Necker, *De l'Administration*, i. ix. Bailly, ii. 276. Горн, 258. Буа-Гильбер, 207. (*La détail de la France Partie*, ii. c. vii.); Stubbs *Lectures*, 217. Валлонская Фландрия находилась в аномальном положении: она была частью *генералитета*, но обладала поместьями. Bailly, ii. 327].

Хотя провинциальные эстафеты различались в разных провинциях, которые ими обладали, почти в каждом случае в них входили представители трех орденов. Духовенство обычно представляли епископы, аббаты и лица, назначенные капитулами; дворянство - либо все дворяне, чей титул насчитывал не менее ста лет, либо владельцы определенных вотчин; третье сословие, или общинники, - мэры и депутаты городов. Три ордена заседали иногда

раздельно, иногда вместе. В перерывах между сессиями их полномочия передавались промежуточным комиссиям - небольшим советам по регулированию текущих дел. В такой конституции не было ничего демократического. Даже представители простонародья были взяты из числа наиболее привилегированных членов своего ордена. Полномочия эстатов также не были широкими. Они договаривались с королевскими интендантами о валовой сумме налогов, которые должны были взиматься с их провинций. Они делили эту сумму и взимали ее с различных подразделений своей территории. Они взимали ее с помощью налогов, аналогичных тем, что взимались с общего правительства. [Сноска: Luca, *Les assemblées provinciales*, 111. Necker, *Mémoire au roi sur l'établissement des administrations provinciales, passim*].

Но, несмотря на все недостатки, провинциальные собрания были очень ценны для провинций, которые ими обладали. Они были, по крайней мере, гарантией того, что местные знания и местный патриотизм будут применяться к местным делам. Кроме того, они обладали правом подачи петиций - правом, необходимым для хорошего правительства, как для информирования правителей, так и для выражения чувств подданных. В англоязычных странах это право является и уже давно является настолько свободным, что трудно представить, что существуют цивилизованные страны, где люди не могут спокойно и уважительно выражать свои желания. Однако в старой Франции, как и в значительной части континентальной Европы сегодня, гражданин, публично высказывающий свое мнение по общественным вопросам или указывающий на известные общественные недовольства, считался нарушителем спокойствия. В таких обстоятельствах группа людей, которым было позволено обсуждать и рекомендовать, могла оказать большую услугу своей стране, просто воспользовавшись этой свободой. Жалобы сословий каждой провинции передавались королю в совете, в документе, известном как *cahier*, и выраженные таким образом пожелания часто ложились в основу законодательства или административных распоряжений.

Среди спазматических попыток реформ, предпринятых при Людовике XVI, были две попытки расширить систему местного самоуправления. Первая была предпринята Неккером в 1778 и 1779 годах. В эти годы в порядке эксперимента в двух провинциях, Берри и Верхней Гюйенне, были созданы провинциальные ассамблеи. Эти ассамблеи состояли из сорока восьми и пятидесяти двух членов соответственно, одна половина была взята из духовенства и дворянства, другая - из третьего сословия городов и деревни. Треть членов Собрания Берри назначалась королем, а они избирали своих соратников, заботясь о сохранении равенства сословий. Одна треть членов должна была обновляться самим собранием раз в три года. Таким образом, этот орган никак не зависел от народных выборов. Собрание заседало и голосовало как единая палата. Его функции были почти чисто административными: установление налогов, уход за дорогами и управление благотворительными учреждениями. Все это делалось под пристальным наблюдением интенданта и, через него, министра. Собрание заседало лишь раз в два года, не более одного месяца, а в промежутках между сессиями его работу выполняла промежуточная комиссия. Общий план ассамблеи Верхней Гюйенны был схож с планом ассамблеи Берри.

Между созданием этих экспериментальных ассамблей и созывом первого собрания нотаблей в Версале прошло восемь лет - восемь важных лет в истории Франции. Неккер был изгнан из власти, но два новых органа пережили реакционную политику его преемников и сослужили неплохую службу. Павший министр сохранил свою популярность и влияние на широкую публику. Его большая книга "Управление финансами" была нарасхват, восемьдесят тысяч экземпляров быстро разошлись. В ней он излагает свою излюбленную схему

провинциальных собраний и высоко оценивает работу двух уже созданных. Он указывает, что это не представительные органы, уполномоченные заключать сделки с королем и препятствовать правительству, а административные советы, на которые государь возложил обязанность следить за интересами жителей своих округов. Нотабль 1787 года и министр Бриенн приняли взгляды Неккера, но не полностью. Они создали провинциальные ассамблеи по всей Франции по собственному плану. Половина членов этих новых органов должна была избираться в первую очередь королем, а вторая половина - первой. Но по истечении трех лет одна четвертая часть собрания должна была выбыть, а ее место должно было быть заполнено путем настоящих выборов. Однако эти выборы должны были быть не прямыми, а проходить в три этапа. В каждой деревне должен был быть создан приходской совет, состоящий из лорда и священника по должности, а также нескольких выборных членов. Эти приходские советы должны были избирать районные советы (*assemblées d'élection*), а последние - новых членов провинциального собрания. Ход событий после 1787 года не позволил провести эти выборы. Но назначенные собрания собирались дважды, один раз для организации, другой - для ведения дел. Они появились слишком поздно, чтобы предотвратить катастрофу, но просуществовали достаточно долго, чтобы дать обоснованные надежды на их полезность. Великое Национальное собрание 1789 года и его преемники могли бы иметь гораздо менее бурную историю, если бы вся Франция привыкла, пусть всего на одно поколение, к политическим органам, сдерживаемым законом.[Сноска: Necker, *Compte rendu*, 74. Ibid., *De l'Administration*, ii. 225, 292. Lavergne, *Les Assemblées provinciales sous Louis XVI*. Lucay, *Les Assemblées provinciales sous Louis XVI*., 163].

В пределах одной провинции или округа не существовало пропорционального равенства между людьми в вопросах налогообложения. Иногда говорили, что дворянин платит своей кровью, а холоп - своими деньгами. Но в дворянское сословие входили многие люди, которые и не думали проливать кровь за свою страну; по сути, это были богатые и преуспевающие люди. Они не были (как их иногда представляют) полностью свободны от налогов. Примерно половина налогов была косвенной, и можно предположить, что все классы платили их пропорционально своему потреблению. Однако даже в отношении косвенных налогов привилегированные лица находили способы частично избежать их. Некоторые прямые налоги вычитались из зарплаты или облагались налогом на доходы, но, как утверждалось, богатые и влиятельные люди часто добивались того, что их доходы облагались по минимуму. Чтобы усилить неравенство в налогообложении, правительство имело привычку, когда ему требовалось больше денег, чем обычно, добавлять процент к какому-нибудь старому налогу, вместо того чтобы придумать новый, и таким образом обкладывать новым налогом те классы, которые и так облагались наиболее сурово.

Первым среди французских налогов, как по несправедливости, так и по дурной славе, стал поземельный налог, или *Taille*, приносящий двадцати четырем округам доход в размере около сорока пяти миллионов ливров, или, вместе с сопутствующими налогами, около семидесяти пяти миллионов[Сноска: Bailly, ii. 307. Неккер, *De l'Administration*, i. 6, 35, считает, что хвост составляет 91 миллион, но я думаю, что он включает в него и абонементные платежи, выплачиваемые Pays d'états, но не те, которые выплачивают города].

Фрак был феодального происхождения, и в Средние века его платили сеньору его арендаторы. В XV веке, однако, она уже была направлена в королевскую казну, а ее продукт использовался для содержания войск. Поэтому его платили только холопы, так как дворяне служили лично, а духовенство - вместо них, если вообще служило.

Освобождение высших сословий от уплаты *taille* сохранялось за этим налогом и после того, как причины для такой свободы перестали существовать. Сам налог рано стал состоять из

двух видов, реального и личного. *Налог на землю (taille réelle)*, распространенный в южных провинциях Франции, был настоящим земельным налогом, который взимался по результатам обследования и оценки всех земель, не считавшихся ни дворянскими, ни церковными, ни общественными. Различие между дворянскими и крестьянскими землями было старым, и крестьянские земли платили налог, даже если ими владели привилегированные лица. [Сноска: Turgot, iv. 74].

На большей части Франции, однако, *taille réelle* не существовало, а действовал только *taille personnelle*. Он распространялся на доходы от земли и на все виды промышленности; но церковники и дворяне были освобождены от него, по крайней мере частично. [Сноска: По-видимому, существовал предел освобождения дворян, обрабатывающих свои собственные земли]. В силу своего личного характера налог уплачивался по месту жительства облагаемого лица. Если крестьянин жил в одном приходе, а большую часть дохода получал с земли, расположенной в другом, он облагался по месту жительства, причем по ставке, возможно, совершенно отличной от ставки прихода, в котором находилась его ферма. Могло случиться так, что большая часть земель прихода принадлежала нерезидентам, и таким образом снижалась способность прихода платить налоги. Но были и исключения из правила, согласно которому налог следовал за человеком, и все это было настолько сложным, что служило благодатной причиной для споров и двойного налогообложения [Сноска: Turgot, iv. 76].

Метод оценки и взимания налога был своеобразным. Валовая сумма хвоста дважды в год определялась королевским советом и произвольно распределялась между двадцатью четырьмя округами (генералитетами) Франции, а затем различными чиновниками делилась между подрайонами (элекциями) и приходами. Такое деление было очень неравномерным; некоторые провинции, округа и приходы подвергались гораздо более суровому обращению, чем другие, очевидно, скорее по случайности или обычаю, чем по какой-либо справедливой причине. Влиятельный человек часто мог добиться уменьшения налога для своей деревни. Когда работа по разделению была завершена, синдиков и других приходских чиновников уведомляли о налоге, наложенном на их приходы, которые отныне несли ответственность за его размер. Но хвост еще нужно было распределить между жителями. Для этого в каждой сельской общине путем всеобщего голосования избиралось от трех до семи сборщиков. Сборщики выставляли оценки своим соседям по собственному усмотрению и несли личную ответственность перед правительством за всю сумму, начисленную на приход. За это, а также за свой труд, им разрешалось взимать процент в дополнение к хвосту на свое жалованье [Сноска: "Six deniers par livre" = 2 1/2 процента. Turgot, vii. 125. Иногда 5 процентов. Babeau, *Le Village*, 225]. Весь этот процесс был причиной бесконечных препирательств и споров, судебных исков и апелляций, и сборщики часто разорялись, несмотря на все свои усилия. Это были невежественные крестьяне, не привыкшие к счетам, а иногда и не умевшие читать. В некоторых горных приходах Пиренеев их счета велись на зазубренных палочках до самого начала революции [Сноска: Bailly, ii. 159. Horn, 224 Babeau, *Le Village*, 222, 224. Тюрго, vii. 122, iv. 51. *Encyclopédie*, xv. 841 (*Taille*). Аналогичная практика существовала в английском суде казначейства и позднее].

Ответственность за хвост была совместной. На приход накладывалась общая сумма, и если один человек сбегал или был не в состоянии заплатить, его долю должны были нести остальные. С другой стороны, если один человек переплачивал, облегчалось бремя его соседей. Таким образом, каждый был заинтересован в том, чтобы казаться бедным. А налоги были настолько важным делом, занимая такую большую часть годового дохода, что меняли весь образ жизни. Люди не смели показаться на людях, чтобы не увеличивать свои доли.

Они прятали свои богатства и предавались роскоши втайне. Однажды Жан Жак Руссо, путешествуя пешком, как это было принято, зашел в одинокий фермерский дом и попросил поесть. Перед ним поставили горшок с обезжиренным молоком и грубый ячменный хлеб; крестьянин, живший в доме, сказал, что это все, что у него есть. Однако через некоторое время, наблюдая за манерами и аппетитом своего гостя, крестьянин набрался смелости. Сказав Руссо, что он уверен, что тот хороший, честный человек и не шпион, он исчез через дверь-ловушку и вскоре вернулся с хорошим пшеничным хлебом, немного темного с отрубями, ветчиной и бутылкой вина. Вскоре на блюде зашипел омлет. Когда пришло время Руссо расплатиться и уйти, страхи крестьянина вернулись. Он отказался от денег, он был явно расстроен. Руссо рассказал, что хлеб и вино были спрятаны из страха перед сборщиком налогов; что человек верил, что его разорят, если узнают, что у него что-то есть. [Сноска: Руссо, xvii. 281 (*Исповедь*, часть i., liv. iv.). Vauban, 51, и *passim*. Bois-Guillebert, 191].

Как для отдельных людей было выгодно, чтобы их считали бедными, так и для деревень было лучше, чтобы они выглядели убогими. Маркиз Аржансон пишет в своем дневнике: "В деревню, где находится мой загородный дом, зашел чиновник *по выборам* и сказал, что в этом году хвост прихода значительно поднимется; он заметил, что крестьяне выглядят толще, чем в других местах, видел куриные перья, валяющиеся у дверей, что люди живут хорошо и удобно, что я трачу в деревне много денег на свои домашние расходы и т. д. Вот что обескураживает крестьян. Вот что является причиной несчастий королевства. Вот над чем плакал бы Генрих IV, живи он сейчас". [Сноска: D'Argenson, vi. 256 (12 сентября 1750 г.). См. также vi. 425, vii. 55, viii. 8, 35, 53].

В деревне люди стали очень недоверчивыми и подозрительными, когда дело касалось правительственных чиновников. "Я помню одну необычную особенность этого вопроса, - говорит Неккер. "Лет двадцать тому назад один интендант, с похвальным намерением поощрять производство меда и разведение пчел, начал с того, что попросил статистику о количестве ульев, содержащихся в провинции. Люди не поняли его намерений, возможно, отнеслись к ним с подозрением, и через несколько дней почти все ульи были уничтожены". [Сноска: *De l'Administration*, iii. 232].

Никого нельзя было побудить платить сразу, чтобы не подумали, что у него есть деньги. Налог уплачивался в четыре платежа, с первого октября по последний апрель, но сбор одного платежа редко заканчивался до наступления срока следующего; сбор налога за один год редко производился до наступления следующего. Крестьяне заставляли сборщиков выжимать с трудом заработанные медяки по одному или по два за раз. Опоздавших донимали штрафами и недоимками. За неуплаченные налоги продавали мебель, двери, стропила и полы. Во времена Людовика XV, если целая деревня слишком сильно отставала, четыре ее главных жителя могли быть схвачены и отправлены в тюрьму. Эта телесная солидарная ответственность была прекращена законом, принятым при министерстве Тюрго и, по-видимому, не отмененным после его падения [Сноска: Horn, 238; Vauban; Bailly, ii. 203; Stourm, i. 52; Turgot, vii. 119].

Оценка и взимание хвоста представляли собой множество аномалий. В некоторых местах интендант назначал комиссаров для оценки имений и подсчета стоимости дневного труда ремесленников. Этот метод работал хорошо и приносил удовлетворение, но распространялся лишь на несколько провинций [Сноска: Babeau, *Le Village*, 214].

От земельного налога мы переходим к двадцаткам (*вингтьемам* [Сноска: Не следует путать с *Droit de vingtième*, косвенным налогом на вино. Кауфман, 33. Обратите внимание, что о двух *вингтьемах* постоянно говорят как о *диксимах*]), которые, как следует из их названия,

теоретически были налогами в размере пяти процентов с доходов. От них было освобождено только духовенство (купив у короны вечное освобождение). Две двадцатых и четыре су в ливре первой двадцатки, или одиннадцать процентов, были обычной ставкой в правление Людовика XVI, и ожидалось, что она принесет от пятидесяти пяти до шестидесяти миллионов ливров в год. Третья двадцатка была заложена в 1782 году, чтобы продержаться три года после окончания войны Американской революции, которая тогда шла полным ходом. Эта двадцатка принесла только двадцать один с половиной миллион, благодаря различным льготам, которые были разрешены. Обязательства по двадцаткам были не совместными, а индивидуальными, так что при вычете из суммы, взимаемой с одного налогоплательщика, сумма, взимаемая с других, не увеличивалась.

Была предпринята попытка обложить двадцатками различные виды доходов. Наибольшую часть составлял продукт сельского хозяйства, но определенный процент удерживался с зарплат и пенсий, выплачиваемых правительством, а также с доходов государственных служащих, получающих вознаграждение. Несмотря на стремление охватить все виды доходов этим налогом, по общему мнению, оценки обычно делались слишком низкими, и имела место несправедливая дискриминация. С другой стороны, жители некоторых провинций считали, что с них взимается завышенный налог. Попытки исправить ситуацию встретили сопротивление в судах, поскольку утверждалось, что оценка дохода человека для целей этого налога не может быть увеличена на законных основаниях. Поучительно сравнить интерес, проявленный к правам высших классов, которые участвовали в выплате двадцатых, с безразличием, проявленным к произволу, с которым обращались с простыми людьми при взимании земельного налога[Сноска: Неккер считает, что два *вингтьема* и четыре су составляют 55 000 000 ливров. *De l'Administration*, i. 5, 6. *Compte rendu*, 61. Там же, *Mémoire au roi sur l'établissement des administrations provinciales*, 25. Неккер отменил *вингтьме д'индустри*, применявшееся к мануфактурам и торговле. *Compte rendu*, 64. В своей более поздней книге он говорит о ней как о существовавшей лишь в нескольких провинциях. *De l'Administration*, i. 159. Turgot, iv. 289. Stourm, i. 54].

Налог на население (*capitation*) был единым только по названию. На самом деле это был грубо исчисленный подоходный налог, и жители Франции для его целей были разделены на двадцать два класса в зависимости от их предполагаемой платежеспособности. В стране сумма, требуемая для уплаты этого налога, обычно была пропорциональна размеру личного хвоста. Люди, которые не платили *taille*, оценивались в соответствии с их государственной должностью, военным званием, бизнесом или профессией. Правила были сложными, что порождало бесконечные споры. Теоретически от уплаты хвоста освобождались очень бедные, но это освобождение не было очень щедрым, так как служанки взимали по три ливра и двенадцать су в год, а были и более бедные люди, которые платили меньше половины этой суммы. Если бедняк не платил, на него натравливали гарнизон (*garnison*). Человек в синем с ружьем приходил, садился у огня, спал в его постели и забирал все деньги, которые могли прийти в дом, собирая таким образом налог и свое жалованье. Сумма, взимаемая с помощью налога на опрос и сопутствующих сборов, составляла от тридцати шести до сорока двух миллионов ливров в год[Сноска: Bailly, ii. 307. Necker, *De l'Administration*, i. 8. Мерсье, iii. 98, xi. 96. Мерсье считает, что *капитула* боялись больше, чем *диксима*, и больше, чем *антре*, потому что он более непосредственно связан с человеком и его личностью. Означает ли это большую строгость при взыскании? Обратите внимание, что он пишет о Париже, где нет *taille*].

Косвенные налоги Франции были в основном фермерскими. Раз в шесть лет генеральный контролер финансов заключал договор, номинально с человеком из соломы, но фактически

с группой богатых финансистов, которые выступали в качестве поручителей этого человека и были известны как Генеральные фермеры. Первым делом после заключения контракта фермеры собрали капитал, чтобы выкупить своих предшественников, взять на хранение материалы и выплатить аванс правительству; хотя многие генеральные фермеры переходили из одного контракта в другой, для каждой аренды ассоциация создавалась заново. В 1774 году, незадолго до смерти короля Людовика XV, был заключен новый контракт, и авансированный капитал составил 93 600 000 ливров. Фермерам были начислены проценты на эту сумму в размере десяти процентов на первые шестьдесят миллионов и семи процентов на оставшиеся 33 600 000 ливров. Однако эти проценты облагались правительством налогом в размере двух двадцатых.

Рента, выплачиваемая фермерами по этому договору, составляла 152 000 000 ливров в год, и за это вознаграждение им разрешалось собирать косвенные налоги и оставлять себе продукт. Эта система, которая по крайней мере так же стара, как Новый Завет, сегодня обычно осуждается, но в восемнадцатом веке она находила защитников даже среди либеральных писателей.

Генеральных фермеров по договору 1774 года было шестьдесят человек, но они не делили между собой всю прибыль от предприятия. Было принято наделять многих людей долей в операциях фермы, не имея при этом права голоса в ее управлении. Таких людей называли крупье; король Людовик XV сам был одним из них. Его генеральный контролер, аббат Террей, получил за заключение договора вознаграждение в триста тысяч ливров и обещание выплачивать по тысяче ливров за каждый миллион прибыли. Когда сделка была заключена и аванс выплачен, он объявил фермерам, что будут выданы дополнительные крупки и что в казну должны быть внесены различные платежи. Таким образом, прибыль предприятия значительно сократилась. Фермеры сначала грозились отказаться от своей сделки, но контролер сказал им, что в этом случае он не вернет им авансы, а только выплатит проценты на них. Несмотря на это мошенничество, аренда в целом оказалась выгодной для фермеров.

В 1780 году, когда срок вышеупомянутого договора аренды истек, Неккер стал директором финансов. Он провел реформы в Главном хозяйстве, сократив число фермеров с шестидесяти до сорока и уменьшив их доходы. Сбор некоторых налогов был отнят у них и поручен новым компаниям. По его договору арендная плата составляла 122 900 000 ливров, а аванс - сорок восемь миллионов, за что фермеры получали семь процентов. Более того, последние не должны были забирать всю прибыль сверх арендной платы за ферму. Первые три миллиона из этой прибыли шли в казну, которая также получала половину оставшейся прибыли, но круп и пенсии на Ферме были полностью отменены. По подсчетам Неккера, общая сумма, ежегодно взимаемая фермерами с населения под его управлением, составила 184 000 000 ливров, а сумма, собранная двумя новыми компаниями его собственного изобретения, для сбора акциза на питье и для управления королевскими владениями, - еще 92 000 000.

Генеральные фермеры были самыми яркими представителями во Франции денежного сословия, которое только поднималось в цене рядом со старой аристократией, члены которой его презирали, но обхаживали. Многие из фермеров были низкого происхождения и достигли состояния благодаря собственным способностям. Другие принадлежали к семьям, давно прославившимся в финансовом мире. Роскошный стиль их жизни вызывал восхищение вульгарных и насмешки завистников. Офисы "Фермы" занимали несколько исторических домов в Париже. В главном из них когда-то заседала Французская академия под председательством Сегье, а стены и потолки сияли картинами кисти Лебрена и Миньяра. Склады и конторы монополии на табак занимали прекрасное здание между Лувром и

Тюильри, где когда-то герцогини Шеврёз и Лонгвиль вели свои политические и любовные интриги. Недовольные налогоплательщики еще громче ворчали, видя, что ненавистные мытари получили столь роскошное жилье[Сноска: Общая сумма поступлений от Фермы, по данным Неккера, составила 186 000 000 ливров. К этой сумме следует прибавить 2 000 000 за соль и табак, проданные иностранцам; 16 000 000 за стоимость соли и табака и 8 000 000 за стоимость других товаров для Фермы. Таким образом, сумма фактических налогов, собранных Фермой, составила около 160 000 000. Necker, *De l'Administration*, i. 9, 14, iii. 122. Lemoine, *Les derniers fermiers généraux, passim*. Bailly, ii. 185, *n.* и *passim*. *Encyclopédie*, vi. 515 (*Fermes, Cinq grosses*) vi. 513 и т. д. (*Fermes du roi*). Бертен, 480. Mercier, xii. 89].

Первым и самым страшным из косвенных налогов был налог на соль (*gabelle*). Поскольку соль необходима всем, некоторые правительства с ранних времен считали ее хорошей статьей для налога, поскольку никто не мог избежать уплаты, полностью обходясь без нее. Чтобы сделать доходы более надежными, каждый домохозяин в некоторых частях Франции был обязан покупать на складах фермы семь фунтов соли в год на каждого члена своей семьи старше семи лет. Несмотря на это, определенная экономия в использовании этого продукта вошла в привычку французской нации, и путешественник XIX века может благословить правительство Бурбонов, когда хоть раз в жизни окажется в стране, где повара не пересаливают суп.

Несчастливым французам XVIII века пришлось дорого заплатить за этот кулинарный урок. Но в этом вопросе, как и в других, они платили не все одинаково. Вся сумма налога на соль, поступавшая в казну, составляла около шестидесяти миллионов ливров, из которых две трети, или сорок миллионов, брались с провинций, где проживало чуть больше трети населения королевства. Неккер, который очень хотел уравнивать этот налог, упоминает шесть основных категорий провинций в отношении налога на соль; от тех, в которых продажа была свободной, а товар стоил от двух до девяти ливров за сотню веса, до тех, где это была монополия фермера, и соль обходилась потребителю примерно в шестьдесят два ливра. Таким образом, соль в одной провинции стоила в тридцать раз дороже, чем в другой, и удачливый контрабандист мог зарабатывать на жизнь несколькими поездками. Эта возможность широко использовалась; детей к незаконной торговле приучали родители, но наказания были очень суровыми. На галерах было много контрабандистов соли; людей сажали в тюрьму по одному лишь подозрению, а в переполненных тюрьмах того времени их уносили тюремные лихорадки[Сноска: Necker, *De l'Administration*, ii. 1. Ibid., *Compte rendu*, 82, и см. карту Франции, разделенную в соответствии с *габелью*, в том же томе. Bailly, ii. 163. Кламажеран, iii. 84 *n.*, 296, 406. О многочисленных офицерах и сложной системе *габелей* см. *Энциклопедию*, vii. 942 (*Grenier a sel*); *квинтал* = 100 французских фунтов; но какие именно из многочисленных французских фунтов, я не знаю]. Из всех известных стимуляторов табак, пожалуй, наиболее приятен и наименее вреден для человека, который его принимает; но до сих пор не придумано способа его употребления, который не мог бы оскорбить нежные нервы постороннего наблюдателя. Возможно, именно по этой причине к этой успокаивающей траве всегда относились с некоторым недоверием, и она редко получала справедливое отношение при налогообложении. На значительной части Франции, где проживает около двадцати двух миллионов жителей, табак был монополизирован в течение ста лет, когда на престол взошел Людовик XVI,[Сноска: С интервалом в два года, в течение которого он облагался высокой пошлиной. Stourm, i. 361.], однако употребление этого товара стало настолько распространенным, что население покупало пятнадцать миллионов фунтов в год, или от пяти восьмых до трех четвертей фунта на голову. Из этого количества примерно одна двенадцатая часть использовалась для курения в трубках, а остальное потреблялось в приятной форме нюхательного табака. Три ливра пятнадцать су за фунт были ценой,

установленной правительством и собираемой фермерами, а табак часто плесневел[Сноска: Necker, *De l'Administration*, ii. 100. Babeau, *La vie rurale*, 78].

Акциз на вино и сидр (*aides*) взимался не только с производителя, но и с потребителя, причем самым досадным образом, так что чиновники постоянно проникали в частные дома, и бедному крестьянину, который спокойно разбавлял свою меру сидра двумя мерами воды, повезло, если он отделался тройным налогом и не подвергся штрафу и конфискации за наличие в его доме сидра, не облагаемого налогом. Кроме того, акцизные чиновники придерживались принципа, что вино никогда не отдается; а поскольку налог взимался с каждой продажи, бедный виноградарь не мог отдать часть продукции своего виноградника своим женатым детям или даже подарить несколько бутылок бедной больной женщине, не попав в беду. И все это несмотря на то, что во Франции XVIII века, когда чай и кофе были неизвестны сельским жителям, а питьевая вода часто бралась из загрязненных колодцев, вино или сидр считались необходимыми для здоровья и жизни.

Нет необходимости подробно рассматривать пошлины на импорт и экспорт (*traites*). С начала XVIII века и до трех лет после окончания Американской войны торговля между Францией и Англией была полностью запрещена в отношении большинства товаров и облагалась запретительными пошлинами в отношении тех немногих, которые оставались. Такое положение вещей скрашивалось развитой системой контрабанды, которая велась настолько успешно, что страховка во многих случаях достигала десяти и даже пяти процентов. Товары иногда доставлялись темными ночами прямо с одного побережья на другое, и ни одному читателю литературы прошлого века не нужно напоминать, что "свободные торговцы", которые их привозили, были благосклонно приняты людьми, среди которых они могли высадиться. Иногда товары отправлялись извилистыми путями через Голландию или Германию, на границах которых не существовало таких же запретительных стен. Но было много вещей, которые было неудобно перевозить контрабандой, и в их случае отсутствие конкуренции, а еще больше отсутствие стандартов сравнения, как правило, замедляло и вредило производству. В то время как усовершенствованные машины для прядения и ткачества были широко распространены в Англии, во Франции все еще сохранялись старые веретена, колеса и домашние станки. В 1786 году между двумя странами был подписан торговый договор. Согласно его положениям, французские вина были поставлены на более выгодную ногу, а многие промышленные товары, такие как скобяные изделия, столовые приборы, лен, марля и мельничные изделия, должны были облагаться пошлиной в десять или двенадцать процентов. Путаница в делах, которая была естественным результатом столь значительных перемен, еще не перестала ощущаться, когда Великая революция начала нарушать все торговые отношения.

Не только на границах торговля была обложена пошлинами и сборами. Торговля была затруднена на всех дорогах и реках королевства, и эти местные пошлины были настолько сложны, что, как говорят, не более двух-трех человек в поколении понимали их досконально.

Пошлины на продукты питания тогда, как и сейчас, взимались при въезде во многие французские города (*octrois*). В прошлом веке они часто были частичными: тем из мещан, кто владел фермами или садами за стенами города, разрешалось ввозить свои продукты бесплатно, в то время как их более бедные соседи были обязаны платить пошлину за все, что они ели. В Париже некоторые виды продуктов, в частности рыба, были одновременно и плохими, и дорогими, потому что пошлины у городских ворот во много раз превышали первоначальную стоимость.[Сноска: См. жалкий *кайер* деревни Паво, *Archives parlementaires*, v. 9. Вобан, *Dîme royale*, 26, 51. Montesquieu, iv. 122 (*Esprit des Lois*, liv. xiii. c. 7).

Necker, *De l'Administration*, ii. 113. *Encyclopédie méthodique, Finance*, iii. 709 (*Traites*). Тюрго, vii. 37. Mercier, xi. 100. Stourm, i. 325].

Было еще одно бремя, которое разделяло с хвостом и габелью особую ненависть французского крестьянства. Это была холопская повинность (*corvée*), которую требовали от крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Эта служба имела феодальное происхождение и, хотя во многих случаях ее по-прежнему требовали сеньоры в соответствии с древними хартиями или обычаями, теперь она также требовалась государством для строительства дорог и перевозки солдатского багажа. Это требование не основывалось ни на каком общем законе, а устанавливалось произвольно интендантами и военачальниками. Сумма, причитающаяся каждой волости, решалась теми же властями в безапелляционном порядке. Крестьянин и его тяговая скотина были вынуждены покинуть дом, возможно, как раз во время сбора урожая. На дорогах можно было увидеть перегруженные телеги, на которые усталые солдаты наваливали свой багаж, а их товарищи подгоняли медлительных упряжек мечами и штыками и потешались над уговорами несчастного хозяина. Волы часто получали травмы от непосильного труда и грубого обращения, а один больной вол выводил из строя целую упряжку. Бремя, возложенное на волость коллективно, распределялось между крестьянами их синдиками, политическими чиновниками, часто пристрастными, которых иногда сопровождали в их работе по отбору солдаты, одинаково грубые и нетерпимые к несговорчивым крестьянам и жалким чиновникам. Тюрго, остро ощущавший тяготы *корве*, отменил его во время своего короткого пребывания у власти, заменив налогом, но он был восстановлен его преемником сразу после его падения, и не прекращался до конца монархии. [Сноска: *Корвеи*, принадлежащие лордам, были ограничены юридическим обычаем двенадцатью днями в году. *Encyclopédie*, iv. 280 (*Corvée*). Я не могу найти никаких подобных ограничений *корвеев*, введенных правительством. Похоже, что при определении сезона *корвеев* для строительства дорог учитывалось удобство крестьян, но не учитывалось для военных перевозок. Компенсация за последние была назначена, но она была недостаточной и едва ли составляла одну четвертую рыночной цены такого труда. Turgot, iv. 367. Bailly, ii. 215].

Совершенно невозможно определить, даже приблизительно, какую долю дохода француза забирало в виде налогов правительство Людовика XVI. Можно предположить, что бремя было слишком велико, можно быть уверенным, что оно было плохо распределено, но при нем благосостояние и население медленно росли.

Возьмем цифры Неккера, как наиболее умеренные. Неккера принято высмеивать, и он, конечно, не был человеком достаточно сильным и гениальным, чтобы преодолеть все трудности, которые его окружали, но он, вероятно, знал о состоянии Франции больше, чем любой другой человек, живший в то время. Возьмем его цифры и предположим, что два двадцатых года и четыре су за ливр первого двадцатого дали те одиннадцать процентов, которые они теоретически должны были дать. В этом случае одиннадцать процентов дохода страны равнялись пятидесяти пяти миллионам ливров. Но при такой ставке прямые налоги и десятина отнимали бы более половины дохода, а косвенные - более половины, и французским подданным не на что было бы жить. Таким образом, очевидно, что двадцатые годы не дали ничего похожего на теоретические одиннадцать процентов.

М. Тэн изучил этот вопрос с видимой тщательностью, и его цифры приняты последними авторами, но они, похоже, могут быть подвергнуты тому же возражению. По его подсчетам, некоторые крестьяне выплачивали более восьмидесяти процентов своего дохода. Но если человек мог из года в год выплачивать правительству такую долю и не умирать от нужды, то каким же благополучным должен быть человек, живущий на той же земле сегодня, если его

налоги составляют лишь четверть или треть его дохода. Настоящая трудность заключается в оценке. Мы можем приблизительно сказать, сколько платила страна, но мы никогда не сможем узнать размер ее богатства.

Насколько богатые избежали налогообложения? Духовенство Франции, как совокупность людей, в значительной степени избежало этого. Они не платили ни одного из прямых налогов, взимаемых с их соотечественников. Однако они делали подарки и давали займы государству, а также занимали деньги для этих целей. За эти деньги они платили проценты, которые следует рассматривать как их реальный вклад в расходы государства. Но и в этом им помогала казна. Сумма, которая в итоге была извлечена из карманов духовенства путем прямого налогообложения, составила менее десяти процентов от его доходов от вложенной собственности.

Дворяне несли более значительную долю. Единственным крупным налогом, от которого члены этого ордена были освобождены, был хвост, составлявший менее половины прямого налога, менее одной шестой части всего. Но и в других прямых налогах их богатство и влияние иногда позволяли им избежать справедливой оценки.

Косвенные налоги также тяжело отражались на бедных. Они взимались в основном с предметов первой необходимости, таких как соль и продукты питания, или с таких простых предметов роскоши, как вино и табак, от которых французы всех сословий зависят в повседневной жизни. Габель, с обязательными семью фунтами соли, по своему действию приближался к опросному налогу.

Худшими чертами французского налогообложения были произвол, царивший в финансовой администрации, правила, никогда не подвергавшиеся общественной критике, тирания и мошенничество подчиненных, которые редко удавалось исправить[Сноска: Horn, 254]. Мы устало отворачиваемся от пустых слов, которые окружают самые простые вещи. Но только гласность и свободное обсуждение не позволят каждому недобросовестному оценщику и каждому произвольному клерку в таможенной палате стать мелким тираном. Сами по себе они не обеспечат хорошего правительства, но они не позволят плохому правительству стать невыносимым. Во Франции, как мы уже видели, печатать что-либо, способное взбудоражить общественное мнение, было смертным преступлением; и если автор абстрактного трактата, подрывающего религию и правительство, мог надеяться избежать наказания, то гражданин, заслуживший недовольство мелкого чиновника, скорее всего, подвергнется жестокому преследованию.

## ГЛАВА XV.

### ФИНАНСЫ.

Некоторые финансовые практики, не связанные непосредственно с налогообложением, требуют краткого упоминания, поскольку они относятся к числу наиболее известных ошибок правительства старой Франции. Одной из них была привычка выпускать так называемые предвидения[Сноска: Предвидения. "On entendait par là des assignations sur les revenus futurs, remises aux fournisseurs et autres creanciers du Trésor et negociables entre leurs mains." Clamageran, iii. 30. Necker, *Compte rendu*, 20. Стурм (ii. 200) не считает эту сумму чрезмерной, хотя и признает, что она считалась таковой. Антиципации фактически составляли плавающий долг правительства. Гомель, 287]. Это были ценные бумаги с ограниченным сроком обращения, выплачиваемые из определенной части будущих доходов. Они были излюбленной формой инвестиций для некоторых людей и очень удобны для казны, но постоянно имели тенденцию увеличиваться до размеров, которые считались опасными.

Таким образом, доходы каждого года расходовались еще до того, как они были собраны; а займы заключались не для каких-то срочных и исключительных нужд государства, а для обычных текущих расходов. Другой практикой была выдача королем лично векселей казначейству. Такие тратты (*acquits de comptant*) выдавались на предъявителя, и поэтому контролеру финансов было невозможно узнать, для какой цели они были выписаны. Изначально предназначенные для оплаты личных расходов короля, эти тратты стали излюбленным объектом корыстолюбия придворных, поскольку по их форме невозможно было отследить их и узнать получателя. При Людовике XVI они поглощали больше денег, чем когда-либо прежде. Этому слабому принцу было очень легко дать чек любому, кто бы его ни попросил. Тюрго заставил его пообещать прекратить это, но у него не хватило сил сдержать слово[Сноска: Clamageran, in. 380, n. Bailly, i. 221, ii. 214, 259. Министерство иностранных дел использовало ордонансы на сумму в несколько миллионов ежегодно для субсидий иностранным правительствам, расходов послов, секретной службы и т. д. Stourm, ii. 153].

Обычай продавать государственные должности укоренился во Франции очень давно. До середины XIV века мы видим, как Людовик X. продавал судебные места тому, кто больше заплатит, а менее чем через сто лет эта практика распространилась настолько, что правительство продавало всевозможные мелкие должности. Этот способ получения денег был настолько прост, что, несмотря на уговоры генеральных сословий и обещания королей, его постоянно расширяли. В XVI веке, чтобы еще больше побудить покупателей, должности стали передаваться на определенных условиях, а в 1605 году они стали передаваться по наследству. Таким образом, места, находящиеся в ведении правительства, приравнивались к другой собственности и переходили от владельца к его наследникам. Закон, установивший такое положение вещей, назывался *Édit de la Paulette*, по имени некоего Паулета, фермера, занимавшегося доходами.

Эта продажа должностей имела определенное сходство с займом и налогом. Услуги, которые нужно было выполнять, часто были неважными, иногда даже бесполезными. Но жалование, причитающееся за должность, можно считать процентом с денег, одолженных короне; если же чиновник получал плату за услуги, то он мог возместить себе аванс, выданный правительству, путем вытягивания денег из налогоплательщиков. Как правило, эти две формы прибыли для должностного лица сочетались с третьей - владением привилегиями или освобождением от налогов, связанными с должностью.

Распоряжаясь доходами из этого источника, казна не имела справедливых отношений ни с должностными лицами, ни с населением. Должности создавались только для того, чтобы их продавали, и вскоре упразднялись, либо без обещания компенсации покупателям, либо с обещаниями, которым не суждено было сбыться. Это недоверие сдерживало цену, которая часто составляла лишь десятилетний доход от покупки места. И все же богатые и бедные охотно покупали. "Сэр, - сказал министр финансов королю Людовику XIV, - как часто вашему величеству угодно, чтобы должность была учреждена, так Богу угодно, чтобы ее занял дурак".

Так сложилось, что большинство мест около королевской особы, в судах и казначействе, а также многие места в муниципальных органах власти, в профессиях и ремеслах стали предметом купли-продажи. Бесчисленное множество людей ожидало за королевским столом, заседало в высших судах парламента, взвешивало, измеряло, продавало лошадей, устриц, рыбу или поросят-сосунов, брило клиентов или принимало горячие ванны, как государственные служащие и в силу жалованных грамот, проданных им короной. Клерк вел свой реестр не потому, что содержащаяся в нем информация была полезна правительству, а

потому, что он или кто-то другой ссужал деньги, по которым население теперь платило проценты в виде регистрационных сборов. Таким образом, обычай продажи должностей был обременительным и нежелательным[Сноска: Монтескье, однако, защищает этот обычай. Он утверждает, что должности в монархии должны быть продажными, потому что люди занимаются семейным делом, за которое они не взялись бы из добродетели; каждый приучен к своему долгу, и порядки в государстве более постоянны. Если бы должности не продавались правительством, они продавались бы придворными". Монтескье, iii. 217 (*Esprit des Lois*, liv. v. cxix.). См. также De Tocqueville, iv. 171 (*Anc. Reg. ch. xi.*). Во многих случаях должности были желанны скорее ради отличия и привилегий, чем ради прибыли. Доход часто был очень мал. Кламажеран, ii. 196, 378, 569, 615, 665; iii. 23, 24, 102, 155, 200, 319. Неккер, "Управление", iii. 147. Тьерри, i. 163. Pierre de Lestolle, 390, n.].

В то время как налоги Франции были разработаны без системы и взимались без умения, внимание вдумчивой части нации было обращено на финансовые вопросы. Примерно в середине века возникли физиократы, основатели современной политической экономии. Их лидер, Кесней, считал, что позитивное законодательство должно заключаться в провозглашении естественных законов, составляющих порядок, очевидно наиболее выгодный для людей в обществе. Когда они будут поняты, все будет хорошо, так как абсурдность всех неразумных законов станет очевидной. Он учил двум кардинальным принципам; во-первых, "что земля - единственный источник богатства, и что оно приумножается благодаря сельскому хозяйству"; и, во-вторых, что сельское хозяйство и торговля должны быть полностью свободными. Первая из этих доктрин, после того как она оказала большое влияние, привлекая внимание к несправедливости и угнетению, с которыми обращались с сельскохозяйственным классом во Франции, перестала восприниматься как утверждение абсолютной истины. Последняя, принятая с большим энтузиазмом многими щедрыми умами, оказала глубокое влияние на современную мысль.

Мануфактуры, по мнению Кеснея, делают не больше, чем платят зарплату и оплачивают расходы занятых в них рабочих. Сельское же хозяйство не только оплачивает заработную плату и расходы, но и производит излишки, которые являются доходом земли. Он делит народ на три класса: (1) производительный, который обрабатывает землю; (2) собственнический, который включает государя, землевладельцев и тех, кто живет за счет десятины, то есть дворянство и духовенство; и (3) бесплодный, который включает всех людей, которые работают иначе, чем в сельском хозяйстве, и чьи расходы оплачиваются производительным и собственническим классами. Поэтому он утверждает, что налоги должны основываться непосредственно на чистом продукте недвижимости, а не на заработной плате и не на движимом имуществе. Другими словами, все налоги должны взиматься непосредственно с дохода, получаемого от земли, а косвенное налогообложение в любой форме должно быть отменено.

Свобода земледелия, свобода торговли! "Пусть каждый человек будет волен возделывать на своем поле такие культуры, которые, согласно его интересам, его средствам и характеру земли, могут принести наибольшую возможную прибыль". "Пусть сохраняется полная свобода торговли; ибо регулирование торговли, как внутренней, так и внешней, которое является наиболее безопасным, наиболее точным, наиболее выгодным для нации, заключается в полной свободе конкуренции". Эти доктрины Кеснея, соединенные с идеями собственности и безопасности, составляют основу современной школы индивидуализма. [Сноска: Laverge, *Les Économistes*, 105. Quesnay, *Oeuvres*, 233, 306, 331 (*Maximes du gouvernement économique d'un royaume agricole* Maxime, iii. v. xiii. xxv.). Turgot, iv. 305. Бюа-

Гильбер, по-видимому, был главным предшественником физиократов. Horn, *L'Économie politique avant les Physiocrates*, passim; [греч. *physis*] = природа, [греч. *kratos*] = власть].

Совокупность доктрин, долгое время известная как "политическая экономия" (поскольку эти слова, похоже, теперь используются в более широком смысле), носила отпечаток своего происхождения в восемнадцатом веке. Здесь, как и в других местах, французы того времени верили, что применение нескольких простых правил, выведенных из естественных законов, разрешит трудности сложного предмета. Принципы политической экономии задумывались как "истинная наука, которая не уступает геометрии в убеждении, которое она несет душе, и которая, безусловно, превосходит все другие по своему объекту, поскольку это величайшее благосостояние, величайшее процветание человеческого рода на земле"[Сноска: 2. Аббат Бодо, цитируется по Lavergne, *Les Économistes*, 179.] Кесней и Гурне основали ответвления экономической школы. Последний, который ничего не печатал, известен главным образом благодаря хвалебным отзывам Тюрго. Гурне был купцом и признавал, что торговля и мануфактуры едва ли менее выгодны для государства, чем сельское хозяйство. В этом главное отличие его учения от учения Кеснея. Гурне является автором знаменитой максимы: *Laissez faire; laissez passer*; вся его система основывалась на идее, "что в целом каждый человек знает свой собственный интерес лучше, чем другой человек, для которого этот интерес совершенно безразличен", и что "поэтому, когда интерес отдельных людей в точности совпадает с общим интересом, лучше всего оставить каждого человека делать то, что ему нравится"[Сноска: Turgot, iii. 336 (*Éloge de M. de Gournay*)].

Самым известным представителем экономической школы во Франции был Анн Робер Жак Тюрго, родившийся в Париже 10 мая 1727 года в семье, принадлежавшей к высшему среднему классу. Его отец был *prevost des marchands*, или главным магистратом города. Юный Тюрго сначала получил образование для церковной жизни и действительно продолжал учиться в этом направлении, пока епископство не показалось ему близким. Но он не чувствовал призвания к священству. Тюрго был слишком дитя своего века, чтобы довольствоваться тем, что впряг свои великие силы в упряжку римской церкви; он был, как он говорил своим друзьям, которые убеждали его отказаться от блестящих перспектив, слишком честным человеком, чтобы всю жизнь носить маску.

В возрасте двадцати четырех лет Тюрго окончательно переключился с изучения божественных наук на изучение права и управления. Его быстро повысили до должности *мэтра рескриптов*, члена низшей коллегии королевского совета, а через девять лет он стал интендантом округа Лимож. Это был самый бедный округ во Франции, но вскоре Тюрго настолько заинтересовался его благосостоянием, что отказался променять его на более богатый. Несмотря на годы безденежья и чрезвычайные меры помощи, которые они вызвали, он энергично взялся за всевозможные постоянные реформы. Он ввел улучшения в распределение и взимание налога. Он отменил обременительный *корвет*. Он уменьшил ужас обязательной службы в ополчении, разрешив привлекать замену. Он поощрял сельское хозяйство, раздавая семена и предлагая призы за уничтожение волков, которых все еще было много в его округе, и вел успешную войну с молью, уничтожавшей урожай пшеницы. Он способствовал внедрению гончарного производства, которое до сих пор является одной из ведущих отраслей промышленности Лиможа. Его отчеты - один из самых ценных материалов для изучения состояния старой Франции.

Вскоре после воцарения Людовика XVI Тюрго был призван в министерство, сначала на очень короткое время в качестве военно-морского секретаря, а затем в качестве контролера финансов. Перед новым министром открывались два пути. Малешерб, его близкий единомышленник, занимавший высокое официальное положение, убеждал его создать

Генеральное собрание или, по крайней мере, провинциальные собрания и править конституционным путем. Такие действия были бы большим, серьезным нововведением, но не на этом основании Тюрго выступал против них. Как и большинство экономистов его времени, он верил одновременно и в свободу, и в деспотизм. "Республиканская конституция Англии, - говорил он, - ставит препятствия на пути реформы некоторых злоупотреблений". У Тюрго был план, направленный на благо человечества. Никто, кроме деспота, не мог осуществить его. Франция и весь мир должны были исправиться, и для того, чтобы заставить их следовать наилучшему курсу, требовалась абсолютная власть.

Новый контролер финансов не мог позволить себе ждать. "Ты обвиняешь меня в излишней поспешности, - сказал он одному из друзей, - и забываешь, что в моей семье от подагры умирают в пятьдесят лет". Но эта поспешность в сочетании с его неловкими и надменными манерами стала причиной его гибели. Придворные, чьи привилегии были под угрозой, с отвращением смотрели на его простоту и экономность. Хотя он был другом абсолютного правления, его обвиняли в республиканском аскетизме. И его меры были не более популярны, чем его манеры. Урожай 1774 года был плохим, и в стране начался голод. В ответ на это Тюрго объявил торговлю зерном свободной по всему королевству. В 1775 году урожай снова был плохим, и начались беспорядки, поскольку простые люди твердо решили, что цена на хлеб устанавливается правительством. Тюрго подавил беспорядки с помощью высокой руки и упорно продолжал свои меры. Он отменил *корвет* на дорогах и общественных работах по всей Франции. По правде говоря, было бы лучше изменить и регулировать ее, поскольку в бедных странах многие люди предпочитали работать на дорогах, чем платить за них, но подобные соображения были чужды его уму. Кроме того, он упразднил торговые гильдии (*jurandes*), обладавшие монополией на большинство видов производства и ремесел, заявив, что Бог, дав человеку потребности и сделав труд его необходимым ресурсом, сделал право на труд собственностью каждого человека, и что эта собственность является самой священной и неотъемлемой из всех.[Сноска: Turgot, viii. 330. Тем не менее, монополии на некоторые виды торговли, такие как аптекари, ювелиры, печатники и книготорговцы, были сохранены, вероятно, потому, что их строгое регулирование и контроль были признаны необходимыми. Гильдии были восстановлены с изменениями после падения Тюрго. *Encyclopédie méthodique, Commerce*, ii. 760, 790]. Но идеал свободы Тюрго был исключительно промышленным и торговым, а вовсе не политическим или социальным. Он запретил все ассоциации или собрания мастеров и рабочих, считая, что предоставленная ремесленникам одной профессии возможность встречаться и объединяться в одно тело является источником зла. При системе Тюрго отдельный рабочий не избежал бы тирании гильдии мастеров только для того, чтобы попасть под тиранию профсоюза; но ему было бы отказано в одной из самых существенных привилегий свободного человека. Индивидуальная свобода работать и политическая свобода объединяться еще не полностью совпали.

Нововведения, введенные таким образом, были велики; интересы, которым угрожала опасность, были мощными. Парижский парламент встал на защиту неотъемлемых прав. Он отказался регистрировать эдикты, изданные для приведения в исполнение нововведений министра.

Король устроил ложе правосудия и заставил их зарегистрировать; но его слабая натура устала от борьбы. Тюрго был непопулярен со всех сторон, а Людовик никогда не поддерживал по-настоящему непопулярного министра. "Только мсье Тюрго и я любим народ", - кричал он в бессильном отчаянии; и тут он сдался. Первым ушел Малешерб, главный сторонник в королевском совете генерального контролера финансов. После этого Тюрго

написал королю длинное и резкое письмо, обвиняя его в отставке Малешерба. "Не забывают, сударь, - говорил он, - что именно слабость привела к тому, что голова Карла I оказалась на блоке; именно слабость привела к созданию Лиги при Генрихе III, сделала коронованными рабами Людовика XIII и нынешнего короля Португалии; именно слабость стала причиной всех несчастий последнего царствования". Короли, по отношению к которым можно использовать подобные выражения, не настолько сильны, чтобы выдержать их. Тюрго был уволен через двенадцать дней после отправки письма[Сноска: 12 мая 1776 года. Lavergne, *les Économistes*, 219. Turgot, iii. 335; viii. 273, 330. Bailly, ii. 210].

Финансовое положение Франции, несомненно, было тяжелым. Причиной этого была не столько сумма долга или превышение расходов над доходами, сколько полная деморализация государственной службы. Годовой дефицит к моменту воцарения Людовика XVI составлял, по разным данным, от двадцати до сорока миллионов ливров в год[Сноска: От четырех до восьми миллионов долларов]. Такой дефицит не представлял бы ничего ужасающего для сильного министра финансов, поддерживаемого решительным государем, и мог быть преодолен только за счет экономии. Расходы двора составляли не менее тридцати миллионов. Тюрго предлагал сократить их на пять миллионов немедленно и еще на девять миллионов в течение нескольких лет. Двадцать восемь миллионов было потрачено на пенсии, и требуется лишь поверхностное знание состояния Франции, чтобы убедиться, что многие из них были назначены без достаточных оснований. [Сноска: Стурм определяет сумму пенсий в тридцать два миллиона и считает, что неправомерные пенсии не превышали шести или семи миллионов, ii. 134]. Можно было бы значительно сократить расходы большинства департаментов без ущерба для их эффективности. Но для этого пришлось бы затронуть многие интересы, испытать множество лишений. Приветливые люди, живущие без труда за государственный счет, были бы лишены своих доходов. Другим приятным и влиятельным мужчинам и женщинам пришлось бы жить без приятных вещей, на которые они были воспитаны. Добродушие короля не позволяло ему причинять боль. Он одобрял лучшие планы экономии, обещал своему министру финансов придерживаться их, отступал от них тайно по просьбе жены или придворных. Бедняга хотел "сделать свой народ счастливым", и ему было невыносимо видеть недовольство тех, кто был к нему ближе всего. Преемником Тюрго стал простой придворный, не отличавшийся даже личной честностью, чья карьера, к счастью, оборвалась из-за смерти в течение нескольких месяцев после его назначения.

Приближалась война Американской революции, и старый Морепас, премьер-министр, почувствовал необходимость в компетентном человеке, который мог бы взять на себя управление финансами. Ему было предложено имя Неккера, преуспевающего банкира. Но Неккер был протестантом, швейцарцем, никем. Титул контролера был слишком высок для него, поэтому была учреждена новая должность, и он стал Генеральным директором финансов, вступив в должность в октябре 1776 года.

Судьба Неккера - вызывать бурный энтузиазм и яростную критику; но на самом деле он был не более чем обычным человеком. Честолюбец, он хотел создать себе репутацию, укрепить королевский кредит, учредить национальный долг, подобный английскому. Действительно ли он верил, что такой долг будет выплачивать собственные проценты без дополнительных налогов, или же он полагался на экономию расходов и хорошее управление, чтобы не только сбалансировать обычные счета, но и покрыть проценты по военным займам, которые он был вынужден заключить? Насколько его жизнерадостные манифесты обманывали его самого? Чего он не смог бы добиться, если бы королевская поддержка была не зыбучим песком, а чем-то более твердым? На эти вопросы невозможно дать удовлетворительный ответ. Ни

Неккер, ни кто-либо другой не знали точно, сколько правительство задолжало и сколько заняло. Считается, что займы, заключенные самим Неккером, составили пятьсот тридцать миллионов ливров. Считается, что из этой суммы около двухсот миллионов ушло на покрытие ежегодного дефицита в течение пяти лет, а триста тридцать миллионов были потрачены на чрезвычайные нужды войны. Деньги были собраны в основном за счет государственных лотерей и продажи пожизненных аннуитетов, хотя использовались и другие способы.

Королевская лотерея была излюбленным приемом еще в начале века. В том виде, в котором ее практиковали Неккер и некоторые его предшественники, она сочетала в себе черты азартной игры и инвестиций. Каждый билет, помимо шанса на выигрыш, сам по себе являлся денежным обязательством правительства, либо с вечным процентом в четыре процента, либо подлежащим погашению по полной стоимости через семь или девять лет без процентов. Призы представляли собой денежные суммы или аннуитеты. Таким образом, владелец билета не терял всю свою ставку и имел шанс выиграть целое состояние. Но эта операция не была блестящей для правительства.

Продажа аннуитетов также не была более разумной. Здесь, как и в лотереях, Неккер копировал старые модели, не внося никаких существенных улучшений. Возраст аннуитетов не учитывался, а доходы продавались по фиксированной ставке - десять процентов от вложенного капитала за одну жизнь, девять процентов - за две жизни, восемь с половиной - за три, восемь - за четыре. Банкиры и финансисты того времени были достаточно проницательны, чтобы извлечь выгоду из этого соглашения.

Они скупали обязательства, а в качестве аннуитантов указывали здоровых детей. Срок жизни этих людей превышал пятьдесят лет, а поскольку детей обычно выбирали в возрасте около семи лет, казна должна была выплачивать аннуитеты в среднем в течение сорока-сорока пяти лет. Поскольку текущая процентная ставка по хорошим ценным бумагам составляла около шести процентов, операция была не слишком перспективной для государства.

Несмотря на все эти промахи, Неккер нравился народу. Он осознавал необходимость экономии и честно пытался сократить расходы. Ему удалось немного сократить экстравагантность двора и упростить сбор доходов. Он попытался учредить провинциальные ассамблеи и уравнивать размер налога на соль. И прежде всего, чтобы поддержать королевский кредит, он в некоторой степени взял страну под свою опеку и пророчил приятные события. Но на этом он не остановился. Национальные счета долгое время считались государственной тайной; Неккер решил опубликовать их для всего мира. Его знаменитый "Счет королю" появился в феврале 1781 года. Портрет автора, превосходно выгравированный на меди, благодушно взирает с фронтисписа над аллегорической картиной, на которой мы можем различить Справедливость и Изобилие, в то время как Скупость, кажется, приносит свои сокровища, а дама в высоких напудренных волосах и без видимой одежды изумленно взирает с заднего плана. Содержание отчета не такое, как мы привыкли ожидать от финансовых документов, а риторическое и самодовольное. Утверждается, что обычные доходы страны превышают расходы на десять миллионов ливров. На самом деле такого превышения не было, но Неккер был оптимистом по натуре и, кроме того, стремился укрепить кредит. Народ был в восторге, но Морепас и двор были потрясены. Купчая придворных была описана в этом отчете в ярких выражениях. Такая публикация была опасна сама по себе, а уже принятые экономические меры и те, о которых было объявлено, что они последуют, угрожали многим интересам. Даже старый премьер-министр дрожал за свою личную власть. Неккер добился отстранения от должности одного

из приверженцев Морепа, в то время как тот находился в Париже из-за подагры. Тогда в ход был пущен обычный механизм очернительства. В ход пошли письма, памфлеты и эпиграммы. В то время как большая часть публики пела Неккеру дифирамбы, меньший и более влиятельный внутренний круг сговорился против него. Возможно, он и одержал бы победу, если бы не одно неосторожное действие. Будучи самым известным и популярным человеком в королевстве, он до сих пор был исключен из Государственного совета. Теперь он попросил принять его в него. Людовик XVI, чей католицизм был его самым твердым убеждением, ответил, что Неккер, как протестант, недопустим по закону. Тогда он предложил оставить пост директора финансов, и король, по совету Морепа, принял его отставку[Сноска: Gomet, *passim*].

С этого момента все реальные шансы на избавление Людовика XVI от финансовых трудностей без радикальной смены правительства исчезли навсегда. Сменившие Неккера контролеры лишь все глубже погружались в долги и дефицит. Нет необходимости следовать за ними в их барахтанье. Длительный опыт колебаний правительства как в отношении лиц, так и в отношении систем, удручал надежды совестливого патриотизма и усиливал противодействие реформам всех тех, кто был заинтересован в злоупотреблениях. От благонамеренного короля, оставленного на произвол судьбы, нельзя было ожидать ничего большего. Денежные затруднения Людовика, как и многих менее значительных людей, были в равной степени симптомом слабости и результатом незаслуженного несчастья.

## ГЛАВА XVI.

### "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ".

Мы видели, что у церкви появился непримиримый враг в лице Вольтера; что правительство Франции нашло в лице Монтескье весомого и важного критика; что экономисты атаковали финансовую организацию страны. Но нападки философской школы были направлены не только на религиозную и гражданскую администрацию. Сами основы французской мысли, медленно закладывавшиеся на протяжении предыдущих веков, в царствование Людовика XV стали предметом изучения, и весьма догматичными мыслителями были признаны не имеющими ценности. Однако люди не остались в стороне, подыскивая, чем бы заменить то, что было уничтожено. Учение Локка, разъясненное и усиленное Кондильяком и многими другими, получило авторитет, который слабо оспаривался. Законы против свободы слова и печати, предназначенные для защиты старых доктрин, никого не останавливали от высказывания радикальных мнений. Только люди консервативного и законопослушного темперамента, естественные защитники существующего, были сдержаны юридическими и церковными страхами. Поборники старого образа мыслей стояли, как средневековые люди при оружии перед артиллерийским залпом, которым тяжесть доспехов, уже не защищавших их, мешала броситься на пушки врага. Новая философия, стимулируемая и почти не сдерживаемая слабыми попытками преследований, смогла захватить интеллектуальную жизнь нации, пока не нашла своего самого грозного противника в том, кто был наполовину ее союзником и вышел из ее среды, - в могущественном еретике Руссо.

Самым объемным трудом "Философов" является "Энциклопедия", книга, имеющая огромное значение в истории человеческого разума. Замысел ее создателей не был новым. Попытка привести человеческие знания в систему и изложить их в серии фолиантов предпринималась и раньше. Эта попытка никогда не увенчается полным успехом, но иногда ее следует предпринимать в философском духе. Вселенная слишком обширна и разнообразна, чтобы ее можно было успешно классифицировать и описать силами одного человека или под руководством одного редактора. Но попытка может пролить свет на

некоторые отношения вещей, до сих пор остававшихся незамеченными, и эта задача имеет практическую пользу.

Великая французская "Энциклопедия" может претендовать на двух непосредственных предшественников. Первого можно найти в работах лорда Бэкона, где есть "Описание естественной и экспериментальной истории, которая может служить основой истинной философии", а также "Каталог отдельных историй по названиям". Вторая - "Циклопедия" Чемберса, впервые опубликованная в 1727 году, перевод которой Дидро поручил редактировать издателю Ле Бретону. Дидро, свободно признающий свои обязательства перед Бэконом, облегчает их перед Чемберсом, заявляя в своем проспекте, что последний во многом обязан французским источникам, что его работа не является основой предлагаемой, что многие статьи были переписаны, а почти все остальные исправлены и изменены. Несомненно, что весь план "Энциклопедии" был значительно расширен самим Дени Дидро.[Сноска: Bacon, iv. 251, 265. Morley, *Diderot*, i., 116. Diderot, *Oeuvres*, xiii. 6, 8. "Если мы добьемся успеха, то будем главным образом обязаны канцлеру Бэкону, который разработал план универсального словаря наук и искусств *в то время, когда, так сказать, не было ни наук, ни искусств*".]

Этот выдающийся человек родился в Лангре в 1713 году, сын достойного столяра. Он получил образование у иезуитов, а после отказа поступить на юридический или медицинский факультеты был отправлен в плавание отцом, который надеялся, что небольшие трудности образумят его, и оказался в Париже, не имея никаких средств к существованию, кроме шаткого ремесла писателя. Некоторое время Дидро жил, перебиваясь с ноги на ногу, ночуя то в собственной мансарде, то на полу в комнате друга. Однажды он получил место репетитора для детей одного финансиста, но, не выдержав заточения, вскоре бросил свое назначение и вернулся на свободу. Когда кто-нибудь из друзей его отца приезжал в город, он брал в долг, а старый столяр из Лангра ворчал и возвращал долг. Постепенно молодой автор поднялся над нуждой. Он стал одним из первых литераторов своего времени и одним из самых блестящих ораторов, богатым идеями, переполненным языком, тонким, но не безыскусным, наводящим на размышления и приносящим удовлетворение; при этом он всегда сохранял некоторую застенчивость и "мог сказать все, что угодно, кроме "доброго утра"". Однако вскоре его увлек азарт беседы и дискуссии. У него был трюк - стучать собеседника по колену, чтобы придать смысл своим замечаниям, и императрица Катарина II жаловалась, что он избил ее до синевы этим привычным жестом, так что ей пришлось поставить между собой и ним стол для защиты. Дидро любил молодежь, особенно начинающих авторов. Им он безвозмездно передавал свой кошелек и литературную помощь. Он был в восторге, когда писатель приходил посоветоваться с ним по поводу своей работы. Если тема была интересной, он с первого взгляда определял ее возможности. Пока автор читал, воображение Дидро восполняло все недостатки, создавало новые сцены в трагедии, новые происшествия, новые характеры в сказке. Ему казалось, что все эти красоты принадлежат самому произведению, и его друзья, услышав, как он хвалит какую-то новую книгу, с удивлением обнаруживали в ней лишь несколько положительных моментов, которые он из нее цитировал.

Добрая натура Дидро была безгранична. Однажды утром к нему пришел совершенно незнакомый молодой человек с рукописью и попросил прочитать и исправить ее. Он тут же приготовился выполнить просьбу. Когда он открыл бумагу, оказалось, что это сатира на него самого и его сочинения.

"Сударь, - обратился Дидро к молодому человеку, - я вас не знаю; я никогда не мог вас обидеть. Не скажете ли вы мне, что побудило вас заставить меня впервые в жизни прочесть пасквиль? Я обычно выбрасываю такие вещи в корзину для макулатуры".

"Я умираю с голоду. Я надеялся, что вы дадите мне несколько крон, чтобы не печатать это".

Вместо того чтобы впасть в ярость, Дидро просто заметил: "Вы не первый автор, которого подкупили; но с этим материалом можно поступить лучше. Брат герцога Орлеанского находится в затворничестве в Сент-Женевьев. Он религиозен; он ненавидит меня. Посвятите ему свою сатиру; пусть она будет переплетена с его руками на обложке; отнесите ее ему сами в одно прекрасное утро, и он вам поможет".

"Но я не знаю принца; и я не понимаю, как я могу написать посвящение".

"Садитесь, я сделаю это за вас".

Дидро пишет посвящение и отдает его молодому человеку, который несет пасквиль принцу, получает в подарок двадцать пять луидоров и через несколько дней возвращается, чтобы поблагодарить Дидро, который советует ему найти более достойное средство к существованию.

Люди, которым помогал великий писатель, не всегда были столь вежливы. Однажды он провожал до дверей молодого человека, который обманул его и которому, обнаружив это, дал и помощь, и совет.

"Месье Дидро, - спросил мошенник, - вы разбираетесь в естественной истории?"

"Немного; я могу отличить алоэ от головки латука, а голубя от птицы-жужжалки".

"А форма лео вам знакома?"

"Нет".

"Это очень умное маленькое насекомое. Оно роет в земле ямку, по форме напоминающую воронку. Поверхность она покрывает мелким светлым песком. Он привлекает глупых насекомых и заставляет их падать внутрь. Она хватает их, высасывает досуха, а потом говорит: "Месье Дидро, я имею честь пожелать вам доброго утра"". После этого молодой человек сбежал вниз по лестнице, оставив философа в приступах смеха[Сноска: Morley, Diderot and the Encyclopaedists. Scherer, Diderot, passim. Morrellet, i. 29. Marmontel, ii. 313. Mémoire sur Diderot, par Mme. de Vandeul, sa fille (очаровательный очерк объемом всего 64 страницы) в Diderot, Mémoires, Corresp., etc., vol. i.].

Как писатель, Дидро имеет один большой недостаток, не распространенный во Франции. Он многословен. Читая его произведения, даже самые умные, мы чувствуем, что то же самое можно было бы лучше сказать меньшим количеством слов. Кроме того, ему не хватает организованности. Дидро никогда не уделял времени планированию своих книг перед их написанием. Но эти недостатки, хотя, возможно, и фатальные для постоянной славы автора, наносят меньший ущерб его немедленному успеху, чем можно было бы ожидать. Значительная часть публики не возражает против обильной примеси воды в интеллектуальном напитке. И Дидро примиряет читателя с чрезмерным потоком слов шипением своего энтузиазма. Именно потому, что его ум переполнен темой, предложения вырываются так обильно.

Первое произведение Дидро, которое должно привлечь наше внимание, - это его "Письмо о слепых", опубликованное в 1749 году. В этом письме рассматривается вопрос о том, насколько врожденное лишение одного из органов чувств, особенно слепота, изменит представления человека, которого это коснулось; насколько представления того, кто родился слепым, будут отличаться от представлений тех, кто может видеть. Влияние этого вопроса на теорию Локка о том, что все наши идеи проистекают из ощущений и размышлений, очевидно. Дидро, в свойственной ему манере, старался изучить случаи людей, которые действительно были слепыми и вернули себе зрение, а там, где они его подводили, заменял их собственными изобретениями[Сноска: Кондорсе говорит о Дидро, что он "всегда стремился к истине, тем не менее, когда его воображение побуждало его к злему умыслу". D'Alembert, *Oeuvres*, i. 79 (*Éloge par Condorcet*). В этом замечании очень много смысла. Если мы не сможем проникнуть в душевное состояние людей, которые говорят большую ложь из искренней любви к абстрактной истине, мы никогда не поймем французских философов XVIII века].

Главный свидетель Дидро - Николас Сондерсон, слепой человек с талантом математика, который с 1711 по 1739 год был профессором Кембриджского университета. Дидро подробно цитирует атеистические взгляды Сондерсона, приводя в качестве авторитета "Жизнь" последнего, написанную "доктором Инчлифом". Такой книги никогда не существовало, а мнения являются плодом собственных рассуждений Дидро. Когда автор обращается с нами подобным образом, наше доверие к его фактам безнадежно утрачивается. Однако его доводы остаются, и самый поразительный из них в "Письме о слепых" - это ответ тому, кто пытается доказать существование Бога, указывая на порядок, существующий в природе, откуда следует предположение о разумном Творце. В ответ на это умирающий Сондерсон произносит: "Позвольте мне поверить... что если бы мы вернулись к зарождению вещей и времен, почувствовали бы, как движется материя и упорядочивается хаос, то встретили бы множество бесформенных существ, а не несколько хорошо организованных.... существ. Я могу утверждать, что у этих не было желудка, а у тех - кишечника; что некоторые, которым желудок, небо и зубы, казалось, обещали продолжительность жизни, прекратили существование от какого-то порока сердца или лёгких; что аборт были последовательно уничтожены; что все неправильные комбинации материи исчезли, и что выжили только те, чей механизм не предполагал никаких важных противоречий, и которые могли жить сами по себе и увековечивать свой род." Шаг от идеи, переданной здесь, к идее борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных не очень длинный.

За "Письмо о слепых" Дидро был заключен в тюрьму в Венсене. Говорят, что истинной причиной этого наказания стал легкий намек в "Письме" на любовницу одного из государственных министров. Но, возможно, это была не единственная причина. Примерно в это время наступил один из тех временных периодов строгости, которые необходимы всем правительствам для борьбы со случайными вспышками преступности, но которым слабые и коррумпированные правительства подвержены с капризной частотой. Дидро упорно отрицал авторство "Письма", лгая так же тщательно, как и в самом произведении, когда он выдумал имя Инчлифа и подделал идеи Сондерсона. На этот раз у него было больше оправданий для неправды, ведь раскрытие имени его печатника могло отправить несчастного в тюрьму или на галеры. Тюремное заключение самого Дидро, поначалу суровое, вскоре было облегчено по просьбе любовницы Вольтера, мадам дю Шатле. Дидро разрешили видеться с друзьями и даже бродить по Венсенскому парку на условиях досрочного освобождения. После трех месяцев неволи он был освобожден благодаря влиянию книготорговцев, заинтересованных в "Энциклопедии". [Сноска: Morley, *Diderot*, i. 105].

Первый том этого великого труда уже готовился. Дидро, чья неутомимая энергия была не в состоянии справиться с задачей редактирования всего тома, и который, к тому же, был недостаточно подготовлен для этой работы в некоторых областях, особенно в математике, собрал вокруг себя группу рабочих, которая со временем увеличилась, пока в нее не вошло большое количество замечательных людей. Первым по значимости для предприятия, действуя на равных с Дидро, был д'Алембер, почти типичный пример мягкого ученого, который отказывался от одной блестящей должности за другой, чтобы посвятить себя математике и литературе. Далее, пожалуй, следует упомянуть шевалье де Жокура, человека энциклопедической образованности, который помогал в подготовке книги с терпеливым энтузиазмом, читая, диктуя и работая с тремя или четырьмя секретарями по тринадцать или четырнадцать часов в день. Монтескье, чей конец приближался, оставил после себя незаконченную статью "О вкусах". Вольтер не только присылал свои материалы, но и постоянно подбадривал и давал советы, став признанным главой философской школы. Руссо, чья литературная репутация была недавно завоевана его "Рассуждениями", некоторое время писал статьи о музыке, но впоследствии предпочел поссориться с энциклопедистами, чей ум работал совсем иначе, чем его. Тюрго написал несколько статей на экономические темы, а в последней части работы участвовали физиолог Галлер и Кондорсе.

Издание "Энциклопедии" длилось много лет и сопровождалось множеством превратностей. Первый том вышел в 1751 году, второй - в январе 1752 года. Книга сразу же вызвала антагонизм церкви и консервативных французов в целом. 12 февраля 1752 года эдиктом Совета оба тома были запрещены как содержащие максимы, противоречащие королевской власти и религии. Эдикт запрещал перепечатывать их и передавать подписчикам, которые еще не получили свои экземпляры. Продолжение работы, однако, не запрещалось. В то время считалось, что администрация пошла на этот шаг, чтобы заставить замолчать иезуитов, угодить архиепископу Парижа и, возможно, заранее договориться с парламентом, который мог принять более жесткие меры. Утверждалось также, что некоторые книготорговцы, завидуя успеху этого предприятия, оказывали влияние на власти. Все эти враги "Энциклопедии" не удовлетворились своим первым триумфом. Через несколько дней после появления эдикта рукописи и листы были конфискованы полицией. Через три месяца они были возвращены редакторам. Это была работа, исполнением которой гордились многие французы. Говорят, что иезуиты пытались продолжить ее, но не смогли даже расшифровать бумаги, которые были изъяты у Дидро. Нападки архиепископа, который в епископальном обвинении обрушился на великую книгу, послужили рекламой; такова была мудрость и последовательность репрессивной полиции той эпохи.

С 1753 по 1757 год издание продолжалось без перерыва, каждый год выходило по одному тому. К настоящему времени вышло уже семь томов, и работа завершилась буквой Г. Список подписчиков, первоначально состоявший из менее чем двух тысяч имен, увеличился почти вдвое. Но силы консерватизма сплотились. В 1758 году появилась книга Гельвеция "De l'Esprit", о которой будет рассказано в следующей главе и которая потрясла чувства многих людей, даже представителей философской школы. Мало что могло сделать философов более непопулярными, чем публикация одним из представителей их собственной партии очень читаемой книги, в которой была сделана попытка довести их любимые идеи до последних выводов. Это процесс, который могут выдержать лишь немногие абстрактные теории, ведь ограничения любого утверждения на самом деле являются его неотъемлемой частью. Но человеческая лень так любит формулы, так ненавидит различия, что крайние и немодифицированные выражения с жадностью хватаются как недобросовестными друзьями, так и ликующими врагами.

Чувство негодования, пробужденное в обществе доктринами Гельвеция, дало возможность противникам "Энциклопедии". Это произведение было обличено в Парижском парламенте вместе с книгой "De l'Esprit". Ученый суд немедленно приговорил последнюю к сожжению. С другой стороны, великий сборник, в котором, как утверждалось, Гельвеций был лишь сокращением, был передан на рассмотрение девяти комиссаров, и дальнейшая публикация была приостановлена до их заключения. Пока продолжалось разбирательство в парламенте, в дело вмешался Государственный совет, и "Энциклопедия" была произвольно запрещена, ее привилегии отняты, продажа уже напечатанных томов и печать любых других томов также запрещены.

Характерно для положения вещей, существовавшего при слабом и колеблющемся правительстве Людовика XV, что интердикт, наложенный на "Энциклопедию", не остановил ее печатания. Редактор и издатели решили в частном порядке подготовить десять томов, которые еще не были изданы, и выпустить их в свет в одно время. К этой работе Дидро приступил с безграничной энергией. Д'Алембер, однако, был обескуражен и отказался от затеи. Шесть лет Дидро трудился, никогда не опасаясь вмешательства правительства, управляя великим предприятием с его штатом жертвователей и десятками рабочих, постоянно подвергаясь арестам и тюремному заключению. Дидро также неустанно работал пером, писал статьи на всевозможные темы - философию, искусство, ремесла и производство. Чтобы узнать, как делаются вещи, он посещал мастерские и брал в руки инструменты, порой сталкиваясь с ревностью и недоверием рабочих, которые боялись, что он раскроет их секретные процессы или выдаст информацию сборщику налогов.

Самый сильный удар был еще впереди. "Энциклопедия" была выпущена ассоциацией издателей, которые платили Дидро умеренную зарплату за его услуги. Один из этих издателей, по имени Ле Бретон, был главным. Говорят, что он был скучным человеком, не способным понять ни одно литературное произведение. Он считал, что литераторы трудятся ради славы, а издатели - ради жалованья, и поэтому разделил доход от "Энциклопедии" на две части, отдав Дидро славу, опасности и преследования, а деньги оставив себе и своим партнерам. Благодаря своему положению в Париже он был уверен, что сможет предвидеть любой новый заказ, направленный против "Энциклопедии", пока идет печать, и предусмотреть его. Но время выхода книги в свет должно было ознаменоваться новой бурей. В этих условиях Ле Бретон прибег к хитрости. После того как Дидро прочитал последнюю гранку каждого листа, издатель и его бригадир тайно взяли ее в руки, стерли и вырезали все, что казалось необдуманным или рассчитанным на возбуждение гнева религиозных или консервативных людей, и таким образом свели многие из главных статей к фрагментам. Затем, чтобы сделать ошибку непоправимой, они сожгли рукописи и спокойно приступили к печати. Этот процесс продолжался, по-видимому, не один год. Однажды в 1764 году, когда приближалось время публикации, Дидро, заглянув в статью под буквой S, обнаружил, что она сильно изуродована. Поначалу он был озадачен, но вскоре понял природу разыгранного с ним трюка. Он обратился к различным частям книги, к собственным статьям и статьям других авторов, и во многих местах обнаружил следы возмущения. Дидро был в отчаянии. Первой его мыслью было бросить затею и объявить общественности об обмане. Ущерб, который был бы нанесен невинным партнерам Ле Бретона, опасность обнародования факта, что "Энциклопедия" все еще находилась в процессе печати, - факта, о котором чиновники правительства знали только лично, а не официально, - заставили его продолжить публикацию. Возможно, изменения, внесенные Ле Бретоном, были не столь значительными, как предполагал Дидро в своем первом волнении после открытия. При изучении "Энциклопедии" не заметно никаких изменений в тоне между первыми семью и последующими томами, а Гримм, которому мы обязаны этой историей, признает, что никто

из авторов, участвовавших в работе вместе с Дидро, не жаловался и даже не заметил, что их статьи были изменены.

В 1765 году подписчикам были переданы десять томов, завершающих алфавит (всего семнадцать томов этой части работы). В качестве меры предосторожности сначала были отправлены тома для иностранных государств, затем для провинций и в последнюю очередь для Парижа. Одиннадцать томов с табличками были опубликованы только в 1772 году. В 1776 и 1777 годах вышло дополнение из четырех томов текста и одного тома пластин, а три года спустя - оглавление в двух томах. [Сноска: Несколько томов оригинального издания имеют оттиск Нейфшателя, а дополнение - Амстердама, хотя на самом деле все они были напечатаны в Париже. *Энциклопедия* была переиздана целиком в Женеве и Лозанне. Издания также появились в Ливорно и Лукке; кроме того, были выпущены тома выборок и сокращений. Morley, *Diderot*, i. 169. Об *энциклопедии* см. Morley, *Diderot, passim*. Soberer, *Diderot*; переписка д'Алембера и Вольтера в работах последнего. Diderot, *Mémoires*, i. 431 (10 ноября 1760 г.). Гримм, vii. 44, и особенно ix. 203-217, превосходная статья. Barbier, v. 159, 169; vii. 125, 138, 141; также в самой работе слово *Encyclopédie* в т. v. Г-н Морли считает, что статья *Genève* в т. vii. *Энциклопедии* особенно возбудила церковь и парламент, чтобы желать ее подавления. Из этой же статьи Руссо извлек свое письмо к д'Алемберу о театре в Женеве, которое знаменует собой разрыв между Руссо и философами. Но в "*Предварительных рассуждениях*" д'Алембер напал на "*Первое рассуждение*" Руссо. О волнении, вызванном в Женеве этой статьей, см. Voltaire, lvii. 438 (Вольтер - Д'Алемберу, 8 января 1758 г.). Пожалуй, излишне отмечать, что рассказ Гримма о характере и идеях Ле Бретона, который был приведен выше, вероятно, не является беспристрастным].

Что же это была за великая книга, чья история была столь полна превратностей? Почему французское правительство, церковь и литературный мир так волновались по поводу словаря? На самом деле "*Энциклопедия*" выполняла две функции: она была хранилищем информации и полемическим сочинением. Кондорсе так сформулировал цель книги. Дидро, по его словам, "намеревался собрать в одном словаре все, что было открыто в науках, что было известно о продуктах земного шара, подробности искусств, которые изобрели люди, принципы морали, законодательства, законы, управляющие обществом, метафизику языка и правила грамматики, анализ наших способностей и даже историю наших мнений". Столь всеобъемлющая схема была небезопасна для тех классов, которые претендовали на исключительное право направлять умы людей" [Сноска: D'Alembert, *Oeuvres*, i. 79 (*Éloge par Condorcet*)]. Что касается двойного характера книги, то у нас есть слова двух человек, принимавших самое активное участие в ее подготовке. Сначала приводится анекдот Вольтера, безусловно, неточный, возможно, выдуманный, но наиболее четко указывающий на одну из причин интереса, который вызвала "*Энциклопедия*".

"Один слуга Людовика XV. рассказал мне, что однажды, когда король, его господин, ужинал в Трианоне с небольшой компанией, разговор зашел о стрельбе, а затем о порохе. Кто-то сказал, что лучший порох делается из равных частей селитры, серы и древесного угля. Герцог Ла Вальер, более осведомленный, утверждал, что для пушек правильной пропорцией является одна часть серы, одна - древесного угля и пять - хорошо отфильтрованной, хорошо выпаренной и хорошо кристаллизованной селитры.

"Это абсурд, - сказал герцог Нивернуа, - что мы должны каждый день развлекаться тем, что убивать куропаток в парке Версаля, а иногда убивать людей или быть убитыми на границе, и не знать, чем именно мы убиваем".

"Увы! Мы находимся в таком же положении относительно всех вещей в мире, - ответила мадам де Помпадур. Я не знаю, из чего состоят румяна, которые я наношу на щеки, и я должна быть очень озадачена, чтобы сказать, как сделаны мои чулки".

"Жаль, - сказал герцог Ла Вальер, - что Его Величество конфисковал наши энциклопедические словари, которые стоили нам по сто пистолей за штуку. В них мы скоро нашли бы ответы на все наши вопросы".

"Король оправдал свою конфискацию. Его предупреждали, что двадцать один том in folio, который можно найти на туалетных столиках всех дам, - самая опасная вещь в мире для французской монархии; и он хотел лично убедиться в этом, прежде чем разрешить читать книгу. После ужина он послал за экземпляром книги трех слуг из своей опочивальни, каждый из которых с большим трудом принес по семь томов.

В статье о порохе они увидели, что герцог де Ла Вальер был прав". Мадам де Помпадур вскоре узнала разницу между старомодными испанскими румянами, которыми красили щеки мадридские дамы, и румянами парижских дам. Она узнала, что греческие и римские дамы красились пурпуром, добываемым из мурекса, и, следовательно, наш алый был пурпуром древних; что в испанских румянах было больше шафрана, а во французских - кохинеи.

"Она увидела, как на ткацком станке делают чулки, и машина, используемая для этой цели, привела ее в изумление. О, какая прекрасная книга, сэр!" - воскликнула она. Неужели вы конфисковали эту кладовую всех полезных вещей, чтобы владеть только ею и быть единственным мудрецом в своем королевстве?

"Все они набросились на тома, как дочери Ликомеда на драгоценности Улисса. Каждый сразу же нашел то, что искал. Те, у кого на руках были судебные иски, с удивлением обнаружили решение своих дел. Король зачитал все права своей короны. "Но, правда, - сказал он, - я не знаю, почему они так плохо отзывались об этой книге".

"Разве вы не видите, сударь, - сказал герцог Нивернуа, - что это потому, что она очень хороша? Люди не нападают на бедные и плоские вещи любого рода. Когда женщины пытаются выставить новенькую на посмешище, она обязательно оказывается красивее их".

"Все это время они перелистывали страницы, и граф С... сказал вслух: "Сэр, вы слишком счастливы, что в ваше царствование нашлись люди, способные знать все искусства и передать их потомкам. Здесь есть все - от способа изготовления булавы до литья и прицеливания пушки; от бесконечно малого до бесконечного. Благодарю Бога за то, что в вашем королевстве родились люди, которые таким образом послужили всему миру. Другие народы вынуждены покупать "Энциклопедию" или подражать ей. Возьмите все, что у меня есть, если хотите, но верните мне мою "Энциклопедию"".

"Но говорят, - возразил король, - что этот необходимый и достойный восхищения труд имеет много недостатков".

"Сэр, - ответил граф Си, - на вашем ужине было два рагу, которые оказались неудачными. Мы их не ели, но ужин был очень хорош. Неужели из-за этих двух рагу вы бы выбросили все из окна? Король почувствовал силу этих рассуждений, каждый взял обратно свою книгу, и наступил счастливый день.

"Но Зависть и Невежество не считали себя побежденными; эти две бессмертные сестры продолжали свои крики, свои заговоры, свои преследования. Невежество в этом плане очень учено.

"Что же произошло? Иностранцы выкупили четыре издания этого французского произведения, запрещенного во Франции, и заработали около восемнадцатисот тысяч долларов.

"Французы, постарайтесь впредь понимать свои собственные интересы"[Сноска: Эта история напечатана среди "Лицедеев". Морли отмечает, что мадам де Помпадур умерла до того, как тома, содержащие "Poudre" и "Rouge", были опубликованы. Вольтер, xlviii. 57.]

Из этого анекдота, написанного, вероятно, для того, чтобы надуть книгу, мы видим, что "Энциклопедия" была рекомендована из-за тех же преимуществ, которые с тех пор придали ценность десяткам подобных работ. В то время не существовало другого столь объемного и полезного собрания общей информации. Сложные описания механизмов изобилуют в ней и иллюстрируются прекрасными табличками. Мы видим перед собой простые зачатки великого производственного движения современности. Здесь есть статьи о ткацких станках, о работе в кабинете, о ювелирных изделиях, а также все, что наука того времени могла рассказать об анатомии, медицине и естественной истории. Не были забыты и более легкомысленные темы. Девять листов отведено бильярду и теннису. Хореография, или искусство выражать фигуры танца на бумаге, занимает шесть страниц текста и две - иллюстраций, с замечанием, что это одно из искусств, о которых древние не знали или которые они не передали нам. Предлагается новый универсальный язык, основанный, разумеется, на французском; а статья об Алькухете, таинственном лекарстве алхимиков, которой посвящено полтора столбца, напоминает нам о том, что восемнадцатый век был ближе к Средневековью, чем девятнадцатый. По замыслу составителей "Энциклопедии", если когда-нибудь цивилизация будет разрушена, человечество может обратиться к их томам, чтобы научиться ее восстанавливать. [Сноска: История и география почти обойдены в "Энциклопедии", в то время как искусства и науки рассматриваются в полном объеме. Презрение к истории, как к рассказу о человеческих ошибках, было распространено среди философов].

Однако все эти простые познания не были тем, что было ближе всего сердцу Дидро и его соратников. В минуты волнения, когда он огрызнулся на вычеркивания издателя Ле Бретона, он мог написать, что успех книги ни в коей мере не был обусловлен обычными, разумными и общепринятыми вещами; что, возможно, в мире не найдется и двух человек, которые взяли на себя труд прочитать в ней хоть строчку из истории, географии, математики или даже искусства; и что все искали в "Энциклопедии" твердой и смелой философии некоторых из ее писателей. [Сноска: В более спокойном настроении Дидро хвастается, что есть люди, которые прочитали книгу до конца. См. слово "Энциклопедия", т. V].

Эта философия появляется в "Предварительных рассуждениях" д'Алембера; она снова и снова всплывает на протяжении всех томов. Метафизика основана главным образом на работах Локка, который "можно сказать, создал метафизику, как Ньютон создал физику", сведя ее к тому, "чем она, собственно, и должна быть - экспериментальной физикой души". В остальном же единства мнений мало, хотя и много согласия по духу. У нас есть статьи о правительстве и о налогообложении, либерально задуманные, но не согласные с фактическими мерами. Мы имеем предрассудки в пользу демократии, как идеальной формы

правления, и поклонение теоретическому равенству, но презрение к населению, "которое ничего не видит"; сведение религии к чувствам морали и благожелательности, и большую неприязнь к ее служителям и особенно к членам монашеских орденов; Вера в Законодателя, в естественные законы и свободы, включая неотъемлемое право каждого человека распоряжаться своей личностью и имуществом и делать все, что позволяют законы; вера в Философа, человека, управляемого исключительно разумом, как христианин управляется благодатью. Для него Истина не является госпожой, развращающей его воображение. Он умеет различать, что истинно, что ложно, что сомнительно, и превозносится тем, что готов оставаться неопределенным, когда у него нет материала для суждения. Философ одинаково хорошо понимает как доктрины, которые он отвергает, так и те, которые он принимает. Его дух приводит все к истинным принципам. Народы будут счастливы, когда короли будут философами, или когда философы будут королями.

В "Энциклопедии" не было единообразия в исполнении. Редакторы не могли свободно отвергать все, что им не нравилось. Им приходилось считаться с чувствами своих авторов, а иногда, несомненно, печатать плохие статьи, написанные ценной рукой. Было много длинных диссертаций, где короткие статьи были бы более уместны. Дидро был не тем человеком, чтобы подавлять естественную склонность авторов к многословию. Затем нужно было учитывать официальных цензоров и возможных обвинителей. "Несомненно, - говорит д'Алембер Вольтеру в ответ на его упреки, - несомненно, у нас есть плохие статьи по теологии и метафизике; но с теологическими цензорами и привилегией я оспариваю у вас возможность сделать их лучше. Есть и другие статьи, менее заметные, где все исправлено. Время позволит людям отличить то, что мы думали, от того, что мы сказали". ... "Несомненно, - говорит он в другом месте, - что некоторые из наших рабочих вставляли никчемные вещи, а иногда и декламацию; но еще более несомненно, что в моей власти не было изменить это положение вещей. Я льщу себя, что такое же суждение не будет вынесено о том, что несколько наших авторов и я сам подготовили для этой работы, которая, очевидно, дойдет до потомства как памятник того, что мы хотели и чего не смогли сделать". В целом вождь философов остался доволен. "О, как мне жаль, - восклицает он, - видеть столько пасты среди ваших прекрасных бриллиантов; но вы пролили свой блеск на пасту!"[Сноска: Переписка Вольтера и д'Алембера (А. - В., 21 июля 1757 г.; 11 января 1758 г.; В. - А., 29 декабря 1757 г.). Вольтер, lvii. 296, 444, 421].

## ГЛАВА XVII.

### ГЕЛЬВЕЦИЙ, ГОЛЬБАХ И ШАСТЕЛЮКС.

Есть две книги, вышедшие непосредственно из той школы философов, которую можно назвать ортодоксальной, и так тесно связанные с "Энциклопедией" и ее авторами, что их следует отметить рядом с самим великим сборником. Одна из них уже упоминалась. Она носит непере译имое название "De l'Esprit", слово, которое в этой простой и немодифицированной форме означает в точности ни ум, ни дух, но нечто среднее между ними и отличное от обоих.

Автор, Гельвеций, был одним из тех умных людей, чье стремление - блистать. Сын модного врача, он сколотил состояние как доходный фермер. В молодости он увлекался женщинами и литературой, а впоследствии проявил умеренность, оставив прибыльную контору и городское распутство и удалившись в деревню с очаровательной женой. Восемь месяцев в году они жили в Воре, не оставаясь без внимания философов, а четыре - в Париже. Оба были добродушны, милосердны и благожелательны. В среде философов Гельвеций занимал место богатого и умного светского льва, столь часто встречающегося в литературных кругах.

Трактат "De l'Esprit" имеет своей целью изложение доктрины полезности в ее крайней форме. В качестве предварительного аргумента все действия разума сводятся к ощущениям. "Когда в результате последовательности моих идей или вибрации, которую определенные звуки вызывают в органах моего слуха, я вспоминаю образ дуба, то мои внутренние органы обязательно должны быть почти в том же положении, в каком они находились при виде этого дуба. Такое положение органов обязательно должно вызывать ощущение; следовательно, очевидно, что память - это ощущение".

"Изложив этот принцип, я говорю далее, что именно в способности воспринимать сходство или различие, согласие или несогласие, которые различные объекты имеют друг с другом, заключаются все операции ума. Эта способность есть не что иное, как физическая чувствительность; поэтому все сводится к ощущениям".

Утилитарность, по мнению Гельвеция, является основой всех наших нравственных чувств. Каждый человек называет справедливыми в других только те поступки, которые полезны ему самому; каждый народ или общество восхваляет то, что полезно ему в его корпоративном качестве. "Если судья оправдывает виновного, если государственный министр продвигает по службе недостойного, то каждый из них справедлив, по мнению того, кого защищают. Но если судья наказывает или министр отказывает, они всегда будут несправедливы в глазах преступника и неудачника"... "Христиане, которые справедливо говорили о жестокостях, применяемых к ним язычниками, как о варварстве и преступлении, разве они не называли ревностью те жестокости, которые они, в свою очередь, применяли к этим же язычникам?" Как физический мир подчиняется законам движения, так и моральный мир подчиняется законам интереса. Все люди одинаково стремятся к собственному счастью. Именно разнообразие страстей и вкусов, одни из которых соответствуют общественным интересам, а другие противоречат им, формирует наши добродетели и пороки. Поэтому мы должны не презирать нечестивцев, а жалеть их и благодарить небо за то, что оно не дало нам ни одного из тех вкусов и страстей, которые заставили бы нас искать счастья в чужих несчастьях". Это мнение, хотя и экстравагантно изложенное, было, как мы видели, лишь карикатурой на доктрину полезности, которой учил Локк и придерживались его последователи.

Гельвеций приложил немало усилий, чтобы сделать изложение своей темы интересным. Он долго трудился над каждой главой. Его страницы переполнены анекдотами, насмешками над монахами и оправданиями похоти. Они свидетельствуют о вере во всемогущество законодательства, которая была распространена в его время. Большое место отведено преуменьшению естественного неравенства людей и объяснению различий, наблюдаемых между людьми, случайностью или воспитанием. Если бы Галилей случайно не оказался в саду во Флоренции, где некие рабочие задали ему вопрос о насосе, он, по словам Гельвеция, не открыл бы вес атмосферы. Именно падение яблока дало Ньютону теорию тяготения. Подобные глупости вызывают у нас отвращение; однако теория о том, что величие - лишь результат незначительной случайности, не была неестественной для человека, который, вероятно, пришел к идее, показавшейся ему показательной, и считал, что тем самым достиг величия. [Сноска: Гельвеций, i. 130, 183; ii. 7, и passim. О Гельвеции см. Nouvelle Biographie universelle. Morley, Diderot, ii. 141. Гримм, iv. 80. Morellet, i. 71, 140. Морелле представляет себя прирученным котом в доме Гельвеция. Прекрасное описание Мармонтеля, ii. 115 (liv. vi.). Сравните Локк, i. 261, ii. 97. Доктрина полезности, вероятно, почти так же стара, как и сама философия. Было высказано предположение, что хотя полезность и не является конечным мотивом добродетели, она может быть критерием нравственности. В определенной степени именно Гельвеций вдохновил Бентама. Morley, Diderot, ii. 154].

Гельвеций попытался довести доктрины французских последователей Локка до их последних логических выводов, но успешное выполнение этой задачи было поручено более сильной и твердой руке, чем его. Барон Гольбах был приятным и добрым человеком, постоянным другом энциклопедистов. В его доме они часто встречались, так что он стал известен среди них как "Кафе Европы", а его хозяин - как "мэтр философии". Но эти прозвища использовались не зря. У Гольбаха не было ни капли легкомыслия Гельвеция. Его книга, "Система природы", - это торжественный, серьезный аргумент, исходящий от ясного ума и чистого сердца. Наша природа может восставать против его теорий, но мы не можем сомневаться в его честности и доброжелательности. Книга, опубликованная, как это было модно, под вымышленным именем, тем не менее выражает самые сокровенные убеждения автора. [Сноска: Вымышленное имя было именем Мирабо, некогда секретаря Академии, который умер до появления книги. Об авторстве "*Системы природы*" см. Morley, *Diderot*, ii. 173. Иногда ее приписывают Дидро, но по внутренним свидетельствам ясно, что Дидро не мог ее написать. И стиль, и мысли слишком компактны, чтобы исходить от этого рассеянного мыслителя и писателя. Но Дидро, имевший большое влияние на многих людей, мог предложить некоторые идеи].

"Люди, - говорит он, - всегда совершают ошибки, когда отказываются от опыта ради систем, рожденных воображением". Человек существует в природе и не может представить себе ничего вне ее. Поэтому пусть он перестанет искать за пределами мира, который он населяет, существ, которые обеспечат ему то счастье, которое природа отказывается ему дать. "Человек - существо чисто физическое. Нравственный человек - лишь это существо, рассматриваемое с определенной точки зрения, то есть относительно некоторых его способов действия, обусловленных его особой организацией". Все действия человека, видимые и невидимые, являются необходимыми последствиями его механизма и тех импульсов, которые он получает от окружающих существ.

Вселенная состоит из материи и движения, причины и следствия. Природа - это великое целое, возникающее из совокупности различных материй, комбинаций и движений. Только благодаря движению мы узнаем о существовании и свойствах других существ и отличаем их друг от друга. Во всех вещах постоянно происходят действия и реакции. Любовь и ненависть в людях подобны притяжению и отталкиванию в физике, только причины их возникновения более туманны. Все существа, органические и неорганические, стремятся к самосохранению. В человеке эта тенденция называется самолюбием.

В действительности не существует ни порядка, ни беспорядка, поскольку все вещи необходимы. Только в нашем сознании существует модель того, что мы называем порядком; как и другие абстрактные идеи, она не соответствует ничему вне нас. Порядок - это не более чем способность согласовывать себя с существами, которые нас окружают, или с целым, частью которого мы являемся. Но если мы хотим применить это слово к природе, оно может означать последовательность действий или движений, которые, как мы полагаем, способствуют достижению определенной цели. Мы называем существа разумными, когда они организованы подобно нам самим и могут действовать в направлении понятной нам цели.

Нет двух совершенно одинаковых существ; различия, называемые физическими или моральными, являются результатом их телесных качеств. Эти различия являются причиной и опорой человеческого общества. Если бы все люди были одинаковыми, они бы не нуждались друг в друге. Ошибочно сетовать на это неравенство, в силу которого мы поставлены в счастливую необходимость объединяться. Собираясь вместе, люди заключают явный или подразумеваемый договор, по которому они обязуются оказывать взаимные услуги и не

причинять друг другу вреда. Но поскольку природа каждого человека заставляет его стремиться к удовлетворению собственных страстей или капризов, не обращая внимания на других, был создан закон, чтобы вернуть его к исполнению своих обязанностей. Этот закон - совокупность воли общества, объединенных для того, чтобы определить поведение его членов или направить их действия к общей цели ассоциации. Для удобства определенные граждане становятся исполнителями народной воли и называются монархами, магистратами или представителями, в зависимости от формы правления. Но эта форма может быть изменена, а все полномочия всех лиц, подчиненных ей, отменены по воле самого общества, которым и для которого создается всякое правительство. Законы, чтобы быть справедливыми, должны иметь своей неизменной целью общие интересы общества; они должны обеспечивать наибольшему числу граждан те преимущества, ради которых эти граждане объединились. Общество, вожди и законы которого не приносят пользы его членам, теряет над ними всякие права. Вожди, причиняющие вред какому-либо обществу, теряют право командовать им. Не соблюдая эти правила, народы становятся несчастными. По неосмотрительности народов и по хитрости тех, кому была доверена власть, государи стали абсолютными хозяевами. Они утверждали, что их власть дана им Небом и они не несут ответственности ни перед кем на земле. Поэтому политика стала коррумпированной и не более чем формой разбойничьего промысла. Необузданный человек вскоре превращается в зло. Только страхом общество может контролировать страсти своих правителей. Поэтому оно должно наделять любого из них лишь ограниченными полномочиями и разделять те силы, которые, объединившись, обязательно сокрушили бы его.

Правительство одинаково и неизбежно влияет на физическое и моральное благополучие наций. Как его забота порождает труд, активность, изобилие и здоровье, так его пренебрежение и несправедливость порождает праздность, уныние, голод, заразу, пороки и преступления. Оно может вывести на свет, а может задушить таланты, мастерство и добродетель. Фактически правительство, распределяющее ранги, богатства, награды и наказания; хозяин вещей, в которые люди с детства научились вкладывать свое счастье, приобретает необходимое влияние на их поведение, разжигает их страсти, обращает их по своему усмотрению, изменяет и укореняет их нравы и обычаи. [Сноска: *Moeurs*, слово, для которого у нас нет точного эквивалента. Оно включает в себя как идею нравов, так и идею обычаев]. У целых народов, как и у отдельных людей, это поведение, или общая система воли и действий, которая неизбежно вытекает из их воспитания, их правительства, их законов, их религиозных взглядов, их мудрых или глупых учреждений. Короче говоря, нравы и обычаи - это привычки народов; хорошие, когда они приносят прочное и истинное счастье обществу, и отвратительные в глазах разума, несмотря на санкцию законов, обычаев, религии, общественного мнения или примера, когда они опираются только на привычку и предрассудки, которые редко советуются с опытом и здравым смыслом. Ни один поступок не является настолько отвратительным, чтобы его не одобрил или не одобрил какой-либо народ. Отцеубийство, детоубийство, воровство, узурпация, жестокость, нетерпимость, проституция допускались и даже считались достойными у некоторых народов Земли. Религия особенно освятила самые отвратительные и неразумные обычаи.

Причина порочности и испорченности людей в том, что они нигде не управляются в соответствии со своей природой. Люди плохи не потому, что они рождаются плохими, а потому, что их такими делают. Великие и могущественные благополучно подавляют бедных и несчастных, которые пытаются, рискуя жизнью, возместить причиненное им зло. Бедняки открыто или тайно нападают на несправедливое общество, которое дает все одним своим детям и забирает все у других.

Права человека на своих собратьев могут быть основаны только на счастье, которое он им обеспечивает или на которое он дает им повод надеяться. Ни один смертный не получает от природы права повелевать. Власть, которую отец осуществляет над своей семьей, основана на преимуществах, которые он должен ей дать. Ранги в политическом обществе основаны на реальной или мнимой полезности. Богатый человек имеет права над бедным исключительно в силу благосостояния, которое он может ему дать. Гений, талант, искусство и мастерство имеют право на существование только благодаря приятным и полезным вещам, которыми они снабжают общество. Быть добродетельным - значит делать людей счастливыми.

Общество наслаждается всем счастьем, на которое оно способно, когда большее число его членов сыты, одеты и обуты; когда большинство людей может без чрезмерного труда удовлетворить природные запросы. Воображение людей должно быть удовлетворено, когда они уверены, что плоды их труда не могут быть у них отняты, и что они работают на себя. За пределами этого все является излишеством, и глупо, что целая нация должна потеть, чтобы обеспечить роскошью несколько человек, которые никогда не смогут быть довольны, потому что их воображение стало безграничным.

Религия - это заблуждение. Душа, рожденная вместе с телом, в детстве - ребенок, в зрелом возрасте - взрослый, с годами стареет. Напрасно полагать, что душа переживет тело. Умереть - значит больше не думать, не чувствовать, не наслаждаться, не страдать. Давайте размышлять о смерти не для того, чтобы внушить себе страх и меланхолию, а для того, чтобы приучить себя смотреть на нее спокойными глазами и отбросить ложный ужас, который пытаются внушить нам враги нашего мира.

Полезность - это критерий систем, мнений и действий; это мерило нашей любви к истине. Самые полезные истины вызывают наибольшее восхищение; мы называем великими те истины, которые в наибольшей степени касаются человеческой расы; бесполезными - те, которые касаются лишь нескольких людей, чьи идеи мы не разделяем.

Доктрина полезности сочетается с доктриной необходимости. Большинство французских философов были сторонниками необходимости, но Гольбах выразил эту доктрину в более крайней форме, чем другие. Воля, по его мнению, - это модификация мозга, с помощью которой он располагает или подготавливается к тому, чтобы приводить в движение другие наши органы. Воля обязательно определяется качеством и приятностью идей, которые на нее действуют. Размышления - это колебания воли, когда она движется в разных направлениях под действием противоположных сил; решимость - это окончательное преобладание одной силы над другой. Нет никакой разницы между человеком, который выбрасывается из окна, и человеком, которого выбрасывают, за исключением того, что импульс для последнего исходит от чего-то вне его самого, а для первого - от чего-то внутри его собственного механизма". [Сноска: Шодон, бенедиктинец, вероятно, самый умный из клерикальных писателей того времени, таким образом нападает на доктрину необходимости, изложенную Гольбахом. Автор "*Системы*", конечно, излагает очень тонкие максимы морали, очень патетические увещания к добродетели; но с его принципами это может быть лишь шуткой. Это абсурд, подобный тому, как если бы человек, признав, что его часы - всего лишь механизм, не преминул бы каждый день увещивать их, чтобы они не вышли из строя. Grosse, Diet. d'antiphilosophisme, 923. Гольбах, вероятно, ответил бы, что он обязательно должен увещивать, а Шодон был фатально вынужден отвечать].

Природа не сделала человека ни хорошим, ни плохим; она сделала его машиной. Человек добродетелен только в повиновении зову интереса. Мораль основана на нашем одобрении тех действий, которые выгодны расе. Когда хорошие поступки приносят пользу другим, а не

нам самим, наше одобрение их сродни восхищению, которое мы испытываем по отношению к прекрасной картине, принадлежащей кому-то другому. Хороший человек - это тот, чьи истинные идеи показали ему, что его счастье лежит в линии поведения, которая должна нравиться и одобряться другими в силу их собственных интересов. Добродетелью мы приобретаем добрую волю наших ближних, и без нее ни один человек не может быть счастлив. Наше самолюбие становится во сто крат более восхитительным, когда к нему присоединяется любовь других к нам. Давайте помнить, что самая неосуществимая из всех целей - быть счастливым в одиночестве".

До этого момента Гольбах лишь повторял с силой, ясностью и последовательностью то, что утверждала или на что намекала философская школа от Вольтера до Гельвеция. Однако во втором томе он смело оторвался от своих предшественников и заявил о своем неверии в Бога. Вольтер и Руссо были теистами, но с разными видами веры, а "Философы", хотя и относились с презрением ко всем церквям и особенно ко всем священникам, сохранили, по крайней мере в речи, некоторые остатки теизма. Но Гольбах заявил, что Бог - это иллюзия, придуманная страхами и невежеством человечества. "Идея божественности, - говорит он, - всегда пробуждает в нашем сознании болезненные представления". "Под словом "Бог" люди подразумевают самую скрытую или отдаленную причину; они используют это слово только тогда, когда цепь материальных и известных причин перестает быть для них видимой. Это расплывчатое название, которое они применяют к причине, на которой их лень или ограниченность их знаний заставляют их остановиться. Люди находили природу глухой к своим крикам; поэтому они представляли себе разумного хозяина над ней, надеясь, что он прислушается к ним".

Эту тему Гольбах развивает на протяжении всего второго тома. Здесь, как и везде, он пишет серьезно и убежденно, хотя некоторые его логические положения вызывают нарекания. Никогда еще во Франции материализм, нуклеаризм и атеизм не были так ясно и убедительно разоблачены. Сами философы были встревожены. Вольтер поспешил написать статью о Боге, настолько неубедительную, что вряд ли мог убедить самого себя. Она представляет собой не более чем аргумент в пользу того, что Бог - наиболее вероятная из гипотез, и допускает, что может существовать как два или несколько богов, так и один. Не исключено, что Вольтер счел необходимым для своего спокойствия в мире протестовать против столь откровенной книги, как "Система природы".

Истинный ответ Гольбаху следует искать в ином порядке идей, чем тот, который Вольтер был готов принять. Локк мог бы научить его, что если нет логических оснований верить в существование разума, то так же мало оснований верить и в существование материи. Опыт мог бы показать ему, что люди не всегда ищут то, что считают наиболее полезным для себя. Старая и любимая доктрина полезности страдает от того, что она никогда не показывала и никогда не сможет показать адекватную причину, по которой человек должен заботиться о другом человеке или о расе. А что касается существования Бога, то это можно доказать не более аргументировано, чем существование материи, разума или *не-Я*.

Гельвеций и Гольбах доработали теории школы до их последнего философского вывода. Более молодой писатель в последние годы правления Людовика XV должен был дать им полное применение. Шевалье де Шастелюкс хорошо известен в Америке по книге путешествий, которую он написал, когда сопровождал маркиза Рошамбо в революционной войне. В то время Шастелюкс находился на пике своей славы. В 1772 году он опубликовал книгу, которая, хотя сейчас почти забыта, все еще интересна как связующее звено между мыслями прошлого века и мыслями большой школы мыслителей сегодняшнего дня. Название книги - "Об общественном благополучии, или соображения о судьбе людей в

различные эпохи истории", а девиз - *Nil Desperandum*. "Столько людей написали историю людей", - говорит Шастелюкс, - "разве историю человечества не будут читать с удовольствием?". И снова: "Несколько авторов тщательно исследовали, была ли такая-то нация более религиозной, более трезвой, более воинственной, чем другая; никто еще не пытался выяснить, какая из них была самой счастливой".

Итак, цель исследования обозначена, и поэтому первостепенное значение приобретает вопрос о том, какой критерий счастья предложит Шастелюкс. Он не оставляет нам никаких сомнений на этот счет. "Счастливый народ - это не тот, который живет в достатке; готы и вандалы жили в достатке и искали изобилия в других регионах. Счастливый народ - это не тот, который ожесточен к неприятностям и труду; готы и вандалы были ожесточены к труду, и они искали мягкости и отдыха в других местах. Счастливая нация - это не та, которая сильна в битвах; она сражается только для того, чтобы получить мир и жизненные блага. Счастливая нация - это та, которая наслаждается легкостью и свободой, которая привязана к своим владениям и, прежде всего, не желает менять свое состояние". А в другом месте он спрашивает, каковы некоторые признаки, симптомы общественного благополучия. Два из них, говорит он, представлены естественным образом: сельское хозяйство и население. "Я называю сельское хозяйство прежде населения, - продолжает он, - потому что, если случается, что народ, который немногочислен, тщательно обрабатывает большое количество земли, это приводит к тому, что этот народ много потребляет и добавляет к пище, необходимой для жизни, легкость и товары, которые составляют его счастье. Если же, с другой стороны, увеличение численности народа пропорционально увеличению сельского хозяйства, то что мы можем заключить, кроме того, что это размножение человеческого рода, как и всех других видов, происходит исключительно от его благосостояния. Сельское хозяйство, таким образом, является показателем счастья народов, предшествующим и предпочтительным по отношению к населению". Самым верным признаком счастья является большое пропорциональное потребление продуктов; высокий уровень жизни. Чудесного и даже возвышенного следует опасаться; но "все, что умножает людей в народах и урожай на поверхности земли, хорошо само по себе, хорошо прежде всего и предпочтительнее всего, что кажется прекрасным в глазах предрассудков"[Сноска: Шастелюкс с трудом придерживается своего определения благополучия. Об англичанах он говорит: "Таковы истинные преимущества этой нации; которые, в сочетании с безопасностью ее собственности и неоценимой привилегией зависеть только от закона, сделали бы ее самой счастливой на земле, если бы ее климат, ее древние нравы и обычаи, ее частые революции не склоняли бы ее к недовольству и меланхолии. Но эти соображения не относятся к нашей теме" [ii. 144].

И как материальное благо является единственным благом, так и высшая точка, достигнутая человечеством, находится именно в современности и в цивилизованных странах. "Если мудрость - это искусство счастливой жизни; если философия - это действительно любовь к мудрости, как можно понять из одного только ее названия, то греки никогда не были философами".

Доказать, что современные народы увеличивают легкость и комфорт жизни до невиданных ранее пределов, - задача не из легких. Шастелюкс перечисляет открытия физической науки, затрагивает достижения науки и искусства, а затем призывает своих читателей смотреть на все это лишь как на платежи по счету в прогрессе наших знаний; как на большую часть пути, уже пройденного в огромном потоке человеческого разума. Перед нами истинно современный идеал прогресса; цель правительства - наибольшее счастье наибольшего числа людей, причем счастье, зависящее только от материальных условий. Мораль при

такой системе - всего лишь отрасль медицины. Религия - это старомодный предрассудок. Давайте двигаться дальше и объединим мир в одну большую, удобную, сытую семью". Таков последний практический совет французской философской школы XVIII века и ее бессознательных последователей в этом. Если вывод не удовлетворяет высочайшим устремлениям человеческой расы, то это, возможно, связано с некоторыми недостатками в предпосылках.

## ГЛАВА XVIII.

### ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ РУССО.

Переходя от изучения философов к изучению Руссо, мы переходим от таланта к гению, от системы к импульсу. Теории великого женева были почерпнуты из его собственной странной натуры, без особого внимания к последовательности. Они сочетаются друг с другом, как черты искаженного и изменчивого лица; их единство скорее личное, чем систематическое. И хотя Руссо был, с некоторых сторон и, главным образом, в отношении своего поведения, самым презренным из великих мыслителей своего времени, он превосходил большинство других в постоянной литературной искренности и в периодической возвышенности мыслей и чувств. Вольтер, хотя никогда не отступал надолго от своей собственной общей философской схемы, без колебаний лгал ради любой цели. Дидро цитировал несуществующие книги, чтобы обосновать свои теории. Но никто не может читать Руссо, не будучи уверенным, что он верил в то, что писал, по крайней мере в момент написания. Правдивость такого рода вполне совместима с неточностью, и вполне вероятно, что некоторые случаи в автобиографических записях Руссо были неверно запомнены, окрашены предрассудками или приукрашены тщеславием. Некоторые из них могут быть даже полностью вымышленными; автор мало заботился о фактах, разве что в качестве украшения и иллюстрации идей. Но то, что он думал абстрактно, Руссо был готов записать, мало заботясь о чувствах или мнениях какой-либо секты или партии, или даже той великой публики, чьи мысли были законом для философов. Он заслуживал того, чтобы извлечь выгоду из своей искренности, и он это сделал. Его многочисленные и великие недостатки были хорошо известны современникам; в его посмертной "Исповеди" они изложены таким образом, чтобы показать их более мрачными, чем мог себе представить любой современник; однако столь очевидна откровенность этих злых и отвратительных томов, что многие порядочные люди прониклись к Руссо вкрадчивой добротой и склонностью принимать его по его собственной оценке, как человека не хуже, чем другие люди.

Эту оценку самого себя никогда нельзя забывать при чтении его книг. "Вы видите, кто я", - говорит он на каждом шагу; "Итак, я хороший человек". В вере в собственную сравнительную доброту он был твердо уверен. Его жизненные теории во многом основывались на ней. Ведь Руссо был интроспективным мыслителем и, таким образом, находился в кажущейся оппозиции к интеллектуальной тенденции своего века. Вольтера и Дидро интересовал главным образом окружающий мир. Локк рассматривал свой собственный разум объективно; он попытался выйти за его пределы, чтобы хорошенько рассмотреть его; и при этом он упустил из виду некоторые важные его части, поскольку они были внутренними. Руссо изучал себя и мир внутри себя. Таким образом, хотя он был столь же аморален в своих поступках, как и любой из философов, он был более религиозен, чем любой из них. Теизм Вольтера был не более чем остатком ранней привычки, усиленной представлением о том, что религия необходима для целей полиции. Для Руссо мир без Бога был бы поистине пуст. Но поскольку его религия была теистической, а не ортодоксальной; поскольку с характерной подлостью он был готов исповедовать католицизм или кальвинизм, как ему было удобно, церковники причисляют его к атеистам. В той мере, в какой это просто злопыхательство, оно,

возможно, заслуженно, ибо жизнь Руссо заслуживала почти любого мыслимого злопыхательства; но как исторический факт, вера Руссо была столь же жива, как и вера многих его хулителей.[Сноска: Руссо смотрел на католичество и кальвинизм скорее как на гражданские системы, чем как на идеи, и принимал их так же, как человек может жить под иностранным правительством, принципы которого он не одобряет].

У каждого мыслящего человека есть философия и теология - метафизическое основание для его убеждений и мнение о Божестве. Единственный способ избежать их наличия - не думать ни о чем за пределами повседневной рутины жизни. Попытка обойтись без них на любых других условиях обычно заканчивается тем, что у человека остаются лишь грубые и противоречивые мнения по самым важным вопросам, представляющим для него интерес. Теология Руссо будет рассмотрена позже. Философские системы были его особым бичом, и лишь вскользь он формулирует свои метафизические идеи. Общая тенденция его убеждений была направлена на интуицию. Справедливость и добродетель, по его мнению, были записаны в сердцах людей и скорее нарушались, чем прояснялись наблюдениями ученых и размышлениями гениальных людей. Что касается оснований наших поступков, то он был менее единоклубен с самим собой. Иногда, соглашаясь с распространенной философией своего времени, он полагал, что людьми движет только их собственный интерес. Иногда, однако, он признавал два принципа человеческих действий, предшествующих разуму; первый из них - забота о собственном благополучии, второй - естественное отвращение к страданиям других. Проводя такое различие, он отделял себя от школы мыслителей, для которых жалость и привязанность являются лишь утонченными формами самолюбия. Это характерно для Руссо, который был свободен от той тяги к системе, которая является ловушкой для тех умов, в которых логика и чистый разум преобладают над остротой самонаблюдения.

Общество восемнадцатого века стало очень жестким и искусственным. Философы боролись за то, чтобы вернуть людей к жизни, рационально основанной на нескольких простых законах, вытекающих из природы вещей. Сами лидеры не всегда верно понимали эти законы и не всегда выводили правильные правила из тех законов, которые они воспринимали. Но их борьба всегда велась за разум, как они его понимали, и, как правило, за простоту. В этой работе Руссо был лидером. Он постоянно проповедовал достоинства и прелести простой жизни. В своих обличениях замысловатости, роскоши и даже цивилизации он часто ошибался, иногда доходил до абсурда. Но его авторитет был велик. Он задал моду на простоту и оказал влияние, которое вышло далеко за рамки моды и помогает изменять мир по сей день.

Помимо самоанализа, у Руссо было еще одно качество, в котором он был предшественником литераторов девятнадцатого века, - это любовь к природе. Сказать, что он был первым великим писателем, который наслаждался и описывал природные пейзажи, было бы грубым преувеличением. Но большинство предшественников Руссо ценили окружающий мир в основном за его полезность и пропорционально его плодородию. Руссо, пожалуй, первый великий писатель, который искренне радовался деревенской жизни; для которого озеро и гора, скала и облако, дерево и цветок имели постоянную радость и смысл. Истинное наслаждение природными пейзажами, как это принято сейчас говорить, не дано в высокой степени большинству людей; у немногих оно может быть таким же интенсивным, как наслаждение музыкой у многих других; но большинство людей может получить от пейзажа, как и от других красивых вещей, разумное и скромное наслаждение, если им хорошо указать на объект для их восхищения. Руссо не нуждался в таких наставлениях. В какой-то степени он снабдил его современный мир. Истинность его любви к природе отчасти подтверждается

тем, что она была ему так же дорога в своих простых и величественных проявлениях. Трава приводила его в восторг так же искренне, как и горная вершина; более того, он презирал тех, кто смотрит издалека на красоту, которая окружает нас повсюду, и его восхищение не было приковано к необычному. Он также не заполнял свои страницы описаниями. Чаще всего он упоминает природные пейзажи в своих автобиографических работах и в связи с их влиянием на него самого. Инстинктивно понимая, что главными предметами языка являются мысль и действие, как главными интересами живописи являются форма и цвет, этот писатель, так остро воспринимающий природную красоту, не виноват в словоблудии.

Жан Жак Руссо родился в Женеве 28 июня 1712 года. Его мать, дочь протестантского священника, умерла при его рождении. Его отец, часовщик по профессии, человек эксцентричного нрава, не имел возможности контролировать мальчика и, более того, вскоре уехал из города из-за ссоры с его правительством, оставив сына. Сначала Жан-Жак был отдан под опеку священника в соседней деревне, затем два или три года прожил у дяди в городе. В возрасте одиннадцати лет его отправили в нотариальную контору, откуда он был уволен за тупость и неумение. Затем он поступил в ученики к граверу, человеку буйного нрава, который своей жестокостью вывел на свет подлость, присущую слабой натуре мальчика. Руссо не был неспособен к великодушию; возможно, он так и не стал им. Но, обладая трусливым характером, он особенно нуждался в твердой доброте и разумных упреках, а их он не получал. Он стал воровать у своего хозяина, который в ответ бил его. Кражи Руссо были, в сущности, не очень значительны: яблоки из кладовой, инструменты из чулана. Его худшие проступки в это время не были такими, которые заставили бы нас сурово осудить духовного юношу. Но Жан Жак таковым не был. Последняя из его стычек в качестве подмастерья была важна только своими последствиями. Однажды днем он отправился с товарищами в экспедицию за городские ворота. "В полулиге от города, - говорится в "Исповеди", - я слышу звуки отбоя и тороплю шаг; я слышу бой барабана и бегу изо всех сил; я прибываю запыхавшийся, весь в поту; сердце мое бьется; я вижу вдали солдат на посту; я бросаюсь вперед; я кричу срывающимся голосом". Было слишком поздно. В двадцати ярдах от заставы я вижу, как поднимается первый разводной мост. Я вздрагиваю, видя в воздухе эти страшные рога, зловещее и роковое предзнаменование той ужасной судьбы, которая в этот момент начиналась для меня.

"В первом порыве горя я бросился на ледник и стал кусать землю. Мои товарищи смеялись над своим несчастьем и сразу же приняли решение. Я тоже принял решение, но другим способом. На том самом месте я поклялся, что никогда не вернусь к своему господину, а на следующий день, когда ворота открыли и они вернулись в город, я распрощался с ними навсегда".

Так Руссо стал странником в шестнадцать лет. Герцогство Савойское, в которое он попал, примыкало к Женевской республике и было страной столь же яростной католической, сколь и кальвинистской. Юный беглец вскоре попал к прозелиту-священнику, который накормил его хорошим обедом и отправил для дальнейшего обращения к одной необычной даме, жившей неподалеку, в Анси. Эта дама по имени мадам де Варенс, примерно на двенадцать лет старше Руссо, вскоре должна была занять важное место в его жизни. Она принадлежала к протестантской семье из Вевея, расположенного на северной стороне Женевского озера. Она, как и он, бежала из своей страны, и, по-видимому, не по более серьезной причине. В своем бегстве она оставила мужа и отреклась от своей религии. В морали у нее была своя система, и она отдавалась многим мужчинам, без заинтересованных мотивов, но и без особой страсти. Она была сентиментальной, деятельной женщиной, не слишком

рассудительной, скорее приятной, чем красивой, невысокого роста, худощавой, но с прекрасной головой и руками. Мадам де Варенс приняла мальчика любезно и в первый раз за все время их знакомства только и делала, что ускоряла его путь в Турин, где он поступил в монастырь с явной целью обращения в католичество. Через девять дней фарс был завершен, и новоиспеченный католик вышел в город, имея в кармане около двадцати франков мелочью, благотворительно пожертвованной свидетелями церемонии его отречения. Нет нужды подробно рассказывать о его приключениях в это время. Он был слугой в двух разных семьях. Прошло чуть больше года, и он покинул Турин, пешком вернулся в Анси и к мадам де Варенс.

Период жизни Руссо, когда эта дама оказывала правящее влияние, длился десять или двенадцать лет. Положение было таким, что любой человек с мужественными инстинктами уклонился бы от него: зависимость от любовницы, причем от любовницы, которая не претендовала на верность. В это время Руссо неспешно учился музыке и совершил несколько длительных путешествий пешком, одно из которых завело его аж в Париж. Этот человек, мягкий в нравственном отношении, мог переносить умеренные физические трудности и наслаждаться ими; с самого раннего воспитания он чувствовал себя уютно в простых домах и среди грубой обстановки. В конце концов, испытывая отвращение к появлению нового соперника в переменчивом хозяйстве мадам де Варенс, Руссо покинул ее и уехал в Лион, а затем, попробовав однажды вернуться к своей хозяйке и обнаружив, что это не удалось, отправился в Париж.

Более восьми лет после окончательного расставания с мадам де Варенс Руссо не делал ничего, что заставило бы кого-либо считать его гениальным человеком. Он получил и бросил должность секретаря французского посла в Венеции; он содержал себя как музыкант и как личный секретарь; он жил из рук в руки, имея в качестве компаньонки одну Терезу Левассер, гротескно неграмотную служанку, подобранную в трактире. Пятерых их детей он последовательно отдал в Подкидыши, навсегда потеряв их из виду. Матери он был верен по большей части, хотя и не без любовных похождения, в течение многих лет.

До 1749 года, когда Руссо было тридцать семь лет, он не опубликовал ничего важного. Однако он был знаком с литераторами, будучи известен лишь как один из тех авантюристов без средств к существованию, которых всегда можно встретить в городах и которыми Париж в это время был, по-видимому, переполнен. В чертах лица он был прост, в манерах неуклюж; часто делал комплименты женщинам, но в целом был им неприятен, хотя порой бывал интересен, когда возбуждался. В швейцарце Жан-Жаке было мало искрометного остроумия, которое высоко ценили французы его времени, но он обладал тонким наблюдением и множеством идей. В своих сочинениях он постоянно хвалил себя за то, что он скорее рассудителен, чем остроумен. На самом деле он не был ни тем, ни другим, но был очень изобретателен и красноречив. По характеру он был самодоволен, но не роскошен, чувствителен, тщеславен и сентиментален. К этому человеку - если верить его собственному рассказу, а я думаю, что в основном мы можем это сделать, - внезапно пришла идея, которая изменила всю его жизнь и которая существенно повлияла на миллионы жизней после его смерти. Эта идея была злым семенем, и она нашла злую почву для роста.

Лето 1749 года выдалось жарким. Дидро, только что ставший известным литератором, был заключен в Венсенский замок за "Письмо о слепых", и его друзьям было разрешено приходить к нему. Руссо навещал его каждый день после обеда, проходя четыре или пять миль, которые лежат между центром Парижа и замком. Деревья вдоль дороги были

подстрижены по унылой французской моде и давали мало тени. Время от времени Руссо останавливался, ложился на траву и отдыхал, причем у него вошло в привычку брать с собой в карман книгу или газету. Именно таким образом его взгляд случайно упал на абзац в "Меркюр де Франс", извещавший о том, что Дижонская академия в следующем году присудит премию за лучшее сочинение на следующую тему: "Имеет ли прогресс искусств и наук тенденцию к развращению или к улучшению нравов".

С этого момента, по словам Руссо, с ним произошла полная перемена. Пораженный внезапным головокружением, он стал похож на пьяного человека. Сердце его колотилось, он с трудом мог ходить и дышать. Бросившись к подножию дерева, он провел полчаса в таком волнении, что когда встал, то обнаружил, что вся передняя часть его жилета мокрая от слез, хотя он и не подозревал, что проливает их. Так на него обрушилась его великая теория о вырождении человека в условиях цивилизации [Сноска: Rousseau, xviii. 135 (Исповедь, часть ii. liv. viii); xix. 358 (Второе письмо к М. де Малешерб)]. Как бы ни была преувеличена эта история, мы можем с полным основанием полагать, что она ближе к истине, чем та, которую Дидро рассказал в последующие годы, когда они с Руссо поссорились. По этой версии, Руссо, желая побороться за приз, посоветовался с Дидро, на чью сторону ему встать, и получил совет взять на себя то, чего другие люди избегают. Дидро, *Oeuvres*, xi. 148. Мысли Руссо блуждали по темам, сходным с темой премиального эссе, еще до того, как он увидел объявление в "Меркюр де Франс". Musset-Pathay, ii. 363. Более того, если Руссо был фантазером и не всегда верил фактам, то Дидро был потрясающим лжецом].

Сам вопрос, заданный академией, предполагает возможность неблагоприятного для цивилизации ответа, но Руссо так подошел к нему, что положил начало целой эпохе в истории мысли. По его словам, именно под грубой одеждой рабочего, а не под мишурой придворного, можно найти силу и бодрость тела. До того как искусство сформировало наши манеры, они были грубыми, но естественными, а поступки людей свободно выражали их чувства. Человеческая природа была ничуть не лучше, чем сейчас, но люди были в большей безопасности, потому что могли легче читать мысли друг друга, а значит, избегали многих пороков. Прогресс цивилизации приводит к росту коррупции. Константинополь, где в темные века сохранялась образованность, был полон убийств, разврата и преступлений. Сравните с его жителями те примитивные народы, которые были ограждены от заразы суетных знаний: ранних персов, германцев, описанных Тацитом, современных швейцарцев, американских индейцев, чьи простые установления Монтень предпочитает всем законам Платона. Эти народы хорошо знают, что в других странах праздные люди проводят время в спорах о пороке и добродетели, но они рассмотрели мораль этих спорщиков и научились презирать их доктрины.

"Астрономия порождена суеверием, красноречие - честолюбием, ненавистью, лестью и ложью, геометрия - скупостью, физика - тщеславным любопытством; все, и сама мораль, - человеческой гордыней. Таким образом, искусства и науки обязаны своим рождением нашим порокам; мы должны меньше сомневаться в пользе, которую можно извлечь из них, если бы они проистекали из наших добродетелей". ... "Ответьте мне, прославленные философы, вы, от которых мы знаем, почему тела притягиваются друг к другу в вакууме; каковы отношения площадей, пройденных за равное время при вращении планет; какие кривые имеют сопряженные точки, точки перегиба и отражения; как человек видит все вещи в Боге; как душа и тело соответствуют друг другу без связи, как двое часов; какие звезды могут быть населены; какие насекомые воспроизводят себе подобных необычайным образом, - скажите мне, говорю я, вы, кому мы обязаны столь возвышенными знаниями, -

если бы вы не научили нас ничему из этого, были бы мы менее многочисленны, менее управляемы, менее респектабельны, менее процветающи или более порочны?"

Это тема "Первого рассуждения", тема, наиболее соответствующая натуре Руссо. Его нездоровье, мечтательный образ мыслей, тщеславие - все это заставляло его тосковать по состоянию вещей, как можно более отличному от того, что было вокруг него.

"Среди нас, - говорит он, - правда, Сократ не стал бы пить болиголов; но он выпил бы из более горькой чаши оскорбительных насмешек и презрения, во сто крат худшего, чем смерть". Подобная чувствительность принадлежит самому Руссо. С каким презрением здоровый Сократ посмеялся бы над предположением, что его беспокоит презрение или насмешки окружающих. Как весело он обратил бы оружие насмешников против них самих. Руссо не обладал ни чувством юмора, ни радостью жизни, которые так способствовали величию Атемана. Его теории особенно приятны разочарованным и слабым людям, и в этом кроется их опасность; ведь они направлены не на мужественные усилия, направленные на улучшение отдельных обстоятельств или всего человечества, а на тщетные мечтания о несбыточных идеалах. Есть роскошь, которая смягчает, но есть и роскошь, которая заставляет трудиться. Нация, не знающая астрономии, географии или физики, как правило, менее многочисленна, менее обороноспособна, менее процветает, а иногда и менее хорошо управляется, чем цивилизованная нация. Верно, что в искусствах и науках, в поступках и состоянии людей есть примесь низменного; но нет более низменной и опасной привычки ума, чем та, которая для каждого действия ищет худший мотив, для каждого состояния - самую эгоистичную причину".[Сноска: Спустя долгое время после публикации "Первого рассуждения" Руссо настаивал на том, что он никогда не собирался свергать цивилизованные государства в варварство, но лишь хотел остановить упадок примитивных государств и, возможно, замедлить упадок более развитых, изменив их идеалы. Oeuvres, xx. 275 (II. Диалог); xxi. 34 (III. Диалог). В целом сочинения Руссо следует воспринимать как выражение чувств в той же мере, что и попытки изменить мир. Это скорее рыки или вздохи, чем проповеди].

Хотя "Первое рассуждение" Руссо пагубно в своем общем учении, оно богато красноречивыми отрывками и содержит некоторые из тех здравых замечаний, которые мы редко не находим в работах автора. Во время ее написания, как и позже, он интересовался вопросами образования - той темой, на которую его влияние в целом было наиболее полезным.

"Я вижу со всех сторон, - говорит он, - огромные заведения, где молодежь за огромные деньги обучают всему, кроме ее обязанностей. Ваши дети не будут знать своего родного языка, но будут говорить на других, нигде не употребляемых; они будут уметь слагать стихи, которые вряд ли смогут понять сами; не умея отличить правду от лжи, они будут владеть искусством скрывать и то и другое от других с помощью хитроумных аргументов; но эти слова, великодушие, справедливость, умеренность, гуманность, мужество, будут им неизвестны; это милое название страны[Сноска: Patrie, - слово, казалось бы, необходимое, но без которого английский язык умудряется обходиться.] никогда не коснется их ушей; а если они и услышат о Боге, то не столько для того, чтобы бояться Его, сколько для того, чтобы бояться Его. "Я бы с таким же удовольствием, - сказал один мудрец, - чтобы мой школьник проводил свое время на теннисном корте; по крайней мере, его тело было бы более активным". Я знаю, что дети должны быть заняты и что безделье - это опасность, которой им следует опасаться больше всего. Чему же тогда они должны учиться? Прекрасный вопрос, конечно! Пусть учатся тому, что они должны делать, когда станут мужчинами, а не тому, что они должны забыть"[Сноска: Сравните Монтень, i. 135 (liv. i. chap. xxv.)].

Первое рассуждение" не только получило приз в Дижоне, но и вызвало большой резонанс в Париже и сразу же обеспечило Руссо видное место среди литераторов. Разгорелась полемика, были предприняты попытки опровержения. В 1753 году Дижонская академия вновь предложила премию за сочинение на тему, явно связанную с предыдущей: "Каково происхождение неравенства между людьми и разрешено ли оно естественным правом". Руссо снова участвовал в конкурсе, и на этот раз премия была присуждена кому-то другому, но эссе Руссо было опубликовано и заняло место среди важных работ автора и своего времени. Во "Втором рассуждении" мы видим развитие идей "Первого". Руссо написал воображаемую историю человечества, начиная с того существа, которое он сам создал, - счастливого дикаря. Он считает, что человек в первобытном состоянии, не имея ни моральных отношений, ни известных обязанностей, не может быть ни хорошим, ни плохим; если только эти слова не понимать в чисто физическом смысле, и не называть пороками те вещи в человеке, которые могут препятствовать его сохранению, а добродетелями - те, которые могут способствовать ему. В таком случае Руссо считает, что самым добродетельным должен называться тот, кто меньше всего сопротивляется простым импульсам природы; ошибка, конечно, ибо какие природные импульсы более просты, чем те, которые отвращают человека от всякого постоянного напряжения, и какие импульсы более склонны к разрушению индивида и вида?

У дикаря Руссо всего несколько желаний, причем самых простых, и он ни от кого не зависит в их удовлетворении. В нем пробудилась, хотя и неясная, природная жалость, в то время как в цивилизованном человеке она развита, но слаба. Философ не встанет с постели, даже если под его окном будут убивать его собратьев, а зажмет ладонями уши и успокоит себя аргументами. Дикарь не так спокоен и поддается первому порыву. В уличных драках собирается народ, а благоразумные люди уходят с дороги. Именно сброд и рыболовы разнимают дерущихся и не дают респектабельным людям перерезать друг другу глотки.[Сноска: Руссо говорит в своей "Исповеди" (Oeuvres, xviii. 205 n. Part. ii. liv. viii.), что этот бессердечный философ был подсказан ему Дидро, который злоупотребил его доверием и придал его сочинениям в это время жесткий тон и черный вид. Злоупотребление доверием - вздор, но комическое изображение философа, зажавшего руками уши, вполне могло быть создано Дидро. Руссо всегда был предельно серьезен].

Любовь, говорит он, бывает физической и моральной. Физическая сторона - это то общее желание, которое ведет к соединению полов. Моральная сторона - это то, что фиксирует это желание на одном исключительном объекте, или, по крайней мере, то, что придает этому исключительному желанию большую энергию. Теперь легко понять, что моральная сторона любви - это надуманное чувство, порожденное общественным укладом, которым женщины щеголяют с большим искусством и тщательностью, чтобы утвердить свою империю и дать власть полу, который должен подчиняться. Это чувство притуплено у дикаря, у которого нет абстрактных представлений о правильности и красоте; его не беспокоит воображение, которое причиняет столько страданий цивилизованному человеку". "Заклучим, что дикарь, бродящий в лесах, без производства, без языка, без дома, без войны и связей, не нуждающийся в себе и не желающий причинить вред своему роду, возможно, никогда не узнававший ни одного человека в отдельности, подверженный немногим страстям и достаточный для себя, обладал только чувствами и интеллектом, соответствующими его состоянию; что он ощущал только свои реальные потребности; он смотрел только на те вещи, которые, как он думал, было интересно увидеть, и его интеллект прогрессировал не больше, чем его тщеславие. Если он случайно делал какое-нибудь открытие, то не мог сообщить о нем, не признавая даже собственных детей. Искусство погибло вместе с изобретателем. Не было ни образования, ни прогресса; поколения бесполезно множились,

и, поскольку все начинали с одной и той же точки, века проходили со всей грубостью первого века; род уже состарился, а человек все еще оставался ребенком".

Неравенство между дикарями было бы незначительным. Физическое неравенство часто вызвано ожесточением или слабостью; умственное - воспитанием, которое не только делит людей на грубых и культурных, но и увеличивает естественные различия, допущенные природой между последними; ведь если великан и карлик идут по одной дороге, то каждый шаг, который они делают, разделяет их еще больше. А если между людьми нет отношений, то их неравенство мало их беспокоит. Там, где нет любви, что толку в красоте? Какую пользу могут извлечь из остроумия те, кто не говорит, или из ремесла те, кто не имеет дел? "Я постоянно слышу, как говорят, - восклицает Руссо, - что сильные будут угнетать слабых. Но объясните мне, что подразумевается под словом "угнетение". Одни люди будут править с помощью насилия, другие будут стонать в их услужении, подчиняясь всем их капризам. Это именно то, что я наблюдаю среди нас; но я не понимаю, как это можно сказать о дикарях, которых вряд ли можно заставить понять смысл рабства и господства. Один человек может отнять у другого плоды, которые тот собрал, дичь, которую тот убил, пещеру, которая была его убежищем; но как ему удастся заставить его подчиняться? Да и какие могут быть цепи зависимости у людей, которые ничем не владеют? Если меня сгоняют с одного дерева, мне достаточно перейти на другое; если меня мучают в каком-то месте, кто помешает мне перебраться в другое? Есть ли человек, который настолько сильнее меня, да к тому же настолько развращен, ленив и свиреп, чтобы заставить меня содержать его, пока он бездействует? Он должен решиться не терять меня из виду ни на минуту, держать меня на привязи с большой осторожностью, пока он спит, боясь, что я сбегу или убью его; то есть он вынужден добровольно подвергать себя гораздо большим неприятностям, чем те, которых он хотел бы избежать, и чем те, которые он предоставляет мне. И в конце концов, если его бдительность на мгновение ослабнет, если он повернет голову на внезапный шум, я сделаю двадцать шагов по лесу, мои цепи будут разорваны, и он никогда больше не увидит меня, пока жив".

Руссо признавал, что его природное состояние не похоже ни на что, существовавшее на нашей планете.[Сноска: Эта уступка, вероятно, приняла такую форму отчасти для того, чтобы удовлетворить цензора или Дижонскую академию, ревнующую к Бытию. "Религия велит нам верить, что сам Бог вывел людей из состояния природы сразу после сотворения, и они неравны, потому что он пожелал, чтобы они были такими". Подобные замечания встречаются во всех сочинениях того времени, хотя в сочинениях Руссо их меньше, чем в сочинениях большинства его современников. Очевидно, они предназначены для того, чтобы удовлетворить авторитеты, а разумный читатель просто пропустил их мимо ушей]. Но это соображение его ничуть не беспокоит. Начнем, говорит он, с того, что отбросим все факты; они не касаются вопроса. Это постоянная практика философов определенных школ, но мало кто из них признает ее так откровенно, как Руссо. Если бы факты человеческой природы и человеческой истории были серьезно рассмотрены, у нас не было бы ни Республики Платона, ни Утопии Мора; мир был бы совсем другим, чем он есть; ведь эти облачные города, законы архитектуры которых противоречат всем учениям физики, все же золотят своей славой и затмевают своими тенями прочные храмы и улицы под ними".

Во второй части своего эссе Руссо прослеживает развитие человеческого общества. "Первый человек, - говорит он, - который, огородив участок земли, взялся сказать: "Это мое", и нашел людей достаточно простых, чтобы поверить ему, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких страданий и ужасов не избавил бы он род человеческий, если бы, вбивая колья или засыпая ров, крикнул

своим собратьям: "Осторожно, не слушайте этого самозванца. Вы погибли, если забыли, что плоды принадлежат всем, а земля - никому".

Но этот благодетель не появился. Вскоре вся земля была поделена между определенным числом захватчиков. Те, чья слабость или леность не позволили им получить свою долю, были вынуждены уйти в рабство или грабить своих более богатых соседей. Затем последовали гражданские войны, беспорядки и грабежи. Наконец те, кто владел землей, задумали самый продуманный план, который когда-либо приходил в голову человеку. Они убедили более бедных людей объединиться с ними и создать ассоциацию, которая должна была защищать всех своих членов и обеспечивать каждому мирное владение его собственностью. "Таково было происхождение общества и законов, которые дали новые узы слабым, новую силу богатым, безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили законы собственности и неравенства, превратили ловкую узурпацию в устоявшееся право и, ради выгоды нескольких честолюбцев, подвергли отныне весь человеческий род труду, рабству и страданиям".

Но в целом этап развития, который казался Руссо самым счастливым, не был состоянием полной изоляции. Он предполагает, что когда-то человечество собиралось в стада и сделало несколько простых изобретений. Появился грубый язык, были построены хижины. Люди стали более свирепыми и жестокими, чем вначале. Состояние было промежуточным между леностью первобытного состояния и мелочной активностью самолюбия, наблюдаемой сейчас в мире. По его мнению, именно такой стадии достигло большинство дикарей, известных европейцам; она наиболее желанна; и он отмечает, что ни один дикарь еще не принял цивилизацию, в то время как многие французы присоединились к индейским племенам и приняли дикарский образ жизни.

Завершая "Второе рассуждение", Руссо подводит итог своим выводам. "Из этого изложения следует, что неравенство, которое в естественном состоянии почти ничто, черпает свою силу и рост из развития наших способностей и из прогресса человеческого духа и становится наконец устойчивым и законным благодаря установлению собственности и законов. Из этого также следует, что моральное неравенство, санкционированное только позитивным правом, противоречит естественному закону всякий раз, когда оно не совпадает в той же пропорции с физическим неравенством; это различие в достаточной степени показывает, что следует думать в этом отношении о том виде неравенства, который царит среди всех цивилизованных народов, поскольку явно противоречит закону природы, как бы он ни определялся, чтобы ребенок командовал стариком, глупец руководил мудрецом, а горстка людей была пресыщена излишествами, в то время как голодная толпа испытывает нужду в необходимом."

Рассуждения о неравенстве" были отправлены Руссо Вольтеру и вызвали характерное письмо от понтифика философов. "Я получил, сударь, вашу новую книгу против рода человеческого. Я благодарю вас за нее. Вы порадуете людей, которым расскажете неприятные истины, но не исправите их. Невозможно в более ярких красках изобразить ужасы человеческого общества, от которых наше невежество и слабость сулят нам столько утешений. Никто никогда не тратил столько остроумия на то, чтобы сделать нас глупыми; когда мы читаем вашу книгу, нам хочется встать на четвереньки. Тем не менее, поскольку прошло уже более шестидесяти лет с тех пор, как я утратил эту привычку, я сознаю, что мне невозможно вновь обрести ее, и оставляю эту естественную позу тем, кто более достоин ее, чем мы с вами. Я также не могу взять корабль, чтобы отправиться к дикарям в Канаду; во-первых, потому что болезни, которые меня мучают, обязывают меня оставаться рядом с величайшим врачом Европы, и потому что я не найду такого же облегчения среди миссури;

во-вторых, потому что в тех краях идет война, и пример наших народов сделал дикарей почти такими же жестокими, как мы". Далее Вольтер жалуется на свои собственные страдания как автора, но при этом превозносит влияние литературы. Не Петрарка и Боккаччо, говорит он, развязали войны в Италии; не любезности Маро вызвали резню в день святого Варфоломея; не трагедия Сиды привела к беспорядкам во Фронде. Великие преступления, как правило, совершались невежественными великими людьми. Именно ненасытная скупость, неукротимая гордыня человечества превратили этот мир в долину слез; от Тамаса Кули-Кана, который не умел читать, до служащего таможни, который умеет только шифровать". [Сноска: 30 августа 1755 г. Вольтер, lvi. 714].

Это письмо не является ни очень комплиментарным, ни очень убедительным в своем отношении к положению Руссо, но можно сказать, что оно знаменует его официальное принятие в гильдию литераторов. Вскоре он приступил к новой работе. Он написал статью "Политическая экономия" для большой "Энциклопедии", в которой, противопоставляя себя учению "Второго рассуждения", утверждает, что "несомненно, что право собственности является самым священным из всех прав граждан и в некоторых отношениях более важным, чем сама свобода; То ли потому, что оно более тесно связано с сохранением жизни, то ли потому, что собственность легче отнять и труднее защитить, чем человека, поэтому следует больше всего уважать то, что легче всего похитить; то ли потому, что собственность - истинная основа гражданского общества и истинная гарантия обязательств граждан; ведь если бы собственность не отвечала за человека, то ничто не было бы так легко, как уклоняться от обязанностей и смеяться над законами". "И далее, в той же статье, он называет собственность основой общественного договора, первым условием которого является сохранение каждого в мирном пользовании тем, что ему принадлежит. Мы не должны удивляться тому, что Руссо изо дня в день меняет свои взгляды. Мечтатель, а не философский мыслитель, он постигал некоторые истины и произносил множество софистических фраз, говоря всегда с огнем убеждения и роковым красноречием.

Нет нужды вдаваться в подробности жизни Руссо в это время, время, когда были сделаны его самые замечательные работы. Труд всегда был для него мучительным и раздражающим, и, возможно, именно неприятные занятия доводили его до чего-то, не похожего на безумие[Сноска: Мало сомнений в том, что Руссо одно время был действительно безумен, подверженный иллюзиям, что его преследуют. Его сумасшествие стало очень заметным только во время настоящих гонений, которым он подвергся после публикации "Эмиля". См. его "Биографии" и *Le Docteur Châtelain, La folie de J. J. Rousseau*, Paris, 1890. Конечно, он всегда был эксцентричным и неуравновешенным; его часто делала раздражительным болезненная болезнь, вызванная пороком развития мочевого пузыря. Morley, *Rousseau*, i. 277, etc. *Oeuvres*, xviii. 155 (*Conf. Part. ii. liv. viii.*)].

И все же он продолжал писать с энтузиазмом. Он говорит о себе, что в эти годы им двигало созерцание великих объектов; он нелепо надеялся добиться торжества разума и истины над предрассудками и ложью и сделать людей мудрее, показав им их истинные интересы. В это время он научился, по его словам, глубоко размышлять и на мгновение поразили Европу произведениями, в которых вульгарные души видели лишь красноречие и остроумие, но в которых обитатели бесплотных областей с радостью узнавали себе подобных[Сноска: Rousseau, *Oeuvres*, xx. 275 (II. Dialogue)].

Самым известным и, вероятно, самым важным из политических сочинений Руссо является "Социальный договор", или "Социальное соглашение", которое последовало за "Вторым рассуждением" с интервалом в восемь лет и, таким образом, появилось в конце периода наибольшей литературной активности его автора. В этом сочинении, задуманном как

фрагмент более крупного труда о государстве, Руссо излагает условия, которые, по его мнению, должны управлять жизнью людей, объединившихся в настоящее государство. Он считает, что любое правительство, не основанное на этих принципах, нелегитимно и опирается лишь на силу, а не на право. Нация, которой неправильно управляют, - это всего лишь агрегат, а не ассоциация. Она лишена общественного блага и политического тела.

В идее общественного договора для Руссо не было ничего оригинального. Эту идею можно проследить в трудах Платона, который говорит о ней как об уже знакомой. Но она не стала ведущей доктриной среди авторов, пишущих о политике, до публикации "Церковной политики" Хукера в 1594 году. В этой книге утверждалось, что от анархии, существующей до установления закона, можно избавиться только путем "достижения людьми согласия между собой, установления некоего общественного правительства и подчинения ему". В течение семнадцатого века эта теория росла и процветала. Гоббс считал ее основой абсолютного правительства, Локк - свободного; ее признал Гроций. Она получила свое воплощение в каюте корабля "Мэйфлауэр", когда пилигримы торжественно и взаимно, в присутствии Бога и друг друга, заключили завет и объединились в гражданское политическое тело. Ко времени Руссо общественный договор стал одним из общих мест политической мысли [Сноска: См. историю общественного договора в A. Lawrence Lowell, *Essays on Government*. Платон, ii. 229 ("Республика", книга ii.). Хукер, i. 241. Гоббс, *Левуафан*, *passim*. Локк, т. 388 (О гражданском правительстве, раздел 87). Morion's *New England's Memorial*, 37]. Люди признавали, более или менее смутно, что в случае большинства стран нельзя доказать, что было заключено определенное торжественное соглашение, но, не найдя записи о таком договоре, писатели были готовы предположить его наличие, явное или подразумеваемое. Каковы же были точные условия договора? Руссо поставил вопрос следующим образом: "Найти такую форму ассоциации, которая защищала бы всеми общими силами личность и имущество каждого члена, и благодаря которой каждый, объединяясь со всеми, мог бы все же подчиняться только себе и оставаться столь же свободным, как и прежде". И он взялся решить эту проблему, предложив "полное отчуждение каждого члена общества со всеми его правами в пользу всего сообщества", что он подкрепил словами о том, что, поскольку каждый полностью отдает себя, условия равны для всех; и что, поскольку условия равны для всех, никто не заинтересован в том, чтобы сделать их обременительными для других.

Следует заметить, что между искомым и найденным есть разница. Руссо, пообещав, что каждый человек будет подчиняться только себе, тут же ставит нам условие, равное для всех. Иными словами, вместо свободы мы получаем равенство. Разница между ними общепризнанна для англосаксов и часто незаметна для континенталов. Французы в XVIII веке редко ее замечали. Эта путаница в мыслях стала причиной многих бед Французской революции. Мы увидим, что Руссо, которого любовь к свободе завела за грань смешного в "Рассуждениях", в "Социальном договоре" любовь к равенству вернула назад, настолько, что он стал защитником нестерпимой тирании, но при этом совершенно не осознавал своей непоследовательности. По сути, он составил описание свободы, странным образом состоящее из правды и лжи. Он считал свободным того, кто не подвластен ни одному человеку, а только закону, а затем предусматривал самый произвольный и капризный вид законотворчества.

Первой задачей Руссо, после того как он определил условия своего договора, является обеспечение суверенной власти в государстве. Ее он находит в ассоциации граждан, объединенных, как было сказано выше, в политическое тело. Этот суверен не может быть связан своими собственными действиями или решениями, за исключением случаев соглашения с посторонними, ибо никто не может заключить договор с самим собой.

Первоначальным договором действия отдельных граждан как независимых агентов были исчерпаны. Отныне они могут действовать только как части целого. Между одним или несколькими из них и обществом, частью которого они являются, не может быть никакого договора.[Сноска: В эпитафе *Общественного договора*, вставленном Руссо в пятую книгу "Эмilia", он так определяет условия этого договора. "Каждый из нас вносит в общий фонд свое имущество, свою личность, свою жизнь и всю свою силу под верховным руководством общей воли, и мы получаем в качестве тела каждого члена как неделимую часть целого". *Oeuvres*, v. 254]. Суверен, однако, не должен действовать непосредственно в отношении отдельных лиц, ибо в этом случае он представлял бы собой лишь часть сообщества, действующую на другую часть, и тем самым утрачивал бы свое моральное право. Он должен действовать исключительно в общих вопросах, посредством общих декретов, которые только и могут быть правильно названы законами. "Теперь суверен, состоящий только из составляющих его индивидов, не имеет и не может иметь интересов, противоположных их интересам; поэтому суверенная власть не должна предоставлять своему подданному никаких гарантий, так как невозможно, чтобы тело желало причинить вред своим членам", а поскольку природа его действий общая, а не частная, он не может причинить вред одному индивиду, не причиняя одновременно вреда всем остальным. "Суверен, в силу самого факта своего существования, всегда является тем, чем он должен быть".

Общая воля всегда правильна и всегда направлена на благо общества, говорит Руссо, но из этого не следует, что решения народа всегда одинаково правильны. Человек всегда желает себе блага, но не всегда его видит. Народ никогда не бывает развращен, но часто бывает обманут, и в последнем случае только кажется, что он желает зла. Если бы в государстве не было партий, народ, если бы он был достаточно информирован, всегда голосовал бы правильно, поскольку небольшие различия в частных интересах уравнивали бы друг друга, и в результате получалась бы общая воля. Но благодаря партиям и ассоциациям этот результат предотвращается. Нация может менять свои законы, когда ей заблагорассудится, даже самые лучшие из них; ведь если ей нравится причинять себе вред, кто имеет право сказать ей "нет"?

Суверенитет неотчуждаем, ибо передается власть, но не воля. Суверенитет, по сути, заключается в общей воле, а общая воля не может быть представлена. Она либо одна, либо другая; промежуточного пункта не существует. Депутаты народа не могут быть его представителями; они могут быть только его агентами; они не могут ничего определенного заключить. Любой закон, который народ не ратифицировал в своем собрании, недействителен; это не закон. Английская нация считает себя свободной. Он сильно ошибается. Он свободен только во время выборов членов парламента. Как только они избраны, нация порабощена; она - ничто. Суверенитет неделим, его полномочия - только законодательные, а исполнительная функция государства - лишь ее эманация.

Таковы основные условия общественного договора, к каким же государствам он может быть применен? Хотя Руссо дает много указаний для управления большими странами, мы видим, что его система действительно применима только к государствам настолько малым, что все избиратели могут быть объединены в одном собрании. Эти народные собрания, говорит он, должны проводиться часто, в установленное законом время, не зависящее ни от каких созывов, а также в нерегулярное время, когда это необходимо. Пусть никто не возражает, что такие частые собрания отнимут слишком много времени. Он отвечает, что "как только государственная служба перестает быть главным делом граждан, и они предпочитают служить своими кошельками, а не лицами, государство уже близко к гибели. Если нужно идти в бой, они платят солдатам и сидят дома; если нужно присутствовать в совете, они

выбирают депутатов и сидят дома. Благодаря лени и деньгам они наконец-то получили войска, чтобы поработить свою страну, и представителей, чтобы предать ее".

Единственный закон, требующий единодушия, - это сам общественный договор. Когда он однажды заключен, каждый гражданин соглашается с любым законом, даже с тем, который принимается вопреки ему. Когда в народном собрании предлагается закон, вопрос заключается не в том, одобряют его или отвергнут, а в том, соответствует ли он общей воле, то есть воле народа. Каждый человек своим голосом выражает свое мнение по этому вопросу, и при подсчете голосов выясняется выражение общей воли. Поэтому, когда преобладает мнение, противоположное моему, это доказывает не что иное, как то, что я ошибался и что то, что я принимал за общую волю, таковой не является. Если бы мое частное мнение одержало верх над общей волей, я должен был бы сделать то, чего не желал; и тогда я не был бы свободен.

Говорят, что государь не должен действовать в частных случаях. Это означало бы смешение закона и факта, и политическое тело вскоре стало бы жертвой насилия. Поэтому необходимо создать исполнительную власть, которую Руссо называет безразлично - *правительством* или *князем*, поясняя, что последнее слово может использоваться в совокупности. Но, отличаясь в этом от более древних писателей, он отрицает, что учреждение исполнительной власти порождает какой-либо договор между народом и лицами, назначенными управлять. Он считает, что эти лица занимают промежуточное положение между государством, рассматриваемым как суверен, и народом, рассматриваемым как подданный, и обладают лишь делегированной властью. В этом мнении Руссо придерживается большинство либеральных правительств, созданных с его времен. Но он заводит эту теорию гораздо дальше, чем это можно сделать на практике. Государь, говорит он, может в любой момент отменить полномочия своих агентов, и первым актом каждого общественного собрания должен быть ответ на два вопроса: во-первых, угодно ли государю сохранить нынешнюю форму правления; во-вторых, угодно ли народу оставить управление тем лицам, которые сейчас его осуществляют.

Главы о форме правления гораздо менее важны, чем главы о суверенитете. Руссо признает демократию, аристократию и монархию применимыми соответственно к малым, средним и большим государствам. Он говорит, что демократия - самая сложная для управления форма, требующая для своего идеального функционирования настолько маленького государства, чтобы каждый гражданин мог лично знать каждого другого, а также большой простоты нравов, большого равенства званий и состояний и малой роскоши. Разумеется, это относится только к демократии в ее крайней форме, когда народ осуществляет все функции правительства, не делегируя ни одной из них. Руссо предпочитал то, что он называет аристократией, - правительство самых мудрых и опытных. Первые общества, говорит он, управлялись именно так, а американские индейцы управляются так до сих пор. Заметно, что индейцы занимают в работах Руссо место, подобное тому, которое китайцы занимают в работах Вольтера; это далекий народ, живущий в идеальном состоянии. Свобода дикаря, литературная цивилизация Востока вызывали восхищение у этих двух писателей, диаметрально противоположных по своему взгляду на жизнь, но схожих в своем полном непонимании всего, что не было европейским и современным. Далее после правления мудрецов и старцев Руссо помещает выборное правление, которое, как и у некоторых других абстрактных писателей, он классифицирует как аристократическое. Наследственную аристократию он называет худшим из всех правительств. Он намекнул, что его средство от слабости малых стран в борьбе с внешними врагами будет найдено в федерации, но отложил обсуждение этого вопроса до более крупного трактата, который так и не был

написан.[Сноска: Руссо сам дал два резюме Социального договора; одно очень короткое, в Шестом письме с горы (*Oeuvres*, vii. 378). Оно было написано после осуждения книги властями Женевы, и в своем протесте он указывает, что взял Женеву в качестве образца государства в Социальном договоре. Другое резюме, гораздо более полное, находится в пятой книге "*Эмиля*" (*Oeuvres*", v. 248). Здесь мы находим следующий выпад против всего общественного строя: "Мы исследуем, не наделал ли кто троекратного или троекратно малого в социальном институте. Если индивиды, принадлежащие к лохам и мужчинам, при том, что общества сохраняют между собой независимость от природы, не подвергаются воздействию пороков двух государств, не имея преимуществ, и если не будет лучше, чтобы в мире не было ни одного гражданского общества, а было бы несколько"]].

Руссо очень убедительно указал на несовместимость с гражданским управлением религии, зависящей от священства, организация которого выходит за пределы территории страны и образует политическое тело. Однако он не предлагал применить единственно верное средство против такого положения вещей, которое заключается в полном отделении церкви от государства в сочетании со свободой слова как для духовенства, так и для мирян. Он признавал возможными только три вида религии, из которых первая, без храмов, алтарей и обрядов, ограниченная внутренним поклонением Богу и внешними нравственными обязанностями, была, по его мнению, чистой и простой религией Евангелия, истинным теизмом и могла быть названа естественным божественным законом. Следующая религия - национальная, принадлежащая одной стране. У нее есть свои боги, свои обряды, свои алтари - все в пределах своей земли, за ее пределами все неверное, чужое и варварское. Обязанности человека не простираются дальше границ его собственной страны. Таковы были религии первых народов. Третий вид дает своим приверженцам две системы законодательства, двух вождей, два дома, заставляет их подчиняться противоречивым обязанностям, не позволяет им быть одновременно благочестивыми служителями культа и добропорядочными гражданами. Такой религией является римско-католическая.

Римское духовенство, говорит он, объединено не формальными собраниями, а причастием и отлучением, которые являются его общественным договором и с помощью которых оно всегда будет сохранять власть над королями и народами. Все священники, находящиеся в общении, являются гражданами, хотя и находятся на разных концах земли. Это изобретение - шедевр политики.

Наш автор считает, что государство имеет право настаивать на какой-то религии. Существует чисто гражданское исповедание веры, статьи которого государь может зафиксировать, не совсем как догматы религии, но как принципы общительности. Их должно быть немного, они должны быть простыми и ясными и объявляться без объяснений и комментариев. Существование божества, могущественного, разумного, благодетельного, предвидящего и обеспечивающего; грядущая жизнь со счастьем добрых и наказанием злых; священность общественного договора и законов - таковы позитивные догмы. Из запрещенных вещей должна быть только одна: нетерпимость. Тот, кто говорит, что нет спасения, кроме как в церкви, должен быть изгнан из государства; ибо такое учение опасно для государя, за исключением, правда, теократии. Тот, кто не придерживается вышеописанного простого вероучения, может быть изгнан, но не как нечестивец, а как необщительный, неспособный искренне любить справедливость и законы или пожертвовать жизнью ради своего долга. А если кто-либо, публично приняв эти догмы, ведет себя так, будто не верит в них, пусть будет предан смерти; он совершил величайшее из преступлений; он солгал перед законами".

В коротком эссе об общественном договоре Руссо собрал, как мы видели, несколько самых опасных ошибок, от которых страдает современное общество. Народ, по его словам, не только всемогущ, но и всегда праведен; иногда обманут, но никогда не развращен. Почему все общество должно быть лучше или мудрее, чем лучшие из составляющих его людей; почему наши ошибки должны уравновешивать или противодействовать друг другу, а наши добродетели - нет, Руссо, вероятно, никогда не задавал себе этого вопроса; а если он и приходил ему в голову, то он отмахивался от него, давая лишь умозрительный ответ. Вряд ли можно найти предел тирании, которую он допускает по отношению к толпе. Отдельный гражданин становится свободным от вмешательства одного хозяина только для того, чтобы быть более зависимым от корпоративного деспота, который должен контролировать каждое его действие и мысли. Манеры, обычаи, прежде всего общественное мнение, объявляются важнейшими из законов. Индивидуальность, таким образом, должна быть полностью изгнана. Не предусмотрена и безопасность. Преимущество стационарной системы заключается в том, что человек может знать в этом году, что мир будет ожидать от него через десять лет, и строить свои планы соответственно. Человеческие законы иногда можно простить за то, что они столь же негибки, как законы физики, если на них можно положиться с такой же уверенностью. Но Руссо, надеясь, что его государство мало изменится, тщательно сохраняет за своим тираном право на капризы. И чтобы это право никогда не забывалось, он заботится о том, чтобы вся форма правления ставилась под сомнение на каждом общественном собрании. То, что народ решил сегодня, он может отменить завтра. Несчастному гражданину не оставляют даже права на протест. Общая воля, подтвержденная народным голосованием, становится его собственной волей. Сами желания его сердца должны лояльно следовать изменчивым капризам своего многоголового повелителя.

Однако здесь, как и везде, Руссо соединил благородную концепцию с низменной. Закон, однажды провозглашенный суверенной властью, должен быть универсальным для всего государства и превосходить всех человеческих правителей. Эта идея не нова, но хорошо, что она снова четко сформулирована.

Вполне соответствует общему духу этого сочинения то, что, хотя нетерпимость называется единственным религиозным преступлением, на самом деле она является основой всей церковной системы республики. Тот, кто осмелится сказать, что вне церкви нет спасения, должен быть изгнан из государства. Таким образом Руссо изгнал бы почти всех христиан XVIII века. С другой стороны, тот, кто сомневается в существовании Бога, Его провидении, наградах и наказаниях, должен быть подвергнут такому же обращению. Некоторые философы того времени, таким образом, исключаются. Воистину, мало кто остается справедливым, и Руссо совершенно прав, считая, что те, кто проводит различие между гражданской и теологической нетерпимостью, заблуждаются. По крайней мере, в его системе эти два понятия тесно связаны.

## ГЛАВА XIX.

### "НОВАЯ ЭЛОИЗА" И "ЭМИЛЬ".

Не только своими политическими сочинениями Жан Жак Руссо оказал большое влияние на Европу. Из всех его книг две, пожалуй, самые известные, имеют форму свободной и разрозненной беллетристики и посвящены не правительству, а жизни, страстям, обществу и воспитанию. Однако герои "Новой Элоизы" и "Эмиля" - это не просто каркасы чувел, наделенных абстрактными качествами и прекрасными чувствами. Сен-Пре, Эмиль и воспитатель, Жюли, Софи, Клер и лорд Эдвард Бомстон - живые люди, которые могут нравиться или не нравиться читателю. В первых трех Руссо, кажется, включил себя, и

результат получился интересным, но отталкивающим. В Жюли мы имеем идеал женщины Жан-Жака, существо благородной природы, запятнанное и оскверненное чем-то низким и болезненным; но Клер и Софи, кажется, взяты только из наблюдения, а не самоанализа, и, хотя далеко не безупречны, часто очаровательны.

Роман "Новая Элоиза" написан в письмах - форма письма, более утомительная, чем любая другая. Но следует помнить, что на заре художественной литературы романов было так мало, что занять долгое время чтением не было препятствием для популярности одного из них. Если верить Руссо, "Новая Гелойза" произвела большую сенсацию. Весь Париж с нетерпением ждал ее появления. Когда она наконец была опубликована, мнения литераторов разделились, но общество было единодушно в ее похвалах, а женщины были в таком восторге от нее, что даже среди высокопоставленных особ было мало тех, чьего завоевания автор не смог бы добиться, если бы решил взяться за это. Сделав должную поправку на болезненное тщеславие Жан-Жака, мы можем полностью поверить ему, когда он говорит, что книга покорила читающую публику. Одна дама, рассказывает он, одевшись после ужина на бал в Оперном театре, села читать новый роман в ожидании времени. В полночь она заказала карету, но не отложила книгу. Карета подъехала к двери, но она продолжала сидеть. В два часа слуги предупредили ее о часе. Она ответила, что спешить некуда. В четыре она разделась и продолжала читать до конца ночи. При первом появлении этой повести книготорговцы отпускали ее экземпляры по двенадцать су в час[Сноска: Rousseau, xix. 101 (*Confessions*, liv. xi.)]. Сегодня ее очарование исчезло. Действительно, мало произведений чистой литературы, которые читают через сто лет после публикации, за исключением авторов литературных историй и несчастных учеников неосмотрительных школьных учительниц (а "Новая Гелойза" не войдет ни в одну схему женского образования); но хороший стиль и истинный энтузиазм могут облегчить задачу даже этим страдальцам.

Удивительно, что в некоторых вопросах чувств ни одна эпоха не кажется столь далекой от нашей, как эпоха наших прадедов. Влюбленные средневековья и шестнадцатого века кажутся нам естественными и здоровыми существами. Влюбленные восемнадцатого кажутся сентиментальными и глупыми. В случае с великим романом Руссо этот эффект усиливается нездоровым напряжением ума автора. У него все страсти принимают нездоровые формы, а сам бриз с Леманского озера доносится с близкими и тошнотворными запахами.

Не стоит рассматривать здесь историю "Новой Гелойзы" - в первой части это история незаконной страсти, а во второй - счастливого брака героини с мужчиной, который не является ее возлюбленным. Визит этого любовника к своей старой любовнице и ее мужу в их дом в Кларенсе, со всеми вытекающими отсюда испытаниями добродетели, - неприятный кусок сентиментальности. Члены трио падают друг другу на шею с неприятной частотой и пылкостью. Но сама картина этого дома, с его упорядоченным хозяйством, либеральностью и простотой, интересна и привлекательна. "С тех пор как хозяева этого дома приняли его за свое жилище, они обратили в свою пользу все, что служило лишь украшением; это уже не дом, созданный для того, чтобы на него смотрели, а для того, чтобы в нем жили. Они расширили длинные ряды дверей, через которые комнаты выходили одна из другой, и сделали новые дверные проемы в удобных местах; они сократили слишком большие комнаты и улучшили их расположение; они заменили старую и дорогую мебель простой и удобной. Все приятно и улыбочиво, все дышит изобилием и чистотой; ничто не показывает дороговизны или роскоши; нет ни одной комнаты, где бы вы не чувствовали себя в деревне и где бы вы не находили всех городских удобств. Те же изменения заметны и снаружи: птичник был расширен за счет каретного дома. На месте старого разбитого бильярдного стола поставили прекрасный винный пресс, а чтобы освободить место для молочной фермы,

избавились от нескольких крикливых павлинов. Огород был слишком мал для кухни; из партера сделали второй, но такой аккуратный и так хорошо разбитый, что в преображенном виде он радует глаз больше, чем прежде. Хорошие шпалерные растения заменили унылые тисы, закрывавшие стену. Вместо бесполезного конского каштана во внутреннем дворе зацвели молодые черные шелковицы, а вместо старых лип, окаймлявших аллею, посажены два ряда ореховых деревьев, идущих к дороге. Везде полезное было заменено приятным, и почти везде приятное от этого выиграло". Описание мастерское, но мы не можем простить Руссо, что он пожертвовал конским каштаном и липами[Сноска: Rousseau, ix. 235 (Nouv. H  l. Part. iv. Let. x.)].

Но не вся земля обрабатывается таким утилитарным образом. У героини есть "Элизиум". Это место находится рядом с домом, но отделено от остальной территории густой живой изгородью. Здесь много местных растений, образующих глубокую тень, а земля покрыта травой, как бархатом, и со всех сторон растут цветы. Лианы перебираются с дерева на дерево, укореняясь, возможно, в стволах самих деревьев. Через это место протекает ручей с чистой водой, то разделяясь на несколько русел, то объединяясь в одно, журчащее здесь по гравию, там отражающее деревья и небо. Колония птиц, защищенная от любого беспокойства, очаровывает одиночество песнями. Здесь поощряют природу, а не препятствуют ей; мало что зависит от садовника, многое - от умной и любящей заботы хозяйки.

Рассказ о саде занимает много страниц "Новой Гелойзы", страниц одновременно красноречивых и интересных. Как бы искусственны ни были многие его детали, письмо - это мольба о защите природы от искусственности. Читатели XVIII века были очарованы и поспешили подражать героине Руссо. Прямые гравийные дорожки, формальные клумбы, подстриженные живые изгороди старой Франции стали утомлять их обладателей. Какой-то мечтатель сказал им, что все это создает прекрасное место, куда хозяин едва ли захочет заходить, и они ему поверили. Новая мода принесла с собой новое жеманство, возможно, самое оскорбительное из всех, - жеманство простоты. Сад, такой же истинный продукт рук и мозга человека, как дом или картинная галерея, стал подражать лесу, потеряв, в слишком многих случаях, свою особую красоту, не приобретя истинного очарования дикой природы. С другой стороны, глазам почитателей Руссо открылось многое, чего они раньше не замечали. Настоящие леса получили должное поклонение. Роман Жана Жака в сочетании с призывами экономистов обратил внимание образованных классов на сельские дела.

Жизнь, которую ведет образцовая пара в "Новой Гелойзе", - это скромная, добросовестная респектабельность. Это деревенская жизнь, довольно простая и без показухи, но она максимально удалена от всего, что может быть связано с благородным дикарем. Жюли и месье де Вольмар, ее муж, управляют своим маленьким мирком строго и доброжелательно. Они стараются сделать жизнь своих детей и слуг выгодной и приятной. К бедным они относятся снисходительно и благосклонно. Если не считать их переполненной сентиментальности, они честные, самодостаточные, обычные люди. Руссо, родившийся в среднем классе, имел идеал среднего класса, респектабельный идеал, лежавший рядом со многими совершенно другими идеалами в его плохо упорядоченном мозгу. И этот роман, начинающийся со страсти, заканчивается чем-то, что не так уж далеко от ханжества.

Нет нужды обсуждать, насколько Руссо был обязан своим "Эмилем" учениям Локка, Монтеня или других авторов. Его идеи, откуда бы он их ни черпал, всегда были в достаточной степени окрашены его собственной индивидуальностью. "Эмиль", в котором еще меньше структуры вымысла, чем в "Новой Елоизе", - это трактат о воспитании, точнее, об идеальном воспитании, поскольку Руссо явно отказывается от намерения написать руководство. В

целом это самая приятная и самая полезная из работ автора, хотя и не лишенная прискорбных признаков его подлости. Книга демонстрирует внимательное наблюдение за детьми, что не может не удивлять человека, который отправлял своих младенцев в дом для подкидышей, чтобы они не беспокоили его; в ней содержатся замечания о хороших женщинах, столь же примечательные для того, кто в жизни имел дело в основном с плохими.

"Все хорошее исходит из рук Автора вещей; все деградирует в руках человека", - так начинается "Эмил". "Он заставляет одну землю питать плоды другой, одно дерево приносить плоды другого; он смешивает и путает климат, стихии, времена года; он калечит свою собаку, свою лошадь, своего раба; он все переворачивает, все уродует; он любит уродства и чудовища; он не хочет ничего такого, каким его сделала природа, даже человека, который должен быть выдрессирован для него, как управляемая лошадь, подстрижен по его моде, как дерево в его саду".

Незнание безвредно, а заблуждение губительно. Люди сбиваются с пути не из-за того, что не знают, а из-за того, что думают, будто знают. Время, которое мы тратим на изучение того, что думают другие, мы теряем на то, чтобы научиться думать самим; у нас больше информации и меньше бодрости ума.

Давайте поищем тот вид образования, который необходим для формирования энергичного и, прежде всего, независимого человека. Мы назовем нашего ученика Эмилем. Сам автор будет его воспитателем и посвятит себя исключительно воспитанию этого единственного мальчика. Отец, однако, - лучший из воспитателей, ибо усердие здесь гораздо ценнее таланта. Но кто бы ни взялся за воспитание, он должен быть всегда одним и тем же и всегда абсолютным. Если у ребенка возникнет мысль, что есть взрослые люди, у которых разума не больше, чем у детей, авторитет возраста будет утрачен, воспитание провалится.

Позиция воспитателя - одна из самых любопытных и одна из самых ошибочных в "Эмиле". Хотя во многих отношениях воспитание, описанное в книге, будет способствовать формированию мужественного и независимого мальчика, всепроникающее присутствие воспитателя, возможно, сведет на нет все положительные стороны этой системы. Правда в том, что рекомендуется говорить абсолютную правду, что "одна ложь, которую мастер, как было доказано, сказал ученику, навсегда уничтожит плоды воспитания". Однако воспитатель должен открыто или тайно вмешиваться во все сферы жизни Эмиля. "Важно, чтобы ученик ничего не делал без ведома и желания хозяина, даже того, что неправильно; и во сто крат лучше, чтобы хозяин одобрил ошибку и ошибся, чем чтобы его обманул ученик и ошибка была совершена без его ведома". Поэтому пусть воспитатель будет доверенным лицом ученика, даже, если нужно, его соратником в пороке. Нужно быть мужчиной, чтобы решительно говорить с человеческим сердцем. Воспитатель постоянно обманывает Эмиля, и некоторые из его уловок настолько прозрачны, что удивительно, как Руссо мог предположить, что самый простой мальчик попадется на них. Вот один из примеров.

Цель - показать Эмилю происхождение собственности и дать ему первое представление о ее обязанностях. "Ребенок, живущий в деревне, получит некоторое представление о полевых работах; для этого ему понадобятся только глаза и досуг, а и то и другое у него будет. Каждому возрасту, а особенно его возрасту, свойственно желание творить, подражать, производить, проявлять признаки силы и активности. Не успеет он дважды увидеть вскопанный огород, посеянные овощи, всходы и рост, как ему захочется тоже заняться садоводством.

"Исходя из ранее установленных принципов, я не противлюсь его желанию; напротив, я ему благоприятствую, я разделяю его вкус, я работаю вместе с ним, но не для его удовольствия, а

для моего; по крайней мере, он так думает; я становлюсь его младшим садовником; поскольку его руки еще не окрепли, я копаю землю за него; Он вступает во владение ею, сажая бобы; и, конечно, это владение более священно и достойно уважения, чем то, которое Нунес Бальбао получил от Южной Америки, во имя короля Испании, посадив свой штандарт на берегу Южного моря.

"Мы каждый день приходим поливать бобы, мы видим, как они прорастают, испытывая экстаз радости. Я усиливаю эту радость, говоря ему: "Это принадлежит тебе"; и объясняя ему это понятие "принадлежать", я даю ему почувствовать, что он потратил здесь свое время, свой труд, свои страдания, свою личность; что в этой земле есть что-то от него самого, на что он может претендовать перед каждым, как он может вырвать свою руку из руки человека, который попытается удержать ее вопреки ему".

"В один прекрасный день он выходит на улицу с поливочным горшком в руке. О ужасное зрелище! О горе! Все бобы вырваны, вся земля перевернута; вы не могли бы узнать это место. О, что стало с моим трудом, с моей работой, со сладким плодом моих забот и моего пота? Кто лишил меня моего имущества? Кто забрал мои бобы? Его юное сердце поднимается; первое чувство несправедливости проникает в него своей печальной горечью; слезы текут ручьями; опустошенный ребенок наполняет воздух стонами и плачем. Я разделяю его боль, его негодование; мы ищем, мы расспрашиваем, мы изучаем. Наконец мы обнаруживаем, что это сделал садовник; мы вызываем его.

"Но тут мы очень далеко зашли в своих расчетах. Садовник, узнав, на что мы жалуемся, начинает жаловаться громче нас. Что! Господа, это вы испортили мою работу! Я посеял на этом месте мальтийские дыни, семена которых достались мне как сокровище, и которые я надеялся подать вам на пир, когда они созреют; но теперь, чтобы посадить ваши жалкие бобы, вы уничтожили мои дыни, когда они уже проросли, и я никогда не смогу их заменить. Вы нанесли мне непоправимую обиду, а себя лишили удовольствия есть вкусные дыни".

"Жан Жак. Простите нас, мой бедный Роберт. Вы вложили туда свой труд и свои страдания. Я вижу, что мы были неправы, испортив ваш труд; мы принесем вам еще мальтийского семени и не будем больше копаться в земле, не зная, не приложил ли к ней кто-нибудь руку до нас.

"Роберт. Что ж, господа, при таком раскладе вы можете отдыхать, ибо дикой земли осталось очень мало. Я работаю на том, что улучшил мой отец; каждый делает то же самое сам, и вся земля, которую вы видите, давно уже занята.

"Эмиль. В таком случае, Робер, часто ли пропадают семена дыни?

"Робер. Прошу прощения, мой молодой господин; не часто встречаются маленькие джентльмены, которые так легкомысленны, как вы. Никто не трогает сад своего соседа; каждый человек уважает чужой труд, чтобы его собственный был в безопасности.

"Эмиль. Но у меня нет сада.

"Робер. Какая мне разница? Если вы испортите мой, я больше не позволю вам в нем гулять, ибо, видите ли, я не хочу терять свой труд.

"Жан Жак. Не можем ли мы договориться с нашим добрым Робером? Пусть он выделит нам с моим юным другом уголок своего сада, который мы будем возделывать, с условием, что ему будет доставаться половина урожая.

"Робер. Я предоставляю его без всяких условий. Но помни, что я пойду и выкопаю твои бобы, если ты тронешь мои дыни".

Пожалуй, неправильно считать Руссо в любой части его трудов хоть сколько-нибудь приближенным к последовательности. Мы уже видели некоторые ошибки в воспитании Эмиля. Давайте рассмотрим некоторые его сильные стороны. И все же мы обнаружим, что плевелы так тщательно перемешаны с пшеницей, что отделить их полностью, возможно, будет невозможно. Руссо настаивает на том, что с самого раннего младенчества тело ребенка должно быть свободным. Пеленание, распространенное по всему континенту в прошлом веке, в котором бедное маленькое существо связывали и укутывали так, что оно не могло пошевелить ни рукой, ни ногой, должно было быть полностью прекращено. Ребенок, по возможности выхаживаемый собственной матерью, должен был иметь свободные конечности. Он должен был воспитываться в деревне, а когда подрастет, бегать по улицам босым и без головы. Слишком много одежды, считал Руссо, делает тело нежным; и, похоже, он завел эту теорию неоправданно далеко.

Чистота и холодные ванны были рекомендованы поколению, которое в них особенно нуждалось. Эмиля воспитывали так, чтобы он наслаждался свежим воздухом и, возможно, был почти рабом потребности в нем. Он много спал, но его постель была жесткой, а пища грубой. Все делалось для того, чтобы он был сильным, выносливым и активным.

"Единственная привычка, которую следует позволить ребенку сформировать, - это привычка не формировать ничего". Он не должен пользоваться одной рукой больше, чем другой; его не следует приучать хотеть есть или спать в одни и те же часы каждый день, и он не должен бояться оставаться один. Его нужно постепенно учить не бояться масок, преодолевать страх перед огнестрельным оружием. Ему следует помогать во всем, что действительно полезно, но не поощрять потакание суетным фантазиям. Детям следует предоставлять как можно больше реальной свободы и как можно меньше власти над другими. Они должны как можно больше делать сами и как можно меньше просить других. "Единственный человек, который исполняет свою собственную волю, - это тот, кому не нужно, исполняя ее, подставлять чужие руки под конец своей собственной; отсюда следует, что первое из всех благ - это не власть, а свобода".

Желание Эмиля учиться должно быть возбуждено. Он должен увидеть причину тех шагов, которые он делает. Талант учителя заключается в том, чтобы ученик был доволен обучением. Что-то должно быть оставлено на усмотрение и размышление самого мальчика. Не стоит давать ему много читать. Пусть "Робинзон Крузо" долгое время будет его единственной книгой. Но Эмиль должен научиться ремеслу, хорошему механическому ремеслу, которое всегда нужно, в котором всегда есть работа. Он также должен научиться рисовать; не столько ради самого искусства, сколько для того, чтобы сделать свой глаз точным, а руку послушной; ведь в целом для него не так важно знать то или иное, как приобрести ясность ума и хорошую привычку тела, которые дают различные занятия.

Воспитав Эмиля до зрелого возраста, необходимо обеспечить его женой. Здесь воспитатель продолжает действовать и готовит встречу с Софи, которую Эмиль принимает за случайную. Нет необходимости лишний раз говорить о доверчивости молодого человека. Он - творение Руссо и создан так, как угодно его создателю. Нет ничего более тревожного, чем подчинить мечты такого человека, как Жан Жак, несимпатичным правилам здравого смысла. Нас интересует, как они повлияли на умы других людей, которые в той или иной степени взялись воплотить их в жизнь. Давайте остановимся на некоторых соображениях, вызванных необходимостью включить в схему воспитания такое тревожное существо, как женщина.

Руссо, как мне кажется, лучше, чем большинство тех, кто взялся рассматривать этот вопрос в реформаторском духе, понимал, в чем заключается истинное и правильное соотношение между полами. В то время как мальчики должны заниматься мужественными профессиями, требующими физической силы, он оставил бы женщинам более легкие занятия, и особенно те, что связаны с одеждой и ее материалами. Это обычная ошибка тех, кто в наше время ставит себя защитником женщины, - стремиться сделать полы не согласованными и взаимополезными, а идентичными и конкурирующими. "Это, пожалуй, одно из чудес природы, - говорит Руссо, - сделать два существа столь похожими и в то же время сформировать их столь разными"[Сноска: *Oeuvres*, v. 5 (*Émile*, liv. v.). Сравните viii. 203 (*Nouv. Hél.* Letter). "Идеальный мужчина и идеальная женщина должны походить друг на друга не больше душой, чем лицом"].

В целом Софи более привлекательна, чем Эмиль; возможно, потому, что она была воспитана матерью, а не отдана в младенчестве под бдительное наблюдение Жан-Жака. Художественные качества ума автора обязывают его сделать свою героиню более правдивой по отношению к природе, чем его теории позволяют ему сделать своего героя. И его теории относительно девочек так же хороши и так же отличаются от модной практики его времени, как и теории относительно мальчиков. Любопытно, как его идеи сочетаются с американскими обычаями. По его словам, определенное кокетство допустимо для замужних девушек; развлечение - их главное дело. Замужние женщины заняты домашними заботами, и им больше не нужно искать мужей. Руссо разрешает девушкам появляться на публике, водит их на балы, увеселения, в театр. Софи не только более живая, чем Эмиль, но и более сдержанная, чем он, который, несмотря на свое мужественное воспитание, совершенно подавлен, когда вечно ворчащий воспитатель настаивает на двух годах путешествия для своего воспитанника, чтобы молодые люди могли повзрослеть и чтобы Эмиль научился владеть своими страстями. Наступает день расставания, и Эмиль в истинном стиле XVIII века разражается криками, проливает потоки слез на руки отца Софи, ее матери, самой героини, обнимает с рыданиями всех слуг семьи и повторяет одно и то же тысячу раз с расстройством, которое, даже при зачаточном чувстве юмора Жан-Жака, было бы смехотворным при менее отчаянных обстоятельствах. Софи, напротив, тиха, бледна и печальна, без слез, нечувствительна к крикам и ласкам своего возлюбленного.

Именно в "Эмиле" Руссо наиболее подробно излагает свои религиозные взгляды, вкладывая их в уста бедного савойского викария[Сноска: Отрывок известен под названием "*Profession de Foi du Vicaire savoyard*" и находится в четвертой книге "*Эмиля*", *Oeuvres*, iv. 136-254]. Ученика держат в неведении обо всей религии до восемнадцати лет, "ибо если он узнает ее раньше, чем следует, то рискует никогда ее не узнать". Не останавливаясь на рассмотрении опасностей такого курса, посмотрим, какой ответ дает Руссо на величайшие вопросы, озадачивающие человечество. Мы можем ожидать много возвышенных чувств, некоторого морального извращения, мало логического мышления.

Римская церковь, говорит он, призывая нас верить слишком многому, может помешать нам поверить во что-либо. Мы не знаем, на чем остановиться. Но сомнения в столь важных для нас вопросах - это состояние, невыносимое для человеческого разума. Он принимает то или иное решение вопреки себе и предпочитает ошибиться, чем не верить ни во что.

Движение может зародиться только в воле. "Итак, я верю, что воля движет вселенной и одушевляет природу"... "Как воля производит физическое и телесное действие? Я не знаю, но я чувствую в себе, что она производит его. Я хочу действовать, и я действую; я хочу двигать свое тело, и мое тело двигается; но то, что неодушевленное тело в покое должно двигаться само или производить движение, непостижимо и не имеет примера"... "Если

движущаяся материя показывает мне волю, то движущаяся по определенным законам материя показывает мне разум; это моя вторая статья веры". Мы видим, что у Вселенной есть план, хотя и не понимаем, к чему он стремится. Я не могу поверить, что мертвая материя породила живые и чувствующие существа, что слепая случайность породила разумные существа, что то, что не мыслит, породило то, что мыслит. "Вечна ли материя или создана, существует ли пассивный принцип или нет, несомненно, что все едино и провозглашает единый разум; ибо я не вижу ничего, что не было бы упорядочено в той же системе и что не было бы направлено к той же цели, а именно к сохранению целого в установленном порядке. Это существо, которое желает и которое может, это существо, действующее само по себе, это существо, каким бы оно ни было, которое движет вселенной и упорядочивает все вещи, я называю Богом. Я присоединяю к этому имени идеи разума, силы и воли, которые я объединил в понятие, и идею благодати, которая является их необходимым следствием; но я не знаю лучше Существа, которому я дал это имя; Оно скрывает Себя как от моих чувств, так и от моего понимания; чем больше я думаю об этом, тем больше я запутываюсь; я знаю совершенно определенно, что Он существует и что Он существует сам по себе; я знаю, что мое существование подчинено Его существованию, и что все вещи, которые я знаю, находятся в том же самом случае. Я воспринимаю Бога повсюду в Его делах; я чувствую Его в себе, я вижу Его вокруг себя; но как только я хочу созерцать Его в Себе, как только я хочу искать, где Он, что Он, какова Его сущность, Он ускользает от меня, и мой смятенный дух больше ничего не воспринимает".

Рассмотрев атрибуты Бога, савойский викарий обращается к самому себе. Он обнаруживает, что может наблюдать за другими существами и управлять ими; отсюда он делает вывод, что все они созданы для него. Но человек отличается от всех других существ в природе тем, что он негармоничен, беспорядочен и несчастен. Человек имеет в себе два различных принципа, один из которых поднимает его к изучению вечной истины, к любви к справедливости и нравственной красоте; другой порабощает его под властью чувств и страстей, которые являются их слугами. "Нет! - восклицает викарий, - человек не един; я хочу и не хочу; я чувствую себя одновременно и порабощенным, и свободным; я вижу добро, люблю его и делаю зло; я активен, когда слушаю разум, пассивен, когда страсти увлекают меня; самая страшная моя пытка, когда я терплю поражение, - это чувствовать, что я мог бы сопротивляться".

Человек свободен в своих действиях и, следовательно, одушевлен нематериальной субстанцией. Это третий пункт веры викария. Совесть - это голос души; страсти - голос тела. Бессмертие души - приятная доктрина, и нет ничего, что могло бы ей противоречить. "Когда, освободившись от иллюзий, порождаемых телом и чувствами, мы будем наслаждаться созерцанием Высшего Существа и вечных истин, источником которых Он является, когда красота порядка поразит все силы нашей души и мы будем заняты исключительно сравнением того, что мы сделали, с тем, что должны были сделать, тогда голос совести вновь обретет свою силу и свою империю; Тогда чистое блаженство, рожденное самодовольством, и горькое сожаление о самоуничтожении будут различать неисчерпаемыми чувствами судьбу, которую каждый человек уготовил себе. Не спрашивайте меня, о мой добрый друг, будут ли другие источники счастья и несчастья; я не знаю, и того, что я представляю себе, достаточно, чтобы утешить меня в этой жизни и заставить надеяться на другую. Я не говорю, что добрые люди будут вознаграждены, ибо какая еще награда может ожидать прекрасное существо, кроме как жить в соответствии со своей природой; но я говорю, что они будут счастливы, потому что Автор их бытия, Автор всей справедливости, создав их чувствовать, не заставил их страдать; и потому что, не злоупотребляя своей свободой на земле, они не изменили своей судьбы по собственной вине; все же они страдали в этой жизни, и поэтому

им воздастся за это в другой. Это чувство основано не столько на заслугах человека, сколько на понятии добра, которое кажется мне неотделимым от божественной сущности. Я лишь предполагаю, что законы порядка соблюдаются, а Бог соответствует самому себе"[Сноска: "Не для нас, не для нас, синьор, не для вас, синьор, а для вашего имени, для вашей собственной чести, о Боже! оживи нас! Ps. 115." (примечание Руссо)].

"Не спрашивайте меня также, будут ли муки злых вечными и согласуются ли с благостью Автора их бытия осуждение их на вечные страдания; этого я тоже не знаю, и у меня нет напрасного любопытства, чтобы исследовать бесполезные вопросы. Какое мне дело до того, что станет с нечестивыми? Меня мало интересует их судьба. Тем не менее мне трудно поверить, что они обречены на бесконечные муки. Если Высшая Справедливость мстит за себя, то она мстит за себя в этой жизни. Вы и ваши ошибки, о народы, - его служители! Он использует те беды, которые вы творите, чтобы наказать преступления, которые их породили. Именно в ваших ненасытных сердцах, изъеденных завистью, скупостью и честолюбием, мстительные страсти карают ваши преступления в разгар вашего ложного процветания. Зачем искать ад в другой жизни? Он уже здесь, в сердцах нечестивых".

Откровения не нужны. Чудеса больше нуждаются в доказательствах, чем дают их. Как только народы взялись заставить Бога говорить, каждый из них заставил Его говорить по-своему. Если бы люди слушали только то, что Он говорит в их сердцах, на земле была бы только одна религия. "Я размышляю над порядком вселенной, но не для того, чтобы объяснить его с помощью суетных систем, а для того, чтобы постоянно восхищаться им, чтобы поклоняться мудрому Автору, который ощущается в нем. Я беседую с Ним, я позволяю Его божественной сущности проникнуть во все мои способности, я с нежностью вспоминаю Его блага, я благословляю Его за Его дары; но я не молюсь Ему. О чем же мне просить Его? Чтобы Он изменил ход вещей в мою пользу; чтобы Он совершил чудеса в мою пользу? Я, который больше всего на свете должен любить порядок, установленный Его мудростью и поддерживаемый Его Провидением, должен ли я желать, чтобы этот порядок был нарушен ради меня? Нет, такая опрометчивая молитва скорее заслуживает наказания, чем ответа. Я также не прошу у Него силы творить добро; зачем просить Его о том, что Он мне дал? Разве Он не дал мне совесть, чтобы любить добро; разум, чтобы знать его; свободу, чтобы выбирать его? Если я делаю зло, у меня нет оправдания; я делаю его по своей воле; просить Его изменить мою волю - значит требовать от Него того, чего Он требует от меня; это значит хотеть, чтобы Он сделал мою работу, а награду я взял себе; не довольствоваться своим состоянием - значит хотеть больше не быть человеком, значит хотеть, чтобы все было не так, как есть, значит хотеть беспорядка и зла. Источник справедливости и правды, милостивый и добрый Бог! В моем уповании на Тебя высшее желание моего сердца - чтобы исполнилась воля Твоя. Соединяясь с ней, я делаю то, что делаешь Ты, я соглашаюсь с Твоей благостью; я как бы заранее разделяю высшее счастье, которое является ее ценой".

Таково, по-видимому, было осознанное мнение Руссо по вопросу о молитве. Однако в "Новой Елоизе" он высказал совсем другую точку зрения, которая содержится в письме Жюли к Сен-Пре и вставлена главным образом, возможно, для того, чтобы дать последнему возможность ответить на нее. Однако Руссо, как мы уже не раз убеждались, хотя и не мог понять, что кто-то может искренне расходиться с ним самим, был вполне способен придерживаться противоречивых мнений. И ценность любого из его высказываний не сильно уменьшается от того, что оно опровергается в следующей главе. "У вас есть религия, - говорит Жюли,[Сноска: "Новая Элоиза", часть vi. Let. vi. (*Oeuvres*, x. 261)] - но я боюсь, что вы не получаете от нее всех преимуществ, которые она дает в ведении жизни, и что философская гордость может презреть простоту христианина. Я видел, что вы придерживаетесь мнений о молитве,

которые мне не по вкусу. По вашим словам, этот акт смирения для нас бесплоден, и Бог, дав нам в совесть все, что может привести нас к добру, после этого оставляет нас на произвол судьбы и предоставляет нам свободу действий. Это, как вы знаете, не учение святого Павла и не то, что исповедуется в нашей церкви. Мы свободны, это правда, но мы невежественны, слабы, склонны к злу. Откуда же должны приходиться к нам свет и сила, если не от Того, Кто является их источником? И почему мы должны получать их, если не имеем права просить о них? Остерегайтесь, друг мой, чтобы к вашим возвышенным представлениям о Великом Существое человеческая гордыня не присоединила низкие идеи, принадлежащие только людям; как будто средства, облегчающие нашу слабость, подходят для Божественной Силы, и как будто, подобно нам, Она требует искусства обобщать вещи, чтобы легче относиться к ним! Вам кажется, что эта сила будет стеснена, если будет следить за каждым человеком; вы боитесь, что разделенное и постоянное внимание может утомить ее, и считаете, что гораздо лучше, чтобы она все делала по общим законам, несомненно, потому, что они стоят ей меньше забот. О великие философы! Как же Бог обязан вам за ваши легкие методы и за то, что вы избавили Его от труда!"

О теизме Руссо было сказано достаточно, чтобы показать его значительное отличие от теизма Вольтера и его последователей. Его отношение к ним не отличается от отношения Сократа к софистам. Действительно, Жан Жак, кем бы он ни был вдохновлен, является скорее пророком, чем философом. Он говорит с авторитетом, который, как ему кажется, выше аргументов. В противовес Локку и всей его школе он осмеливается верить во врожденные идеи, хотя и называет их ощущениями.[Сноска: "Когда, впервые занятые объектом, мы думаем о себе только путем размышления, это идея; с другой стороны, когда полученное впечатление возбуждает наше первое внимание и мы думаем только путем размышления о предмете, который его вызывает, это ощущение". *Oeuvres*, iv. 195 n. (*Émile*, liv. iv.)]. Эти врожденные идеи - любовь к себе, страх перед болью, ужас перед смертью, стремление к благополучию. Совесть вполне может быть одной из них.

"Сын мой, - восклицает савойский куратор, - держи свою душу в состоянии постоянного желания, чтобы Бог существовал, и ты никогда не будешь в этом сомневаться. Кроме того, какой бы курс ты ни выбрал, считай, что истинные обязанности религии не зависят от установлений людей; что праведное сердце - истинный храм Божества; что во всех странах и во всех сектах любить Бога превышает всего и ближнего, как самого себя, - это сумма закона; что ни одна религия не обходится без моральных обязанностей; что это единственные обязанности, действительно необходимые; что внутреннее поклонение - первая из этих обязанностей, и что без веры не существует истинной добродетели.

"Бегите от тех, кто под видом объяснения природы сеет в сердцах людей опустошающие доктрины и чей кажущийся скептицизм во сто крат более утвердителен и более догматичен, чем решительный тон их противников".

В то время, когда был написан "Эмил", Жан Жак лично рассорился с большинством своих старых единомышленников по философской школе. Дидро, д'Аламбер, Гримм и их учитель, Вольтер, - у Руссо были реальные или надуманные претензии к ним всем. Но разница между ним и ними была внутренней, а не случайной. По своей природе и воспитанию они принадлежали к довольно тонкому рационализму восемнадцатого века; рационализму, который так стремился не верить ничему, не полученному с помощью органов чувств, что предпочитал оставлять половину явлений жизни не только неучтенными, но и нерассмотренными, потому что объяснить их своими методами было трудно, а то и

невозможно. Руссо, по крайней мере, рассматривал всю человеческую природу, ее привязанности, стремления и страсти, а также ее наблюдения и размышления, и в этом заключался секрет его влияния на людей.

## ГЛАВА XX.

### ПАМПЛЕТЫ.

Правление Людовика XVI было временем больших и быстрых перемен. Старый порядок уходил в прошлое, а Революция происходила как в нравах, так и в законах за пятнадцать лет до собрания Генеральных штатов. В предыдущие царствования богатые представители среднего класса приблизились к социальному равенству с дворянами, а сыновья знатных семей соглашались поправить свое пошатнувшееся состояние, женившись на дочерях финансистов; они называли это "окультуриванием своей земли".

Далее на место в социальной шкале претендовала новая группа лиц. За литераторами ухаживали даже придворные. Доктрины философов прочно вошли в общественное сознание. На дворянство и средний класс, а также на бедняков, которые умели читать и думать, Вольтер и энциклопедисты произвели глубокое впечатление. На всех людей они повлияли по-разному. Некоторые были слепыми последователями этих лидеров, стремясь довести доктрины школы до последних возможных результатов, партизанами Гельвеция и Гольбаха. Это были самые логичные. Наряду с ними появились сентименталисты, поклонники Руссо. Они были ничуть не менее догматичны, чем остальные, но их догматизм принимал более причудливые и менее последовательные формы. Они верили в свои идеальные республики или общественные договоры с религиозной верой. Некоторые из них были готовы преследовать других и умирать сами за свои химеры, и впоследствии доказали это. А в умах некоторых людей учения Гольбаха и Руссо были в большей или меньшей степени смешаны и сосуществовали с томительной верой в церковь и ее доктрины. Люди по-прежнему ходили к мессе по привычке, по воспитанию, из тревожного чувства, что это хорошо; сомневаясь вместе с Вольтером, мечтая вместе с Руссо, гадая о грядущем, веря в скорое улучшение мира, не имея определенного представления о том, как это улучшение должно произойти, но смутно доверяя просвещению века, которое считалось само собой разумеющимся.

Правление последнего абсолютного короля Франции было временем надежд и веры в совершенствование человека. Один за другим выдвигались интриганы со своими планами возрождения общества. Были экономисты, готовые поклясться, что мир, и особенно Франция, разбогатеет, если будет принята свободная торговля и снижены налоги - правда, они не могли договориться, как именно. Были реформаторы армии, горящие желанием ввести прусскую дисциплину; если бы только можно было примирить удары и добрые чувства. Были люди, призывавшие к равенству и к управлению государством самими просвещенными; они совершенно не понимали, что их требования несовместимы. Были филантропы, возможно, самые искренние из всех реформаторов, работавшие в больницах и тюрьмах и в немалой степени уменьшавшие количество страданий во Франции.[Сноска: Среди других примеров этого духа надежды обратите внимание на те тома *"Медицинской энциклопедии"*, которые были опубликованы еще в 1789 году. Они в значительной степени посвящены рассказам о том, как все должно быть. См. также переписку Лафайета, который был основательно пропитан духом этого времени. Чувство надежды было не единственным, было и уныние. Но мы должны быть осторожны и не обманываться тоном многих людей, писавших много позже, когда они уже пережили шок Великой революции. При изучении этого периода, возможно, больше, чем при изучении любого другого, важно проводить

различие между свидетельствами современников и свидетельствами современников, данными впоследствии].

Эти изменения в сознании людей начали приносить свои плоды в действии. Уже упоминались попытки реформ Турго, Неккера, нотаблей, отмена *кортесов*, монополий в торговле, судебных пыток, создание провинциальных собраний, гражданские права, предоставленные протестантам. Все это делалось слабо и непоследовательно из-за характера короля, которого придворные тянули в одну сторону, а совесть - в другую, и он не удовлетворял ни тех, ни других.

Человек всегда должен искать стандарт добра и зла вне себя. У него должно быть что-то, с чем он мог бы сравнить веления собственной совести, какой-то хронометр, по которому он мог бы сверять свои часы. В условиях упадка религиозных идей французы XVIII века установили стандарт сравнения, не зависящий от откровения. Они нашли его в общественном мнении. Общительное население Парижа было готово принять общий голос в качестве арбитра. Оно всегда было влиятельным во Франции, где сильна тяга к сочувствию. В памфлете, опубликованном в 1730 году, говорится, что если епископат впадает в ошибку, он должен быть "наставлен, исправлен, даже осужден народом". "Алебарда ведет за собой королевство", - кричал один придворный экономисту Кесне. "А кто ведет алебарду?" - ответил тот. "Общественное мнение". "Бывают обстоятельства, - говорят маститые и консервативные юристы парламента, - когда судьи могут рассматривать потерю благосклонности суда как честь. Это происходит, когда их утешает общественное мнение". Сам бедный Людовик, заразившись лихорадкой жажды популярности, предлагает "возвести результаты общественного мнения в ранг законов, после того как они будут подвергнуты зрелому и глубокому изучению"[Сноска: *Rocquain*, 54. Lavergne, *Économistes*, 103. Chérest, i. 454 (1 мая 1788 г.)]. Постоянно апеллируют от старомодных предрассудков к новому представлению, которое считается общепринятым, как будто одно доказывает больше, чем другое. Из этого поклонения общественному мнению проистекают крайнее раздражение при критике и трусливый страх перед насмешками; сам Вольтер просил *lettres de cachet* против литературного оппонента. Редко, правда, можно встретить человека, готового сказать: "Это правильно; так должны думать люди; а если человечество думает иначе, то оно заблуждается". Подобный тон звучит в основном из уст этого исключения добра и зла, Жан Жака Руссо.

Это зависимое состояние ума далеко от добродетели. Но человеческая природа зачастую лучше, чем она сама себя представляет. И Кесне, и магистраты на самом деле имели более высокие стандарты добра и зла, чем среднее чувство толпы. Каждая секта и каждая партия в определенной степени формирует свое собственное общественное мнение, и согласие, которого мы добиваемся, - это, прежде всего, согласие тех людей, чьи идеи мы уважаем. Мыслители XVIII века, апеллируя к общественному мнению, были вполне готовы отказаться от верности ему, когда оно принимало решение не в их пользу.

И все же французы заплатили за то, что установили ложного бога. Согласившись поклоняться общественному мнению, не задав себе определенного вопроса о том, кто является общественностью, они впадали в частые и роковые ошибки. Толпа часто претендовала на место на пьедестале мнения, и ее притязания были разрешены. Буйное парижское население, требующее то дешевого хлеба, то возвращения парламента из изгнания, то крови мужчин и женщин, которых оно считало своими врагами, принималось за голос французской нации, который суеверно считался голосом Бога.

Жители больших городов любят, когда их развлекают. Жители Парижа, будучи сообразительнее большинства смертных, очень заботятся о том, чтобы что-то происходило. Они ненавидят скуку и любят остроумие. В странах, где свобода слова и печати, остроумное высказывание или умная книга редко становятся большим событием. Но при Людовике XVI, как уже говорилось, никогда нельзя было точно сказать, что получится из того или иного абзаца. Государственный министр мог выйти из себя.

Писателю, возможно, придется провести несколько недель в Голландии или даже в Бастилии. Это было не так уж много, чтобы страдать ради известности, но это придавало шарм неопределенности. В высказывании "сильных вещей" было достаточно опасности, чтобы сделать их привлекательными, а их высказывание - популярным. В условиях свободной прессы люди, чье мнение либо ценно, либо опасно, очень устают от "сильных вещей" и предпочитают меньше специй в своих интеллектуальных блюдах.

Самое знаменитое сатирическое произведение царствования - это и самое замечательное его литературное произведение. Бомарше "Свадьба Фигаро" приобрела значение, помимо достоинств комедии, как благодаря своей политической истории, так и благодаря удаче, выпавшей на долю бессмертной музыки. Сюжет беден и запутан, но диалоги неизменно искрометны, а два персонажа будут жить как типичные. В Керубине мы имеем беспутного юношу, чьи пороки еще не успели превратиться в уродство, наиболее известного английским читателям под именем Дон Жуана, но более свежего и бесхитростного, чем байроновский молодой грабитель. Фигаро, герой пьесы, - это комический слуга, знакомый сцене со времен Плавта, дерзкий, смелый, правдоподобный; его может перехитрить, если вообще перехитрит, его собственная беспринципность. Но он также и авантюрист последнего века французской монархии, полный либеральных идей и готовый высказать свое мнение обо всем, что касается общества или политики; Скапен, почистивший одежду Вольтера. Он - потрепанный младший брат самого Бомарше, безмерно умный и не лишенный добрых чувств, плут, которого можно полюбить. "Интриги и деньги; вы в своей стихии!" - кричит Сюзанна Фигаро в первом акте. "Сто раз я видел, как вы идете к счастью, но никогда не идете прямо", - говорит ему граф в третьем акте. Мы смеемся, когда удары, предназначенные для других, громко бьют по его щекам; но мы не обижаемся ни на его деньги, ни на его красивую жену.

Именно через этого персонажа Бомарше рассказывает дворянам, двору и правительству Франции о том, что говорят о них на улице. Он с горькой издевкой отвечает на наглость, которую он сам, умный, амбициозный человек из среднего класса, получил в своей долгой борьбе за известность и богатство от людей, чьи личные претензии на уважение были не лучше его собственных. "Что вы сделали, чтобы иметь столько богатства?" - восклицает Фигаро в своем солилолке, апострофируя графу, который пытается увести у него любовницу, - "Вы взяли на себя труд родиться, не более того!" "Меня прочили на какую-то должность, - снова говорит он, - но, к сожалению, я для нее не подходил. Нужен был бухгалтер, и танцовщица его получила". И в другом месте: "Я родился, чтобы быть придворным; принимать, брать и просить - вот весь секрет в трех словах".

Что касается ограничений свободы прессы: "Мне говорят, - пишет Фигаро, - что если я в своих статьях не буду упоминать ни правительство, ни общественное богослужение, ни политику, ни мораль, ни людей, занимающих должности, ни влиятельные корпорации, ни Оперу, ни другие театры, ни всех, кто к чему-либо принадлежит, то я могу печатать все свободно, с одобрения двух или трех цензоров". "Как бы мне хотелось заполучить одного из тех людей, которые на несколько дней обретают власть и так легко отдают злые приказы, после того как благосклонность отрезвила его от гордыни! Я бы сказал ему, что глупости в

печати важны только там, где им мешают распространяться; что без свободы порицания никакая похвала не будет лестна и что никто, кроме маленьких людей, не боится маленьких сочинений".

"Женитьба Фигаро" была принята великим парижским театром "Комеди Франсез" в конце 1781 года. Остроумие самой пьесы и известность автора делали ее успех почти неизбежным. Разумеется, для постановки пьесы на сцене требовалось разрешение цензора, но первый цензор, которому было представлено произведение, заявил, что с небольшими изменениями оно может быть дано. Пьеса уже привлекала большое внимание. В качестве рекламы Бомарше читал ее вслух в нескольких известных домах. О ней говорили в городе и при дворе. Дворяне были очарованы. То, что над ней так остроумно смеялись, было новой сенсацией. Старый Морепас, премьер-министр, услышал пьесу и рассказал о ней своему царственному господину. Любопытство короля было возбуждено. Он послал за экземпляром, а официантке королевы, мадам Кампан, было приказано явиться в апартаменты Ее Величества в три часа дня, но не забудьте сначала пообедать, так как ей придется задержаться надолго.

В назначенный час мадам Кампан не обнаружила в покоях никого, кроме короля и королевы. На столе лежала большая стопка рукописей, испещренных исправлениями. Пока мадам Кампан читала, король часто прерывал ее. Одни отрывки он хвалил, другие порицал как дурной вкус. Наконец, ближе к концу пьесы, наступило время длинного солилоkvита, в котором Фигаро собрал свои самые горькие жалобы. В начале сцены дается описание произвольного заключения, которое было столь распространено в те времена. "Возникает вопрос о природе богатства, - говорит Фигаро, - и поскольку для того, чтобы говорить о нем, не нужно иметь вещь, я, не имеющий ни гроша, пишу о ценности денег и их чистом продукте". Вскоре, сидя в кабине, я вижу, как для меня опускают мост тюрьмы, и, входя туда, оставляю за собой и надежду, и свободу". Услышав эту тираду, король Людовик XVI вскочил со своего кресла и воскликнул: "Это отвратительно; это никогда не будет сыграно! Чтобы не допустить постановки этой пьесы, опасной своей непоследовательностью, нам придется разрушить Бастилию. Этот человек высмеивает все, что должно быть уважаемо в правительстве".

"Значит, ее не будут играть?" - спросила королева.

"Конечно, нет!" - ответил Людовик; "Вы можете быть в этом уверены".

В течение двух лет между королем Франции и автором драмы продолжался спор о том, будет ли поставлена "Женитьба Фигаро" или нет. На стороне короля была абсолютная власть запретить постановку или выдвинуть любые условия, но он был почти одинок в своем мнении, а Людовик XVI никогда не мог долго оставаться в одиночестве. В качестве помощников у автора были некоторые принцы, большинство дворян, двор и город. Любопытство публики было возбуждено, и никто лучше Бомарше не знал, как его разбудить. Он продолжал читать пьесу на частных вечеринках, но для того, чтобы побудить его к этому, требовалось столько мольбы, что эта услуга так и не стала дешевой. Те, кто слышал пьесу, громко восхваляли ее, а менее благосклонные люди говорили о тирании и угнетении, потому что им не позволяли видеть, как они сами и их соседи восхищенно смеются над Фигаро. Бедный Людовик сопротивлялся уговорам окружающих с упорством, которое он редко проявлял в более важных делах. Наконец его решимость ослабла, и было получено разрешение сыграть пьесу на частном приеме у графа Водрейля. После этого публичное исполнение стало лишь вопросом времени и устранения неприятных пассажиров. 27 апреля 1784 года парижские зрители с раннего утра толпились у дверей "Комеди Франсез"; три

человека были задавлены насмерть; знатные дамы обедали в театре, чтобы сохранить свои места. В половине пятого поднялся занавес. Успех был беспредельным, несмотря на жестокую критику, которая не пощадила ни пьесу, ни автора[Сноска: Camran, i. 277. Ломени, *Бомарше*, ii. 293. Гримм, xiii. 517. La Harpe, *Corresp. litt.* iv. 227].

Поскольку парижане любили жестокие высказывания, им также нравилась оппозиция правительству, какую бы форму она ни принимала. Парламент, как мы видели, хотя и боролся за привилегии и против мер, полезных для большинства жителей страны, все же был популярен, поскольку постоянно бросал вызов двору. Но многие привилегированные лица пошли дальше, чем консервативные юристы города. Именно такие люди и выступили с провозглашением равенства и обличением придворных. От дворянства и богатых горожан Парижа недовольство существующими условиями и привычка противостоять официальным властям распространились на низшие классы и жителей провинциальных городов.

Людовик XVI недолго оставался на троне, когда в отдаленной части света произошел ряд событий, которые в высшей степени возбудили во французских умах как дух неповиновения, так и любовь к равенству. Американские колонии Великобритании подняли открытый бунт и вскоре объявили о своей независимости от материнской страны. Сочувствие французов было почти всеобщим и громко выражалось. Перед нами была нация фермеров, составляющих маленькие общины, от которых Руссо, возможно, не отказался бы, по крайней мере, если бы смотрел на них не ближе, чем через океан. Они встали на защиту своих прав и свобод и восстали против произвола власти. А угнетателем был король Англии, монарх той нации, которая всего за несколько лет до этого нанесла Франции унижающее поражение. Многие, что было великодушного во французском характере, и многое, что было сентиментального, любовь к свободе, восхищение равенством, ненависть к наследственному врагу, сговорились в пользу дела "инсургентов". Люди, желающие политических реформ, могли обратиться к образцовым государствам Нового Света. Их конституции были переведены на французский язык, и в Париже было продано несколько изданий[Сноска: *Recueil des loix constitutives. Constitutions des treize États Unis de l'Amérique*. Франклин - Сэмюэлю Куперу, 1 мая 1777 года. *Works* vi. 96.]. Люди, обожавшие короля Людовика, могли кричать о том, что нужно унижить короля Георга. Несколько благоразумных голов в высшем свете содрогнулись при мысли о помощи восстанию. Император Иосиф II, шурин короля Франции, был не единственным человеком, чьим делом было быть роялистом. Министры могли бы отказать в войне по экономическим соображениям и посоветовать оказать американцам достаточную помощь, чтобы продлить их борьбу с Англией до тех пор, пока обе стороны не будут истощены. Но в войну вступило сердце французской нации. Именно ради своей страны граф Верженн, министр иностранных дел Людовика XVI, побудил ее взяться за оружие против Великобритании, а в переговорах о мире он охотно пожертвовал бы интересами своей Америки ради интересов своих испанских союзников; однако участие Франции было почти неизбежным результатом симпатии и энтузиазма французской нации. Никогда еще война, не связанная с обороной, не была более полностью национальной по своему характеру. Французы сражались в Виргинии, потому что они любили американские идеи и ненавидели врага Америки". [Сноска: Розенталь, *Америка и Франция*, отличная монография].

Таким образом, Франция, оставаясь абсолютной монархией, вступила в войну в защиту политических прав. Такие действия не могли не привести к результатам. Писателям более позднего времени, принадлежащим к монархической партии, не понравились результаты и они обвинили французские высшие классы в том, что они ввязались в войну. Но именно потому, что дворяне уже были склонны к революционным идеям в политике, они и приняли

участие в войне. Бедного Людовика потащили за собой, слабо протестуя. Он не был радикалом, и для него перемены не могли означать ничего, кроме вреда; если это вред - быть лишенным власти, превышающей твои силы, и ответственности, превышающей твои моральные возможности. Война, в свою очередь, подпитывала господствующие страсти. Молодые французы, которые сначала стали воинственными из-за своей авантюристичности и пылкости, приняли крики "свобода" и "равенство" как девизы борьбы, в которую они вступили, а затем заинтересовались изучением принципов, которые они так громко провозглашали. Вольтер, Руссо, д'Алембер, даже Монтескье стали читаться более широко, чем когда-либо. Офицеры, вернувшиеся после взятия Йорктауна, были окрылены успехом и готовы восхвалять все увиденное. Они рассказывали о простоте республиканских нравов, об уважении, проявляемом к добродетельным женщинам. Даже Лазун забыл о разврате, говоря о дамах Ньюпорта. Столь необычное состояние умов не могло продолжаться долго. После заключения мира с Англией наступила реакция. Англомания стала господствующей модой. Перемены были скорее кажущимися, чем реальными. Лондон был ближе, чем Филадельфия, и его было легче посетить. Политическая свобода существовала и там, если и не в столь совершенной форме, то в той, которая вполне соответствовала вкусам модных молодых людей. Разве Монтескье не рассматривал Англию как образец государства?[Сноска: Ségur, i. 87. Французские офицеры, участвовавшие в революционной войне, часто выражают недовольство американцами, но их голоса, похоже, утонули во Франции в хоре восхвалений. См. письма Кальба к Брольи в MSS Стивенса, vii., и письма Моруа к Брольи, там же, № 838. Внешняя политика царствования Людовика XVI прекрасно рассмотрена Альбером Сорелем в *"L'Europe et la Révolution française"*, i. 297].

Таким образом, английские политические идеи были восприняты с большей или меньшей точностью и сопровождались английской модой: лошади и скачки, короткие стрелы, простая одежда, льняные платья, хлеб и масло. Клубы также являются английским изобретением. Первый в Париже был открыт в 1782 году. Герцог Шартрский недавно вырубил деревья в своем саду, чтобы построить портики и магазины Пале-Рояля. Люди, имевшие привычку отдыхать под деревьями, были лишены такой возможности. Один спекулянт открыл для них читальню и снабжал их газетами, брошюрами и актуальной литературой. Герцог сам поддержал это предприятие и преодолел сопротивление, которое полиция, естественно, оказывала любому новому проекту. Читальный зал, который, судя по всему, имел постоянный список подписчиков, назывался Политическим клубом. Несмотря на название, правила полиции запрещали вести в его стенах разговоры на темы религии и политики, но такие правила редко соблюдались в Париже. Вскоре были основаны и другие клубы, одни большие и открытые, другие маленькие и частные. Некоторые из них носили название литературных, научных или благотворительных ассоциаций. Некоторые, похоже, были тайными обществами с клятвами и обещаниями. Привычка обсуждать государственные вопросы распространялась все больше и больше.[Сноска: Chérest, ii. 101. Droz, i. 326. См. в Brissot ii. 415, рассказ о клубе для обсуждения политических вопросов под предлогом изучения животного магнетизма. Лафайет, д'Эспремений и другие были его членами. Их идеи были достаточно расплывчаты. Бриссо выступал за республику, д'Эспремений - за передачу власти парламенту, Бергассе - за новую форму правления, в которой он должен был стать Ликуром. Morellet, i. 346. Lameth, i. 34 n. Sainte-Beuve, x. 104 (Sénac de Meilhan)].

Именно в преддверии заседания Генеральных штатов привычка к политическому чтению приобрела наибольшее значение. Во второй половине 1788 года и в первые месяцы 1789 года на Париж обрушился такой шквал памфлетов, какого мир еще не видел и вряд ли когда-нибудь увидит снова. Газет в то время было мало, и они полностью находились под контролем правительства, но в головах французов кипели идеи. Тщетно администрация и

суды предпринимали слабые попытки ограничить деятельность прессы. Все - от принцев королевской крови (выпустивших реакционный манифест) до самых безвестных писателей, надеявшихся на минутную известность, - рвались в печать. Лавки книготорговцев были переполнены с утра до ночи. Цена на печать была удвоена. Говорят, что один коллекционер собрал двадцать пять сотен различных политических памфлетов в последние месяцы 1788 года и остановился в отчаянии от невозможности завершить свою коллекцию[Сноска: Droz, ii. 93. "Сегодня вышло тринадцать, вчера - шестнадцать, а на прошлой неделе - девяносто две". A. Young, i. 118 (9 июня 1789 г.). Chérest, ii. 248 и т. д.].

В большинстве политических кризисов существует только один великий вопрос времени; но во Франции в это время все вопросы государственного управления и общественной жизни были под вопросом; и каждый человек верил, что он может решить их все путем легкого и быстрого применения чистого разума, если только все остальные люди отбросят свои предрассудки. Не обошлось и без специальной темы. Вопрос, который громче всего требовал ответа, касался представительства. Должна ли быть одна палата в Генеральном собрании, в которой общинники должны иметь число голосов, равное числу голосов двух других орденов вместе взятых, или же должно быть три палаты? Этот вопрос (который более подробно рассматривается в следующей главе) и общая политическая конституция занимали главное внимание памфлетистов, но не были забыты и реформа права, и феодальные злоупотребления.

Памфлеты приходили со всех сторон и носили всевозможные названия. "Отдельные мысли"; "Сорок желаний нации"; "То, что, несомненно, было забыто"; "Рассуждения о Генеральных штатах"; "Письмо бургундского джентльмена бретонскому джентльмену о нападении на третье сословие, разделении дворянства и интересах мужей"; "Письмо крестьянина"; "План брачного союза между месье Третьим сословием и госпожой дворянкой"; "Когда петух воркует, берегись старых кур"; "Ультиматум гражданина Третьего сословия на мемуары принцев"; "Те Деум Третьего сословия, как он будет исполнен на первой мессе Генеральных штатов, с исповедью дворянства", "Символ веры Третьего сословия". "Магнификат Третьего сословия" и "Реквием Генеральных фермеров".

Памфлеты, как правило, анонимны, что вызвано томительным страхом перед полицией. Место печати редко упоминается; по крайней мере, лишь на немногих памфлетах оно подлинное. В тех случаях, когда оно встречается, оттиск ставится в Лондоне, Испохане или Конкордополисе. Одно юмористическое и явно клеветническое издание "продается на островах Святой Маргариты и распространяется безвозмездно в Париже". Памфлет под названием "Диоген и Генеральные штаты" "продается Диогеном в его Тубе".

Несмотря на строгие приказы, запрещающие печатные нападки на правительство, несмотря на спазматическую активность полиции, смелость некоторых памфлетов поражает. Один из них, например, начинается следующим образом: "Жил-был, не знаю где, король, рожденный с праведным духом и сердцем, любящим справедливость, но дурное воспитание оставило его хорошие качества некультурными и бесполезными". Затем короля обвиняют в том, что он слишком много ест и охотится, а также сквернословит. А когда мы переходим от личных тем к политическим, безрассудству памфлетистов почти нет предела. Не самая здравомыслящая и рассудительная часть нации стала наиболее заметна своими писаниями в это время и в этой манере. Памфлеты заметно менее консервативны, чем *кайе*, которые также выходили весной 1789 года.

Однако писатели-подрывники не оставались в одиночестве. Дворяне и магистраты взялись за перо, чтобы защитить старые институты. Умеренные люди пытались выступить в защиту

мира и доброй воли. Но, увы, старая конституция оказалась мечтой. Франция была деспотией с цивилизованными традициями и несколькими обычаями, имевшими почти силу основных законов, и ее народ хотел либерального правительства. В отношении формы этого правительства они не были полностью согласны; хотя они и не были настолько подрывными, как того хотели многие памфлетисты или как их последующая история заставляет нас считать. Но долгое время не появлялось лидера, достаточно сильного для того, чтобы управлять фракциями и поддерживать мир.

Из всей массы политической литературы, увидевшей свет в 1788 и 1789 годах, обычно вспоминают только три строки. Они находятся на первой странице памфлета знаменитого аббата Сейеса. Из многих людей, которые в наше время задавались вопросом, как произносить его имя, все знают, что он задавал и отвечал на следующие вопросы:

"(1.) Что такое Третье сословие? Все.

"(2.) Чем оно было до сих пор в политическом устройстве? Ничем.

"(3.) Чего оно просит? Стать чем-то".

Мало кто продолжил его исследования. Однако в свое время его памфлет вызвал большой интерес и восхищение. Это красноречивая и хорошо написанная статья, столь же сильная в риторике, сколь и слабая в государственном управлении.

В сельском хозяйстве, производстве и торговле, а также в тех видах услуг, которые непосредственно полезны и приятны для людей и включают в себя самые выдающиеся научные и литературные профессии и самую низкую службу, коммуны, по мнению Сейеса, делают всю работу. В армии, церкви, юриспруденции и управлении государством они составляют девятнадцать двадцатых от общего числа занятых, и они же выполняют все, что действительно обременительно. Только прибыльные и почетные места занимают представители дворянства. Эти верхние места были бы бесконечно лучше заполнены, если бы они были вознаграждением за таланты и заслуги, признанные в низших сословиях. Третье сословие вполне способно сделать все, что необходимо. Если бы привилегированные сословия были отняты, нация стала бы не чем-то меньшим, чем она есть, а чем-то большим.

"Что такое нация?" - спрашивает Сейес; и отвечает, что это "совокупность единомышленников, живущих вместе по общему закону и представленных одним и тем же законодательным органом". Но у дворянского сословия есть привилегии, льготы, права, отличные от прав основной массы граждан. Он находится вне общего порядка и общего закона. Это государство в государстве.

Третье сословие, таким образом, включает в себя все, что принадлежит нации; и все, что не является частью общества, не может считаться частью нации. Что же такое Третье сословие? Все.

Чем было Третье сословие до сих пор? Ничем. Верно, что во Франции вы никто, если у вас есть только защита общего права. Не имея той или иной привилегии, вы должны решиться терпеть презрение, насмешки и всевозможные досады. Несчастный человек, не имеющий собственных привилегий, может лишь привязаться к какому-нибудь великому человеку, совершая всевозможные подлости, и таким образом получить возможность при случае потребовать *чьей-то* помощи.

Чего же просит Третье сословие? Стать кем-то в государстве. А на самом деле народ просит совсем немногого. Ему нужны настоящие представители в сословиях, взятые из его

собственного строя, способные истолковывать его желания и защищать его интересы. Но что он получит, участвуя в Генеральных штатах, если там не будет преобладать его собственная сторона? Поэтому она должна иметь влияние, по крайней мере равное влиянию привилегированных орденов; у нее должна быть половина представителей. Это равенство было бы иллюзорным, если бы палаты голосовали раздельно; поэтому голосование должно быть по головам. Может ли Третье сословие требовать меньшего? И разве не ясно, что если его влияние меньше, чем влияние всех привилегированных орденов вместе взятых, то нет никакой надежды на то, что оно выйдет из политического ничтожества и станет кем-то?

Далее Сийес утверждает, что Третье сословие должно иметь возможность выбирать своих представителей только из своего собственного тела. Он убедил себя, путем, кажется, мысленного жонглирования, что люди одного порядка не могут быть по-настоящему представлены людьми другого. Предположим, говорит он, что Франция находится в состоянии войны с Англией и что военные действия с нашей стороны ведет Директория, состоящая из национальных представителей. В таком случае, спрашиваю я, будет ли позволено какой-либо провинции, во имя свободы, выбрать своими делегатами в Директорию членов английского министерства? Конечно, привилегированные классы проявляют себя не менее враждебно по отношению к общему строю людей, чем англичане по отношению к французам во время войны".

Сийес ставит еще три вопроса.

(4.) Что пытались сделать министры и что предлагают привилегированные классы в пользу Третьего сословия?

(5.) Что следовало бы сделать?

(6.) Что еще предстоит сделать?

Под четвертой главой Сийес рассматривает недавно созданные провинциальные собрания и собрание нотаблей, которые он считает совершенно неспособными принести пользу, поскольку они состоят из привилегированных лиц. Он презирует предложение дворянства платить справедливую долю налогов, не желая принимать в качестве одолжения то, что он хочет принять как право. Он опасается, что общины будут довольствоваться слишком малым и не сметут все привилегии. Он нападает на английскую конституцию, которую либеральные дворяне Франции имели обыкновение ставить в качестве образца, говоря, что она хороша не сама по себе, а лишь как огромная система подпорок и приспособлений против беспорядка. Право на суд присяжных он считает ее лучшей чертой.

Затем он переходит к вопросу: Что следовало бы сделать? И здесь он дает нам основу своей системы. Не называя Руссо, он принял Общественный договор в качестве основы правительства. Нация состоит из отдельных людей; они объединяются в сообщество; для удобства они назначают людей, которые представляют их и осуществляют общую власть. [Сноска: Нет нужды указывать на то, что Сийес не в полной мере соответствует доктрине Руссо, когда допускает делегирование полномочий по законотворчеству, или, правильнее сказать, по созданию конституции, вообще]. Конституция государства - это свод правил, которыми руководствуются эти представители, когда они принимают законы или управляют государственными делами. Конституция является основополагающей, но не как обязывающая национальную волю, а только как обязывающая органы, существующие внутри государства. Сама нация свободна от всех подобных уз. Никакая конституция не может управлять ею. Ее воля не может быть ограничена. Нация, собравшаяся для рассмотрения своей конституции, не контролируется обычными формами. Ее делегаты,

собравшиеся для этой особой цели, не зависят от конституции. Они представляют национальную волю, и вопросы решаются ими не в соответствии с конституционными законами, а так, как они могли бы решаться на собрании всей нации, если бы она была достаточно мала, чтобы быть собранной в одном месте; то есть голосованием большинства.[Сноска: Сиейс и его хозяин не видят, что если единодушие не может быть обеспечено и если конституционное право однажды будет отменено, люди будут сведены в соответствии с их системой к состоянию природы, и воля большинства не будет иметь никакой обязательной силы, кроме воли сильной руки].

Но где же найти нацию? Там, где она есть: в сорока тысячах приходов, которые составляют всю территорию и всех жителей страны. Их следовало бы объединить в группы по двадцать-тридцать приходов, образовав таким образом представительные округа, которые должны были бы объединиться в провинции и направить в них настоящих делегатов, наделенных особыми полномочиями по определению конституции Генеральных штатов.

Этого правильного курса не последовало, но что теперь остается делать? Пусть общинники соберутся отдельно от других орденов. Пусть они объединятся с дворянством и духовенством ни по приказу, как часть законодательного органа из трех палат, ни по головам, в одном общем собрании. Здесь возможны два пути. Либо пусть они обратятся к нации с просьбой о расширении полномочий, что было бы самым откровенным и великодушным способом; либо пусть они только подумают о той огромной разнице, которая существует между собранием Третьего сословия и собранием двух других орденов. "Первое представляет двадцать пять миллионов человек и обсуждает интересы нации. Два других, если бы они объединились, получили свои полномочия только от двухсот тысяч человек и думают только о своих привилегиях. Одно лишь Третье сословие, скажете вы, не может сформировать Генеральное собрание. Тем лучше! Из него получится *Национальное собрание*".

Я подробно рассмотрел этот знаменитый памфлет, потому что он был очень своевременным, выражая, как и прежде, доктрины и чаяния подрывной партии во Франции. Я считаю, опираясь главным образом на свидетельства газет, что эта партия не составляла большинства или даже очень большого меньшинства французской нации. Конституционный конвент, организованный из одних только общин, как того хотел Сийес, если бы он был предоставлен самому себе и не контролировался парижской толпой, несомненно, решил бы вопрос об одной палате в народном смысле, но он сохранил бы привилегии дворянства в такой степени, которая вызвала бы отвращение у экстремистов, и, возможно, спас бы страну от многолетнего насилия и десятилетий реакции. Но люди бурных идей преобладали в Париже и некоторых городах, и им суждено было на какое-то время стать главной силой Французской революции. Страстями этой партии были любовь к равенству и ненависть к привилегиям. Для людей этого типа деспотизм может быть сравнительно безразличен; свобода - слово сладкозвучное, но малозначительное. В своем памфлете Сийес почти не упоминает короля. "Прошло то время, - говорит он, - когда три ордена, думая только о защите от министерского деспотизма, были готовы объединиться против общего врага". Это сравнительное безразличие к тирании двора не было чувством страны, но оно было чувством энтузиастов. По мнению последних, для людей, обладающих привилегиями, нет ничего слишком плохого. Они не имеют права ни на собственные собрания, ни на голос в народных собраниях. Спрашивать, какое место они должны занимать в общественном устройстве, "все равно что спрашивать, какое место должно быть отведено в больном теле злокачественной опухоли, которая подтачивает и мучает его".

## ГЛАВА XXI.

### КАЙЕРЫ.

Действительно, редко какой великий народ может полностью, откровенно и в то же время официально выразить все свои жалобы, пожелания и надежды в отношении собственного правительства. Наши знания о национальных идеях обычно черпаются из слов определенных классов людей: государственных деятелей, политиков, авторов или газетных писателей. Идеи этих людей в большей или меньшей степени совпадают с идеями огромной массы народа, которую они пытаются представлять; однако их высказывания неизбежно окрашены их собственным профессиональным взглядом на вещи. Но весной 1789 года все французы, за редким исключением, были призваны объединиться не только для того, чтобы выбрать представителей, но и для того, чтобы дать им подробные инструкции. Повод был самый торжественный. Генеральное собрание, великий центральный законодательный орган Франции, который не собирался почти два столетия, был созван в Версале. Это должен был быть прежний орган и нечто большее. Он должен был носить характер конституционного собрания. Он должен был не только принимать законы, но и определять принципы правления. Он был созван королем, чтобы советовать и давать согласие на все, что может касаться нужд государства, реформы злоупотреблений, установления постоянного и прочного порядка во всех частях управления, общего процветания его королевства и благополучия всех и каждого из его подданных[Сноска: *Королевское письмо о созыве*, 24 января 1789 года, А. Р. i. 611. Основное печатное собрание *cahiers*, вместе с большим количеством предварительных материалов, можно найти в первых шести томах *Archives Parlementaires*, под редакцией ММ. Mavidal et Laurent, Париж. Седьмой том состоит из указателя, который, хотя и очень несовершенен, необходим для грамотного изучения кайеров. Напечатанные в этих томах каньеры занимают около 4 000 больших страниц формата октаво в две колонки. В этой и последующих главах эти тома будут обозначаться как А. Р. Многие каньеры и отрывки из каньеров напечатаны и в других местах. Я не стал приводить ссылки на все кайеры, на которых основаны мои выводы, а ограничился лишь несколькими типичными примерами. Буквы С., N. и Т обозначают три ордена. Там, где эта буква не встречается, кайер, как правило, относится к городу или деревне].

Три ордена, духовенство, дворянство и община, или третье сословие, должны были проводить свои выборы отдельно в каждом округе, [Сноска: *Saillage, sénéchaussée*] если только они не согласятся объединиться путем раздельного голосования[Сноска: Три ордена не часто объединялись, но часто можно найти свидетельства общения между ними. Все они объединились в Байонне, А. Р. iii. 98. Монфор-л'Амори, А. Р. iv. 37. Розьер, А. Р. iv. 91. Фенестранж, А. Р. v. 710. Моон, А. Р. v. 729. Духовенство и дворянство объединились в Ликсгейме, А. Р. v. 713; дворянство и третье сословие - в Перонне, А. Р. v. 355]. В соответствии с древним обычаем они должны были составлять петиции, жалобы и протесты, которые должны были стать основой для законодательства. Эти жалобы должны были передаваться в эстафету и служить инструкциями, в большей или меньшей степени положительными, для депутатов, которые их подавали. На французском политическом языке они были известны как *Cahiers*.

Каэры духовенства и дворянства составлялись на избирательных собраниях, которые проходили в каждом округе. На эти местные собрания духовенства созывались все епископы, аббаты и приходские священники, владеющие бенефициями. Кафедральные соборы и монастыри присылали только своих представителей. В результате такой организации приходские священники значительно превосходили по численности обычных церковников и сановников, а клерикальные кайеры чаще всего выражали пожелания

низшей части светского духовенства. Такое преобладание низшего духовенства, по-видимому, было предвидено и желаемо королевскими советниками. Король выразил желание призвать на собрания духовенства "всех тех добрых и верных пастырей, которые ежедневно и вплотную занимаются нищетой и помощью народу и которые ближе знакомы с его недугами и опасениями"[Сноска: Règlement du 24 Jan. 1789, A. P. i. 544. Приходским священникам не разрешалось покидать свои приходы, чтобы отправиться на ассамблеи, если они находились на расстоянии более двух лье, если только они не оставляли викариев для выполнения их работы. Но это положение не удерживало их от участия в ассамблеях настолько, чтобы изменить их характер].

На местные ассамблеи дворян созывались все французы, принадлежащие к ордену, не моложе двадцати пяти лет. Мужчины, женщины или дети, владевшие фьефами, могли явиться по доверенности. Последнего положения было недостаточно, чтобы вывести собрания из-под контроля более многочисленной части ордена - бедного дворянства. К расовой гордости и горячей преданности королю эти деревенские джентльмены присоединяли недоверие и неприязнь ко двору, а также желание, чтобы все дворяне, по крайней мере, имели равные права и шансы. Их каэры несколько отличаются друг от друга в разных местах, но в целом удивительно похожи.[Сноска: N., Périgord, A. P., v. 341].

Для Третьего сословия была принята более сложная система. Франшиза распространялась на всех французских подданных, не принадлежащих ни к духовенству, ни к дворянству, достигших двадцати пяти лет и внесенных в налоговые списки[Сноска: Только в Париже требовался небольшой имущественный ценз]. Каждый город, приход или деревня составляли свой кессон и направляли его через депутатов либо в собрание округа, либо в промежуточное собрание. Здесь назначался комитет, который рассматривал все местные кайеры и объединял их; кайеры промежуточных собраний снова обрабатывались для составления общего кайера Третьего сословия каждого избирательного округа. Таким образом, каэры общин, в конце концов доставленные в Генеральное собрание в Версале, были менее непосредственным выражением мнения того ордена, от которого они происходили, чем каэры духовенства и дворянства. Однако, к счастью, сохранилось и было напечатано большое количество первичных или деревенских кайеров.

Каэры третьего сословия различаются между собой гораздо больше, чем каэры высших сословий. Некоторые из них, составленные в деревнях, очень просты и посвящены лишь местным жалобам и бедам крестьянской жизни. Длительное отсутствие местного сеньора приносит одной деревне больше убытков, чем даже цена на соль или хворост, которым перегружен народ. Далее следует перечисление разрушенных мостов, пастбищ, затопленных из-за того, что русло ручья запружено, грабежей, насилия и отказа в правосудии, когда некому защитить бедняков, руководить ремонтом и благоустройством[Сноска: Paroisse de Longpont, A. P., v. 334].

В другом месте мы видим трогательное смирение крестьянина. "Жители этого прихода не имеют других жалоб, кроме тех, что обычны для людей их звания и положения, а именно: они и так платят слишком много налогов разного рода; они хотели бы, чтобы беспорядок в финансах не стал причиной новых тягот для них, поскольку они не в состоянии нести больше, с большим трудом выплачивая те, что взимаются сейчас, но что гораздо лучше, чтобы те, кто богат, вносили свой вклад в налаживание дел королевства.

"Что же касается предостережений, то у них нет других желаний, кроме мира и общественного спокойствия; что они желают, чтобы собрание Генеральных Штатов восстановило порядок в финансах и привело во Франции к порядку и процветанию

государства; что они недостаточно сведущи в вопросах, которые будут рассматриваться на упомянутом собрании, чтобы высказать свое мнение, и уповают на ум и добрые намерения тех, кто будет послан туда в качестве депутатов.

"И наконец, что они не знают никаких средств для обеспечения нужд государства, кроме большой экономии в расходах и взаимной любви между королем и его подданными"[Сноска: Paroisse de Pas-Saint-Lomer, A. P., v. 334].

Не многие из кайеров столь скромны, как этот. Некоторые из них занимают много страниц, расположены под заголовками, разделенными на пронумерованные параграфы. Они содержат общую схему законодательства, а также часто конкретные и местные петиции. В них содержится просьба рассмотреть такой-то иск, разрешить такой-то спор. Многие местные жители жалуются не только на то, что страна в целом обложена чрезмерными налогами, но и на то, что их конкретный район платит больше своей доли. Их почва бедна, говорят они, воды не хватает или слишком много. В газете сельских поселений больше жалоб на феодальные поборы, в то время как в газетах городов и избирательных округов больше места отводится политическим и социальным реформам.

Многие образцы кайеров были подготовлены в Париже и разосланы в провинциальные города. Так, знаменитый аббат Сийес, чьи жестокие доктрины были рассмотрены в последней главе, составил и распространил формуляр. Его привез в Шомон в Шампани виконт Лаваль, который взялся руководить выборами в этом городе в интересах демократии и герцога Орлеанского. Избирателям давали обеды и балы, давали обещания. Значки ордена канонисток, который герцог предложил основать, были распространены среди дам. Кайер аббата был принят, но крестьяне Шампани приложили к нему требования конституционных реформ, прося, чтобы их собак не заставляли носить на ошейнике бревно, чтобы они не бегали за дичью, и чтобы им самим разрешили иметь ружья, чтобы убивать волков[Сноска: Beugnot, Mémoires, i. 110].

Некоторые из них были полностью домашнего производства, составленные адвокатом или священником деревни. Жители Эсси-ле-Нанси в Лотарингии описывают этот процесс. "Каждый из нас предлагал то, что считал нужным, а затем мы выбирали наших депутатов, Имберта Перрена и Жозефа Жака, которых считали наиболее способными хорошо представлять нас. Оставалось только хорошо выразить наши пожелания и составить официальный отчет о встрече. Но наш священник, которому мы доверяем, который так хорошо чувствует наши беды и так верно выражает наши чувства, был вынужден уехать. Мы сказали: "Мы должны подождать его; сначала мы попросим его помощника начать, а потом, когда священник вернется, мы дадим ему все исправить, и наши дела будут готовы к тому, чтобы вынести их на собрание района". Он действительно вернулся; мы попросили его все расписать. Мы сказали ему все, что хотели. Он продолжал писать, и вычеркивать, и переписывать, пока мы не убедились, что он понял наши идеи. Казалось, все было готово к пятнадцатому числу. Но мы услышали, что районное собрание откладывается до тридцатого. Мы сказали ему: "Сэр, подождите еще, давайте воспользуемся задержкой, мы придумаем еще что-нибудь, а вы добавите"; он согласился"[Сноска: Mathieu, 423].

Очевидно, что между различными районами существовало определенное согласие, но также и большая свобода и оригинальность. Существует множество протестов со стороны меньшинств. Епископы или главы жалуются на пункты, ущемляющие их права; монастыри протестуют против предлагаемого отвлечения их средств на оплату приходских священников. Отдельные люди пользуются этой возможностью, чтобы высказать свое мнение по общественным вопросам. Старый офицер хотел бы, чтобы дворянство меча

ограничивалось семьями, в которых мужчины носят оружие в каждом поколении. Простолюдин, купивший дворянские земли, жалуется на дополнительные налоги, наложенные на него в связи с этим. Крестьяне Мениль-ла-Оргн говорят, что юристы захватили избирательное собрание их округа и вычеркнули их жалобы из общего кайера; что, хотя в бейливики тридцать две сельские общины, и все они согласны, шесть городских депутатов распоряжаются делами по-своему; и что таким образом бедные жители страны никогда не могут донести свои желания до сведения своего государя, который желает им добра и принимает все средства для его достижения.[Сноска: Судя по всему, не было проведено строгой границы между тем, кто может и кто не может должным образом издавать кайер. Жан Батист Лардье, сеньор де Сен-Жерве де Пьерфит, А. Р. v. 17. Мессир Карре, А. Р., v. 21; А. Р. ii. 224].

Собрания, на которых составлялись кайеры, иногда были бурными. В Немуре экономист Дюпон был одним из членов комитета, особенно занятого этой задачей. Вопрос об упразднении старых судов вызывал сильные чувства. Волнение поднялось так высоко, что толпа грозила выбросить Дюпона из окна. Дело принимало серьезный оборот, поскольку комната находилась на высоте одного этажа, окно было уже открыто, и разъяренные люди протягивали руки к экономисту. Однако тот выбрал одного незлобивого человека, очень толстого, который случайно оказался рядом. Дюпону удалось подойти к нему и неожиданно обхватить его за туловище. "Что вам нужно?" - закричал испуганный толстяк. "Сэр, - ответил Дюпон, - каждый сам за себя. Они собираются выбросить меня из окна, а вы должны послужить матрасом". Толпа рассмеялась и не только оставила Дюпона в покое, но и пришла к его мнению и выбрала его депутатом[Сноска: Другой политик при аналогичных обстоятельствах был запуган, убежал из комнаты и потерял все политическое влияние. Beugnot, i. 118].

Согласованность общих идей в кейри тем более поразительна, что они отличаются разнообразием деталей, а также свободой обсуждения и протеста, которой пользовались те, кто их составлял. К ним постоянно обращаются авторы исторических, политических и экономических трудов, чтобы получить информацию о состоянии Франции в то время, когда они были написаны. Они действительно способны многому научить, но если забыть о цели, ради которой они были написаны, то они окажутся вводящими в заблуждение. Эта цель заключалась в выражении жалоб и желаний нации. Это видно из самого их названия: "Cahiers of Lamentations, Complaints, and Remonstrances" [Сноска: Названия варьируются, но в целом несут в себе этот смысл]. Поэтому мы не должны искать в cahiers упоминания о чем-либо хорошем в состоянии старой Франции; и мы должны помнить, что люди, выступающие за перемены, скорее всего, приведут худшие стороны того, что они хотят видеть измененным. В 1789 году в умах французов сосуществовали две политические идеи относительно того, что они и их Генеральные штаты должны были делать и чем быть. Они должны были возобновить действие своей древней конституции. Они должны были создать новую, в соответствии с разумом и справедливостью. Оба эти желания вполне могут присутствовать в сознании практических законодателей, даже если их примирение происходит в ущерб строгой логике и исторической точности. Но, к сожалению, историческая и идеальная конституции во Франции были слишком далеки друг от друга, чтобы их можно было легко объединить. Пропасть между феодальной монархией, постепенно превратившейся в деспотию, которая существовала, и хорошо управляемой ограниченной монархией, которую желали видеть самые рассудительные французы, была слишком велика, чтобы ее можно было преодолеть. "Трон Франции наследуется только по мужской линии"; с этим были согласны все. Они также согласились с тем, что все существующие налоги незаконны, поскольку они не были разрешены нацией, и что такие налоги должны оставаться в силе только для удобства и в

течение ограниченного времени, если только не будут утверждены законодательным собранием. Законодательная власть принадлежит или должна принадлежать королю и нации, последняя представлена своим законным собранием или Генеральным собранием; [Сноска: Некоторые говорят Генеральное собрание, не упоминая короля] и здесь они были согласны. Но как должны состоять эти Генеральные собрания? "Из трех орденов, совещающихся и голосующих отдельно, причем для принятия закона необходимо согласие всех трех", - сказали дворяне. "Из одной палаты, - отвечало Третье сословие, - в которой наше число должно быть равно числу других объединенных орденов и в которой голоса должны подсчитываться по головам". Это было первое и самое опасное расхождение во мнениях по вопросу, на который король, создавший ассамблею, должен был ответить еще до того, как он был честно задан. Но ни у Людовика, ни у Неккера, его советника, не хватило сил и предусмотрительности, чтобы решить этот вопрос на твердой основе, пока еще было время. Если бы предполагалась старая форма голосования тремя палатами, то было бы глупо делать народную палату столь же многочисленной, как и две другие вместе взятые. Если бы предполагалось создать новую форму Национального собрания с одной палатой, то было бы преступно допустить, чтобы старые порядки неправильно поняли свое падение от власти. "Мы - неотъемлемая часть монархии", - говорили дворяне. "Мы - двадцать три двадцать четвертых нации, и притом более полезная часть", - возразили общинники. "Наши притязания опираются на закон и историю", - вскричал один. "А наши - на разум и справедливость", - кричал другой. И многие депутаты с обеих сторон опирались на положительные указания своих избирателей не уступать в этом вопросе. Но если общинники были практически едины в этом вопросе, то дворяне разделились еще больше. Около половины из них настаивали на своих древних правах, во многих случаях заявляя, что в случае принятия решения о голосовании головами их депутаты должны немедленно выйти из состава эстафеты. Другие колебались или допускали обсуждение в одной, объединенной палате при определенных обстоятельствах или по вопросам, которые не касались привилегий высших орденов. В нескольких провинциях дворяне откровенно встали на сторону народа. Духовенство в некоторых случаях присоединялось к одной партии, в некоторых - к другой, но чаще всего не высказывало своего мнения. [Сноска: Я нашел один кайер Третьего сословия с просьбой о голосовании по орденам. T., Mantes et Meulan, A. P., iii. 666, art. 4, Section 3. Предложение о двух согласованных палатах, в одном кайере духовенства и дворянства, а в другом - третьего сословия. T., Bigorre, A. P., ii. 359, Section 3].

Каэры с обеих сторон приняли этот вопрос как решенный и перешли к остальным частям конституции, достигнув сносного согласия. Король, помимо согласия с законодательством, должен был номинально обладать всей исполнительной властью. Людовику XVI выражается много любви и благодарности. Его просят принять титул "отца народа", "подражателя Карла Великого". В связи с этим нам рассказывают немного истории. Оказывается, Эгберт, король Кента, приехал во Францию в 799 году, чтобы научиться искусству правления у самого Карла Великого. Он привез в Англию план французской конституции. В следующем году он приобрел королевство Уэссекс, в 808 году - королевство Мерсийцев, а со временем его репутация привела к тому, что под его властью оказались все четыре оставшихся королевства Великобритании. Таким образом, в основе нашей французской конституции, которая на протяжении почти тысячи лет составляла счастье и силу всей Англии, лежит истинное происхождение законных привилегий провинции Бретань. [Сноска: T., Ballainvilliers, A. P., iv. 336, art. 35. Triel, A. P. v. 147, art. 104. Для титула *Père du Peuple*, St. Cloud, A. P. v. 68. Montaigut, A. P. v. 577. T., Руан, A. P. v. 602. T., Vannes, A. P., vi. 107. О благословениях королю и Неккеру см. Mathieu, 425. Единственное выражение неуважения к Людовику XVI, которое мне удалось найти, приводится в Beugnot, i. 116. "Дадим полномочия нашим депутатам добиваться от нашего господина короля согласия на вышеупомянутые

просьбы; если он их удовлетворит, благодарить его; если откажется, *отчитывать* его" (*deroiter*). Это, по словам Богнота, было написано в сельском кайере, и он, похоже, цитирует по памяти. Памфлеты, как уже говорилось, были гораздо более жестокими, чем кайеры].

Королевская власть должна была осуществляться через ответственных министров, но нас не должны вводить в заблуждение слова. Ответственность министров, о которой думали французы в кайерах, была чем-то совершенно иным, чем то, что известно под этим названием в наши дни. В системе правления, которая формировалась в Англии в прошлом веке и которая с тех пор была широко скопирована на континенте, министры, хотя номинально и являются советниками короля, на самом деле образуют комитет по управлению, выбранный законодательным органом из числа своих собственных членов. Министры являются одновременно и создателями, и руководителями парламента, из которого они вышли. Перед ним они несут ответственность не только за должностные преступления, но и за мнения и политику. Как только выясняется, что они не согласны с большинством своих коллег, они отпадают от власти; но их падение не сопровождается позором, и никто не шокируется и не удивляется, видя, как они продолжают участвовать в общественной жизни и возвращают себе, благодаря народной благосклонности, те места, которые они могли потерять почти случайно.

Идея подобной системы не приходила в голову французам 1789 года. Они знали министров только как слуг монарха, избранных им одним, чтобы выполнять его приказы или советовать ему в делах, окончательное решение которых зависело от него. Они слишком хорошо знали, что короли и их слуги иногда нарушают закон. Кроме того, они знали, что их настоящий король был слабым и благонамеренным. Благочестивый вымысел, согласно которому о короле всегда говорили как о хорошем, а его отклонения приписывали недостатку знаний или плохому совету, прочно закрепился в народном воображении. Народ считал, что личность короля должна быть неприкосновенной. Но нарушения закона, совершенные силой короля без его помощи, не могли быть далеко идущими. Поэтому французы желали привлечь к ответственности всех тех, кто может пособничать королю в незаконных действиях или совершать их по его приказу или от его имени. Они опасались взимания незаконных налогов, и именно против злоупотреблений такого рода они особенно хотели предусмотреть меры. Поэтому в своих записках они требовали, чтобы министры были ответственны перед гражданскими трибуналами или Генеральным собранием. Избиратели не считали королевских министров членами своего законодательного органа. Более того, в некоторых кайерах тщательно оговаривалось, что депутаты не должны принимать никаких должностей или милостей от двора ни во время их службы в Эстате, ни в течение нескольких последующих лет. Требование ответственности министров было требованием, чтобы министры и их хозяин через них подчинялись закону; оно совпадало с требованием, также выдвинутым в некоторых кайерах, чтобы солдаты не использовались для подавления бунтов, кроме как по просьбе гражданской власти[Сноска: T., St-Gervais (Paris), A. P., v. 308, Section 3. H. Агены, A. P., i 680, раздел 15. Chérest, ii. 475].

Все требовали, чтобы Генеральное собрание собиралось через регулярные промежутки времени - два, три или пять лет - и голосовало по налогам только на ограниченный срок. Таким образом надеялись сохранить власть в руках нации. Все дебаты должны были быть публичными; о ходе их проведения сообщалось изо дня в день.[Сноска: Chérest, ii. 461.] Такие положения не были противонародными, поскольку ревность и недоверие обычны в политических делах, и чем меньше опыт народа, тем сильнее его страх перед заговорами и кабалами. Но всего лишь за два года до составления этих "кайеров" другая нация, которой недавно вошло в моду восхищаться во Франции, назначила своих депутатов для составления

конституции. Эта нация, по крайней мере, настолько же превосходила французов в политическом опыте, насколько уступала им в искусствах и науках, украшающих жизнь. Поэтому ее попытки создания конституции вполне могли бы послужить руководством к действию. Американскому конвенту 1787 года пришлось столкнуться со многими трудностями и возбудить немало ревности; но они были менее угрожающими, чем те, что стояли перед французскими эстами. Тем не менее в Филадельфии были приняты меры предосторожности, которые презирались в Версале. Американских депутатов насчитывалось не двенадцать сотен, а менее шестидесяти. Американцы заседали при закрытых дверях и требовали друг от друга клятвенного заверения в том, что их заседания будут тайными. Французы допускали всех желающих не только слушать их дебаты, но и аплодировать и шипеть. За короткое время их палата оказалась под влиянием, если не под контролем, своих галерей; так что Францией управляли уже не избранные ею представители, а толпа ее столицы. Американские депутаты, в большинстве своем, пришли на свою работу без обязательств. Французы во многих случаях получали от своих избирателей приказ уйти в отставку, если не будут выполнены такие-то и такие-то их требования. Американская конституция была принята с трудом и, вероятно, никогда не была бы принята вообще, если бы общественное мнение было возбуждено обсуждением каждой части до того, как стало известно все. Эта конституция, с небольшим количеством важных поправок, сегодня воспринимается с непостижимым для иностранцев почтением нацией, в двадцать раз превышающей ту, что приняла ее изначально[Сноска: Выдающийся иностранный историк, похоже, написал свою книгу о конституционной истории Соединенных Штатов для того, чтобы показать, что человек может знать все о предмете, не понимая его]. Французская конституция, принятая собравшимися в 1789 году органом под названием Генеральное, Учредительное или Национальное собрание, была встречена с шумной радостью частью нации и с гневным недоверием - другой частью. Многие из его положений сохранились; но сама конституция не просуществовала и двух лет. Могли ли трезвые размышления небольшого корпуса уполномоченных людей, заседавших при закрытых дверях, создать во Франции в 1789 году конституцию, при которой нация могла бы процветать и которая могла бы быть постепенно улучшена и адаптирована к современной цивилизации? Был ли необходим энтузиазм и порыв большого народного собрания, чтобы преодолеть заинтересованную оппозицию двора и слабую нервозность монарха? Этого уже никогда не узнать. Людовик XVI был слишком слаб, чтобы пробовать эксперимент, и ни у кого другого не было законных полномочий.

В то время как Генеральные собрания должны были обладать исключительным правом законодательной инициативы, и Франция, таким образом, должна была оставаться централизованной монархией, по всей стране должны были быть созданы провинциальные собрания, за исключением тех случаев, когда уже существовали местные органы подобного характера. Эти провинциальные эсты должны были осуществлять широкие административные полномочия, устанавливать и взимать налоги, прокладывать дороги, выдавать лицензии, поощрять торговлю и мануфактуры. Многие кайеры просили, чтобы должности того или иного рода, гражданские или военные, или само дворянство предоставлялись только по представлению провинциальных сословий. Многие каэры просят о выборности городских или сельских властей. Многие хотели смести старых чиновников короны, интендантов и военных губернаторов, генеральных фермеров и просто клерков. Этих людей ненавидят как сборщиков налогов и не доверяют им как членам старого кольца, которое плохо управляло страной. В королевстве их более сорока тысяч, и единственное их занятие - досаждать и беспокоить подданных короля ложными декларациями и другими способами, и все ради надежды на долю в штрафах и конфискациях, которые могут быть взысканы[Сноска: T., Perche, A. P., v. 325, Section 13. В нескольких кайерах содержится

просьба о сохранении прав и привилегий старых сословий *Pays d'États*. N., Amont, A. P., i. 764. Правительственные чиновники называются "вампирами". Домфронт. A. P., i 724, § 21. См. также T., Амьен, A. P., i. 751, раздел 40. Desjardins, xxxix].

Ошибочно полагать, что французы 1789 года заботились в основном о гражданских и социальных реформах и лишь попутно о реформах политических. В большинстве газет политические реформы упоминаются первыми и на них настаивают так же тщательно, как и на любых других. Если и есть какие-то различия в этом отношении между орденами, так это то, что дворяне более настоятельно требуют политической части программы, чем духовенство или третье сословие. Священники были заняты своими делами. Крестьяне думали о тяготах, которые они терпели. Но все разумные люди чувствовали, что социальные и экономические реформы будут нестабильными, если не будет проведена и адекватная политическая реформа. Депутатам трех орденов во многих случаях предписывалось не рассматривать вопросы государственного долга и налогообложения до принятия предложенной конституции[Сноска: T., Briey, A.P., ii. 204. N., Ponthieu, A.P., v. 431. N., Agenois, A. P., i. 680].

Закрепив таким образом законодательную власть за Генеральными штатами и разделив исполнительную и административную ветви власти между королем с его ответственными министрами и провинциальными штатами, кайеры перешли к судебной функции. В отношении реформ, которые должны были быть здесь проведены, было достигнуто значительное согласие; хотя Третий орден был наиболее категоричен в своих требованиях, так как дорогостоящий и сложный механизм права тяжелее бьет по бедным, чем по богатым, по торговому классу, чем по землевладельцам. Большое влияние юристов среди общинников в это время также было причиной того, что в кайерах Третьего сословия уделялось внимание юридическим вопросам. Общим требованием было упрощение судов и юрисдикций, отмена покупки судебного места, более единообразные законы и обычаи. Иногда требовалась кодификация законов, как гражданских, так и уголовных. Обычным требованием было, чтобы в отправлении правосудия было только две степени: простой суд в каждом округе достаточного размера и парламенты в разумном количестве, с окончательной апелляционной юрисдикцией. Коммерческие суды (*консулаты*), однако, должны были быть сохранены. Нация была единомышленна в том, что предписание *committimus*, с помощью которого дела могли изыматься привилегированными лицами из обычных судов для рассмотрения в исключительных трибуналах или в отдаленных парламентах, должно быть полностью упразднено. Рассмотрением мелких дел должны были заниматься мировые судьи или неофициальные суды с упрощенными процедурами. Юрисдикция лордских приставов должна была быть значительно сокращена или полностью отменена". [Сноска: T., Alençon, A. P., i. 717, Section 4. T., Amiens, A. P., i. 747, Section 1. В этом сборнике дается очень полное описание существующих судебных злоупотреблений. Desjardins, xxxv. Poncins, 286. Desjardins (xl.) говорит, что дворяне пытались сохранить юрисдикцию судебных приставов и в некоторых случаях убеждали Третье сословие. Я не нашел примеров].

В уголовном праве рекомендовались изменения, направленные на то, чтобы дать обвиняемым больше шансов. Судебные процессы должны были быть быстрыми и публичными, а адвокаты должны были быть разрешены. Тюрьмы должны были быть улучшены. Третье сословие желало, чтобы наказание было одинаковым для всех сословий, а смертной казнь должно было стать обезглавливание - вид казни, который раньше применялся только к дворянам. Очень заметна тщательность, с которой эта реформа была проведена несколько лет спустя. На гильотине одинаково казнили и мужчин, и женщин. Распространенной просьбой казров было, чтобы семья человека, осужденного и

наказанного за преступление, не была опозорена, а родственникам преступника не закрывали доступ к преференциям. Первая просьба показывает любопытное незнание того, что можно и чего нельзя делать с помощью законодательства. Оправданные лица должны были получить возмещение ущерба либо от обвинителя, либо от государства. Судьи должны были обосновывать свои решения. Произвольное тюремное заключение по *письму де каше*, согласно некоторым кайерам, должно было быть полностью подавлено; согласно другим, оно должно было быть регламентировано, но практика сохранялась там, где этого могли требовать общественный порядок или семейная дисциплина[Сноска: Domfront, A. P., i. 723, Section 6. Амьен, A. P., i. 747, раздел 7. Как видно из этих катренов, все были против использования *lettres de cachet* в их нынешнем виде; но большинство катренов, которым было что сказать о них, выразили желание сохранить нечто подобное. Они считаются необходимыми по государственным причинам или в интересах семей. Desjardins, 407. Автор "Истории правительства Франции после Соборания знатных особ", хороший, здравомыслящий человек из среднего класса, одобряет их (260). Мерсье (viii. 242) считает их полезными и даже необходимыми].

## ГЛАВА XXII.

### СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В "КАЙЕ".

Когда мы переходим от политических и административных вопросов к социальным и экономическим, трудность полюбовного урегулирования возрастает. Все согласны с тем, что собственность священна; но большая часть нации твердо убеждена, что привилегии должны быть уничтожены, а в огромном количестве случаев привилегии и есть собственность. Эта трудность не будет долго стоять на пути Общин Франции. Именно там, где привилегия имеет этот частный характер, она наиболее одиозна для некоторых слоев населения. Владение землей связано с феодальными обязательствами разного рода; между ними должно быть проведено жесткое разделение. Услуги, которые арендатор должен оказывать землевладельцу, могут быть самой важной частью собственности последнего; и по системе землевладения, сохранявшейся на протяжении веков на большей части христианства, каждый землевладелец был чьим-то арендатором. За исключением немногих князей, не было ни одного человека, владеющего акром земли, который бы не получал за него теоретически, а то и практически, какую-то ренту или услугу. Эта услуга могла быть просто номинальной; в случае с дворянскими землями в XVIII веке она, как правило, была таковой; но номинальной или реальной, право требовать ее было чьей-то собственностью. Если такое право и не приносило денег в кошелёк, то все же добавляло ему достоинства и самоудовлетворения. Однако большая часть французской нации относилась к подобным правам с глубоким недоверием. Идеи независимости и абстрактных прав человека пустили глубокие корни. Считалось, что земля должна находиться в абсолютной собственности - в аллодиальном владении, как говорится. Феодальные повинности, по сути, часто были более обременительны для тех, кто их платил, чем выгодны для тех, кто их получал. Пришло время отменить их. Те, которые были чисто почетными, хотя и ценились дворянством, обладавшим ими, возмущали чувство равенства в народе. Считалось, что они являются знаками и признаками неполноценности арендатора по отношению к землевладельцу, бедняка по отношению к богатому. Есть только один король, и мы не можем все быть благородными, но пусть каждый человек держит свою ферму в мире", - таков был нетерпеливый крик простого народа. Феодальные права, которые являются всего лишь почетными, оскорбляют человека как человека; некоторые из них унижительны, некоторые смешны. Они должны быть отменены как можно скорее.[Сноска: Т., Экс-ан-Прованс, A. P., i. 697, раздел 8. Т., Драгиньян,

А. Р., iii. 260. Шерест (ii. 424) отмечает, что кайеры округов (baillages) более умеренны, чем кайеры деревень, в вопросах, касающихся феодальных прав, и считает, что эта умеренность была принята из политических соображений, чтобы не слишком пугать привилегированные ордена на данном этапе. Однако представляется маловероятным, что подобная политика могла так широко практиковаться].

Крестьяне почти единодушно требовали освобождения от действия одного набора привилегий, ни строго материальных, ни полностью почетных. Это были права дворян на сохранение дичи и аналогичное право на содержание голубей. Крестьяне говорят о голубях как о "биче рабочих" и просят уничтожить их или хотя бы закрыть на время посевной и уборки урожая. Один джентльмен отвечает на это возражением, что, будучи очень теплыми, они используются в медицине, но что воробьи ежегодно пожирают по бушелю зерна за штуку, и что каждая деревня должна быть обязана убивать определенное их количество. Крестьяне просят, чтобы дикие кабаны и кролики были одинаково уничтожены. Королевские заповедники особенно ненавистны всему сельскохозяйственному населению, живущему в окрестностях Парижа. Земля, естественно, первого класса, как говорят, становится почти бесполезной из-за обилия дичи. Заяц питается нежными побегами растущего зерна. Куропатка наполовину уничтожает пшеницу. Кролики и другие вредители питаются виноградниками, фруктовыми деревьями и овощами. Фермерам не разрешают уничтожать сорняки, опасаясь потревожить дичь. По всем полям разъезжают конные сторожа, вытаптывая урожай. Короля умоляют сократить свои заповедники, насколько он может это сделать, не мешая собственным развлечениям, или даже совсем их запретить[Сноска: Т., Пеккюз (Париж, *extra muros*), А. Р., v. 11, Section 36. Т., Аленсон, А. Р., i. 719, ch. viii. Раздел 3. Эксмес, А. Р., i. 728, разделы 20, 21. Верней, А. Р., i. 731, раздел 44. Сеньор де Пьерфит, А. Р., v. 19, раздел 16. Порт-о-Пек (Париж, *бывший м.*), А. Р., v. 12, Section 18. Plaisir (Париж, *бывший м.*), А. Р., v. 25. Амон-Грей, А. Р., i. 780. Périgny en Brie (Paris, *ex. m.*) А. Р., v. 14, Sections 5-11, и многие другие].

Что касается феодальных прав, которые приносили деньги их владельцам, то, по крайней мере, общинники, в целом считали, что они должны быть выкупаемыми; что лицам, обязанным платить по ним, должно быть позволено выкупить их путем уплаты определенной суммы, если владение было истинным и справедливым. Здесь, однако, возникла большая проблема из-за существенного расхождения идей. Французские дворяне считали, как и огромная масса владельцев собственности во все века, что предписание или древнее использование является достаточным доказательством собственности. Если можно было доказать, что человек или его предшественники по титулу владели определенным участком земли или определенным правом на землю другого человека с незапамятных времен или в течение очень долгого времени, то для установления его собственности больше ничего не требовалось. Если не признать эту теорию, хотя бы в некоторой степени, то, казалось бы, все права собственности должны исчезнуть. Поэтому в отношении земли, находящейся в фактическом владении, французская нация твердо придерживалась принципа давности. Но в отношении тех более тонких прав на землю, которым чрезвычайно благоприятствовала феодальная система, появилась другая теория. В XVIII веке эти права считались неестественными сами по себе, а потому неправомерными. Более того, считалось, что многие из них были узурпированы без всякого основания и справедливости. [Сноска: Т., Béarn, А. Р., vi. 500. Rennes, А. Р., v. 546.] Третье сословие обычно считало, что если не будет доказано, что хартия или соглашение устанавливают такие права, они должны быть отменены без компенсации, и что некоторые из них были настолько несправедливы и предосудительны, что даже соглашение или хартия не могли их санкционировать. Таковы были многие феодальные платежи и монополии; общие быки, общие печи, права на труд и на

услуги. Таково, прежде всего, крепостное право, где оно сохранялось[Сноска: О стремлении сохранить феодальные права см. *N.*, Condom, *A. P.*, iii. 38, Section 5. *N.*, Dax, *A. P.*, iii. 94, Section 21. *N.*, Etain, *A. P.*, ii. 215, Section 10. *N.*, Bas Vivarais, *A. P.*, vi. 180, раздел 19. О желании упразднить их: *T.*, Avesnes, *A. P.*, ii. 153, Sections 34-40. *T.*, Бар-ле-Дюк, *A. P.*, ii. 200, разделы 49, 50. *T.*, Божоле, *A. P.*, ii. 285, раздел 22. *T.*, Cambrai, *A. P.*, ii. 520, Sections 14-16. *K.*, Клермон-ан-Бовуази, *A. P.*, ii. 746. *T.*, Крепи, *A. P.*, iii. 74, раздел 21. *T.*, Линас, *A. P.*, iv. 649, раздел 17. *T.*, Ploermel, *A. P.*, v. 379, § 14-20 (очень полное изложение), и многие другие].

Когда мы переходим от собственности частных лиц к собственности клерикальных корпораций, будь то единоличных или совокупных, мы видим, что дело еще сильнее. Говорят, что большее число каэров духовенства было составлено под преобладающим влиянием приходских священников. Эти люди считали себя обиженными при распределении церковного имущества. Они считали возмутительным, что рабочая часть духовенства должна получать лишь гроши, в то время как бесполезные трутни жирели в безделье[Сноска: *C.*, Paroisse de St. Paul, *A. P.*, v. 270, Section 11]. Их предложения были радикальными. Они должны были отнять у немногих, у кого было много, и отдать многим, у кого было мало. Зарплаты тех, кто служит в приходах, должны быть увеличены, установив минимальный уровень, и деньги должны быть взяты из карманов аббатов, капитулов и монастырей. Будущие назначения должны быть сделаны не только в пользу приходских священников, но и в их интересах лишить нынешних служителей жирных податей. Схемы для этой цели не везде были одинаковыми, но дух был единым для всей популярной части ордена.

В то время как Третье сословие соглашалось с духовенством в желании скорректировать доходы клириков, в некоторых кругах была предпринята атака на саму выплату десятины. Однако это не было всеобщим. Народ был готов платить разумную десятину, хотя некоторые из них предпочли бы, чтобы священники получали жалованье, выплачиваемое из средств обычного налогообложения. Обязательные сборы за религиозные церемонии, такие как свадьбы и похороны, были очень непопулярны. Неоднократно звучали просьбы об отмене таких сборов, когда доходы священников станут достаточными[Сноска: Poncins, 179. *T.*, Плоермель, *A. P.*, т. 380, раздел 22. Soissy-sous-Etoiles, *A. P.*, v. 121, Section 16].

Таким образом, каэры не нападают на право собственности в абстрактном виде; напротив, они его поддерживают. Но они расшатывают его основы ударами, направленными на вещные права и на давность.

Вопрос о налогообложении откладывается в "Каэрах" до вопроса о конституционных правах. Но финансовые нужды были самой причиной существования Генеральных штатов, возможностью для всех реформ. По важнейшему принципу налогообложения страна была почти единодушна. Отныне тяготы должны были нести все. Лишь иногда какая-нибудь привилегированная организация отстаивала старые иммунитеты, какой-нибудь глава выдвигал требование, чтобы духовенство по-прежнему платило только в виде добровольного дара. Привилегированные ордена, как правило, отказываются от своей свободы от налогообложения. Иногда они сами себе аплодируют за это. Духовенство во многих случаях обязуется нести свою долю налогов только при условии, что его корпоративный долг станет частью долга нации.

Третье сословие, напротив, утверждает, что справедливо и правильно, если все граждане будут облагаться одинаковыми налогами. Его кайеры требуют в качестве права то, что высшие ордена предлагают в качестве дара[Сноска: Несколько кайеров Дворянства просят

освободить от налогов определенную часть имущества бедных дворян. *N., Clermont-Ferrand, A. P., ii. 767, Section 23. N., Bas Limousin, A. P., iii. 538, Section 14*].

В вопросе о методе налогообложения было достигнуто некоторое согласие. Многие из старых налогов были полностью осуждены, по крайней мере, в их старых формах. Налог на соль должен был быть уравнен, если не отменен полностью. Монополия на табак, эту "статью первой необходимости", должна была получить такое же лечение. Много требований было выдвинуто в отношении акциза на вино. "Нам трудно поверить, - кричали жители деревни Паво, - что все это множество пошлин идет в королевскую копилку; мы скорее считаем, что они служат для того, чтобы откормить тех, кто стоит во главе акциза, и это за счет бедного виноградаря". Все налоги должны были быть как можно быстрее преобразованы в один на землю и один на личное имущество. Но умы реформаторов не понимали реальных трудностей этого вопроса. Они находились на той стадии мышления, когда на великие вопросы отвечают невпопад, потому что мыслитель не до конца их осознал. Должен ли личный налог основываться на капитале или на доходах, и как они должны быть определены? Гораздо легче сформулировать общие принципы налогообложения, чем успешно применить их. [Сноска: Соль и табак, *Т., Перше, А. П., т. 327, § 38. Луазейль, А. Р., v. 334, раздел 7. Вино, Ravaut, А. Р., v. 9*].

Распространенным требованием является обложение налогом предметов роскоши, таких как слуги, кареты или собаки. Жители Сегонзака предлагают взимать плату за румяна, "которые разрушают красоту", и наносят удар по модной глупости того времени, предлагая ввести особую плату для тех, "кто позволяет себе носить двое часов". Здесь, пожалуй, не место упоминать о предложении обложить дополнительным налогом лиц обоих полов, не состоящих в браке после "определенного возраста". Большое движение из деревни в города уже вызывает тревогу. Жители Альбре считают, что налог на предметы роскоши будет иметь двойное преимущество: он ляжет на плечи самых богатых и наименее полезных граждан, а также отправит население из городов обратно в деревню, которая получит справедливые ограничения. А жители Домфронта говорят о Париже как об "ужасной пропасти", в которой поглощаются богатство, население и нравы провинций. [Сноска: Налогообложение предметов роскоши в целом, *К., Дуай, А. Р., iii. 174, раздел 19. N., Аленсон, А. Р., i. 715. С., Амьен, А. Р., i. 735. Т., Экс, А. Р., i. 696. Т., Логон, А. Р., ii. 270, разделы 26, 27, и многие другие. Холостяки, Т., Ренн, А. Р., v. 544, раздел 115. Вишерей, А. Р., vi. 24, раздел 30. Города, Т., Альбрет, А. П., i. 706, раздел 38. Domfront, А. Р., i. 724, Section 14*].

Теоретические нападки на роскошь характерны для всех эпох и не слишком значительны. Гораздо большее значение имеют предложения о прогрессивном налогообложении. Они изредка встречаются в кайерах. Третье сословие из Ренна, чей кайер считается типичным для более революционных устремлений того времени, просит, чтобы "налог на людей был установлен и оценен в соответствии с их способностями, так что тот, кто вдвое лучше обеспечен, чем люди его класса, должен платить налог в три раза больше, и так далее". Дух этого требования более понятен, чем его применение. Город Беллок, провинция Беарн, высказался более определенно. Он хотел бы выплатить государственный долг специальным налогом, справедливо начисленным, во-первых, на генеральных фермеров и других сборщиков податей, которые быстро сколотили состояние для себя и своих родственников на деньги, полученные от народа; затем на всех лиц, имеющих доход более двухсот пистолей, будь то от земли, контрактов или мануфактур; Затем на феодалов, если сумма пошлин более чем в два раза превышает арендную плату за них; и, наконец, если вышеперечисленного недостаточно, предлагается получить денежную сумму путем конфискации части всех предметов роскоши и излишеств, где бы они ни были найдены; при

этом объясняется, что в особенности имеются в виду тарелки богачей и украшения церквей.[Сноска: *A. P.*, ii. 275, Section 42 *n.*].

Финансовая схема, изложенная в кайерах, в основном выглядит следующим образом. Как только будет определена конституция, депутаты обратятся к королевским министрам за счетами и сметами. Последние должны быть представлены в двух частях. В первую очередь должны быть представлены необходимые текущие расходы правительства, включая расходы короля, его семьи и двора, которые должны быть выдержаны в стиле, соответствующем великолепию великой монархии. Затем следует рассмотреть, какая экономия может быть введена в каждом департаменте. Среди этих мер экономии важное место должно занять подавление или сокращение экстравагантных пенсий, особенно тех, которые назначаются просто за благосклонность, а не за заслуги перед государством. Когда смета будет должным образом рассмотрена, эстафеты выделяют специальные ассигнования, а министры будут нести строгую ответственность за их расходование.

Далее, что касается долгов государства, то отдельный и подробный отчет представляется Генеральным штатам. Он также должен быть тщательно изучен, рассмотрена справедливость различных требований и предусмотрены средства для их постепенного погашения. Считается само собой разумеющимся, что отныне французская нация будет жить в пределах своих доходов; но если в любой момент возникнут долги, необходимо предусмотреть особые условия для погашения основной суммы и процентов[Сноска: *N.*, Amont, *A. P.*, i. 766. *N.*, Agenois, *A. P.*, i. 682].

Рассмотрев общие вопросы конституционного правления, права, собственности и налогообложения, мы можем перейти к тем вопросам, которые более всего интересовали один из великих орденов государства, или по которым можно было ожидать, что мнения одного ордена будут отличаться от мнений другого. В общей политике духовенство было согласно с дворянством и Третьим сословием, но в некоторых вопросах они расходились. Однако эти различия были больше по степени, чем по сути. Я имею в виду, что духовенство, как это естественно, больше всего говорило о церковных, религиозных и моральных вопросах и отличалось от дворянства и коммун скорее относительным значением, которое оно придавало этим вопросам, чем характером своих мнений по ним.

Римско-католическая и апостольская религия является религией государства; во Франции не должно допускаться публичное отправление каких-либо иных культов. Это было всеобщим требованием духовенства, и другие ордена обычно соглашались с ним. Что касается предоставления гражданских прав тем, кто не является католиком, то духовенство считает, что в этом направлении уже сделано достаточно, возможно, даже слишком много. Те права, которые уже были предоставлены, должны быть ограничены и определены, а посягательствам ереси должен быть положен конец. Иногда светские ордена шли дальше в деле веротерпимости. В одном дворянском каноне предлагается ввести военный крест для отличившихся офицеров-протестантов, в другом - что не католики могут быть выборщиками, но не избираться в Генеральное собрание. Жители некоторых центральных провинций вернут семьям имущество изгнанников ради религии. Жители одной четверти Парижа разрешат свободное отправление религиозных обрядов. Выражения одобрения недавней уступки протестантам гражданского статуса не редкость в газетных сообщениях. Но страна и все ордена, несомненно, в подавляющем большинстве католические.[Сноска: О веротерпимости - Bellocq, *A. P.*, ii. 276, Section 59. *N.*, Agen, *A. P.*, i. 684, Section 14. *T.*, Перигор, *A. P.*, v. 343, раздел 45. *T.*, Пуату, *A. P.*, v. 414. Vouvant, *A. P.*, v. 427, Section 18. *T.* Париж-Театин, *A. P.*, v. 316, Section 29. *T.*, Montargis, *A. P.*, iv. 23, Section 10].

Духовенство просит обеспечить соблюдение воскресных и праздничных дней. Третье сословие в некоторых местах считает, что праздников и так слишком много. Оно упразднило бы многие из них, перенеся их религиозное празднование на ближайшее к ним воскресенье". [Сноска: *T.*, Сен-Пьер-ле-Мутье, *A. P.*, т. 640, раздел 63. *T.*, Paris-hors-les-murs, *A. P.*, 241, Section 2].

В том, что касается свободы прессы, духовенство расходится с другими орденами. Оно поддерживает более строгую цензуру, чем раньше, и склонно приписывать всю безнравственность эпохи разнузданности авторов. Дворянство и Третье сословие, с другой стороны, в целом допускают свободу печати, но требуют ответственности от авторов и печатников, один или оба из которых должны всегда подписывать свои публикации. Таким образом, анонимные пасквилы больше не должны появляться, а плохие книги вообще должны навлекать наказание на их авторов.

Каиры духовенства, пожалуй, больше, чем другие, настаивают на важности образования; и церковники, как правило, хотят сами контролировать его. Здесь общинники иногда идут дальше, чем они; они просят обязать всех монахов и монахинь давать бесплатное образование[Сноска: *C.*, Aix, *A. P.*, i. 692, Section 6. *C.*, Labourt, iii. *A. P.*, 424, раздел 27. Орнанс, *A. P.*, iii. 172, раздел 4. *T.*, Douai, *A. P.*, iii. 181, разделы 28, 29].

Что касается управления собственным порядком, то духовенство под руководством приходских священников требует широких реформ. Не должно быть больше абсентеизма; не должно быть епископов и аббатов, получающих большие доходы и развлекающихся в Париже или Версале. Не должно быть больше плюрализма, который противоречит постановлениям Трентского собора. Продвижение по службе должно быть открыто для приходского духовенства. Верные священнослужители должны быть обеспечены до глубокой старости. Должны проводиться частые синоды и провинциальные соборы. Миряне согласны с духовенством в призыве к этим реформам, и во многих случаях они могли бы значительно облегчить подавление и укрепление монастырей"[Сноска: Poncins, 190, *A. P.*, *passim*. *N.*, Agenois, *A. P.*, i. 682, Section 8].

И духовенство, и миряне глубоко галликанские. Они не желают платить дань Риму, но хотят, чтобы церковь Франции сохранила свои привилегии и иммунитеты. Разрешения на брак родственников, по их мнению, должны выдаваться французскими епископами, а уплачиваемые за это пошлины должны храниться в стране. Аннаты, или выплаты Папе по случаю назначения на французские должности, должны быть прекращены. Этим выплатам Святому престолу во Франции придавалось значение, намного превышающее то, которое, казалось бы, можно было оправдать только их размером. Они были противны национальному чувству собственного достоинства. В некоторых местах идея о том, что церковь Франции должна управлять сама собой, заходила так далеко, что угрожала ортодоксии. Духовенство провинции Пуату просит французских епископов, "которые, несомненно, сочтут нужным посоветоваться с университетами", составить свод богословия, "избавленный от всех бесполезных вопросов", который должен преподаваться исключительно во всех семинариях, школах и монастырях. Здесь мы имеем пример того нетерпения к сложным и трудным мыслям, той простой веры в то, что все вопросы допускают короткие и разумные ответы, которая была характерна для XVIII века. Духовенство Пуату также просит о большом и малом катехизисе, общем для всех епархий. "Единое обучение во всей Галликанской церкви, - говорят они, - имело бы столько преимуществ, что епископы не преминут приложить усилия для его получения. Общий breviарий и общая литургия были бы одинаково желательны"[Сноска: *A. P.*, v. 391, Section 19].

В нескольких кайерах содержится просьба об избрании епископов, а многие приходы желают избирать своих священников. Эти просьбы не были столь радикальными, как может показаться сейчас, - по крайней мере, они не затрагивали прерогатив Рима, - поскольку епископы во Франции назначались короной, как и сейчас, французским правительством, а назначение священников, тогда во Франции, как и сейчас в Англии, часто находилось в руках светских покровителей[Сноска: Poncins, 168].

Французская нация в целом желала сохранить свое дворянство как отдельную часть государства. Лишь в немногих кайерах мы находим хотя бы намек на подавление ордена[Сноска: Poncins, 111. Nirrean, p. x., и т. д. Мое собственное изучение кайеров подтверждает это мнение. См., однако, длинную, аргументированную статью в кайере Третьего сословия Ренна, А. Р., v. 540, Sections 48-50. См. также статью Беллока, А. Р., ii. 276, раздел 61. Т. Экс. А Р., i. 697. Вилье-сюр-Марн, А. Р., v. 216. Карри, А. Р., vi. 280, § 35 и т. д.]. Третье сословие, однако, свело бы преимущество дворянства не более чем к различию и политическому весу. Дворяне, составляющие по численности, возможно, одну сотую часть нации, должны получить четверть представителей в Генеральных и провинциальных собраниях. Они должны иметь большую долю почестей, должностей и вознаграждений. Их орден должен стать более исключительным, чем прежде. Дворянство больше не будет покупаться и продаваться, а будет даваться только за заслуги или долгую службу, возможно, только по представлению провинциальных сословий. За исключением самых демократичных кабинетов, эти уступки не оспариваются.

С другой стороны, общины требуют доли шансов, которые до сих пор были зарезервированы за дворянами. Исключительное право высшего сословия служить судьями в высших судебных инстанциях или офицерами в армии должно исчезнуть. За последнее право дворяне крепко держатся. Военная карьера, говорят они, - их естественное, единственное призвание. Однако в некоторых случаях они просят разрешить им заниматься другими способами добывания средств к существованию, не умаляя своего дворянства. Но они вместе с другими орденами требуют реформ в армии". [Сноска: Т., Perche, А. Р., 326, Section 17. N., Agenois, А. Р., i. 683, Section 14].

Общее раздражение, вызванное новыми военными правилами, было отмечено в другой главе. Каэры единодушно высказывают его. Французского солдата больше не будут оскорблять ударами. Организация армии должна быть изменена. Она не должна быть подчинена "разнообразию духа системы и капризам министров". Много просьб о том, чтобы с солдатом лучше обращались. Не мало и тех, кто просит обратить его необходимый досуг на пользу, заняв его на строительстве дорог или других общественных работах.[Сноска: N., Ponthieu, А. Р., v. 434, Sections 40-42. Т., Perche, А. Р., v. 326, Section 19. Солдаты для работы на дорогах и т. д., Понсины, 212. Арль, А. Р., ii. 61, раздел 3. Т., Бурбонне, А. Р., ii. 449, раздел vi., 1. Н., Шато-Тьерри, А. Р., ii. 665, раздел 56. Т., Étampes, А. Р., iii. 287, Section 12, etc.]. Более многочисленны, пожалуй, те, которые касаются справедливости продвижения по службе. Именно в этом вопросе более бедное дворянство проявляло наиболее ожесточенную зависть к великим придворным семьям. Имея только один путь для своих амбиций, деревенские дворяне видели, что их путь преграждают блестящие фигуры людей не лучшего происхождения, чем они сами. Морщинистый старый солдат, происходивший из крестоносцев, лично отличившийся в двадцати сражениях, стоял на израненных ногах и подавал свою алебарду в качестве капитана в пятьдесят лет; в то время как Ноай или Кариньян, не имевший больше четвертования и вообще никакой службы, возможно, едва ли француз и всего двадцати лет от роду, но имевший герцога в качестве дяди или фаворитку королевы в качестве сестры, вышагивал на своем управляемом зарядном ящике во главе

полка в качестве его полковника. Но и это было не все. Достойного ветерана могли из-за пустяковой ссоры лишиться звания, которое он завоевал своим потом и кровью, и отправить обратно в родовое ястребиное гнездо сломленным и опозоренным. Каиры требуют, чтобы больше не было увольнений без суда и следствия; многие из них просят исправить положение в конкретных случаях. Ибо теперь мир должен снова стать правильным; комиссии и назначения в военную школу должны быть справедливо распределены; продвижение по службе должно осуществляться по заслугам и сроку службы; и верное дворянство Франции снова станет оплотом обожаемого короля и благодарной нации.

\*\*\*\*\*

У общин также есть свои особые пожелания. Они хотят избавиться не только от феодального гнета, но и от административных правил. Иногда они настолько сочетаются с привилегиями или налогообложением, что нелегко определить их причину. Например, рыбаки Альбрета просят разрешить им пользоваться любым видом лодок, который им удобен[Сноска: А. Р., i. 706, Section 57]. Мы можем только гадать, почему кто-то должен был вмешиваться в их лодки. Была ли это корпорация судостроителей, обладающая монополией, которая ограничивала их, или это была лишь отеческая суетливость континентальных полицейских правил?

В вопросах торговли национальные чувства были далеко не единодушны. Большинство кайеров требовали, чтобы торговля была свободной внутри королевства; хотя некоторые пограничные провинции, которые имели сравнительно свободную торговлю с Германией и были отрезаны от Франции, предпочитали сохранить такое положение вещей[Сноска: Эльзас, Лотарингия и три епископства. Понсины, 282, Матье, 441. К., Верден, А. Р., vi. 130.] и хотя иногда рассматривалась возможность сохранения *октруа*, или таможенных постов у городских ворот. Единообразие мер и весов также было желательным, но иногда об этом просили в полубезнадежном тоне, как будто столь значительных изменений вряд ли можно было ожидать. Было высказано пожелание, чтобы все ссуды под проценты не считались ростовщическими; это пожелание в некоторых случаях встретило сопротивление со стороны духовенства, которое придерживалось старых законов о ростовщичестве. Отмена монополий - это общий призыв; некоторые одиозные ограничения, такие как клеймо на коже и железе, осуждаются, но скорее как налоги, чем как торговые правила. По экономическим вопросам у нации нет определенных мнений, как нет и определенных партий. Свободная торговля и свободные производства приятны для слуха; но регулирование качества и защита от английской конкуренции могут быть весьма желательны. Сельское хозяйство требует больше рук, это первое, самое необходимое, самое благородное из искусств. Печи и литейные цеха используют древесину и делают топливо дорогим. Торговля должна быть совершенно свободной, но разносчики - это неудобство, они мешают владельцам обычных магазинов. Мануфактуры - источник богатства, но они опасны, если ими хорошо не управлять; ни одна из них не должна быть создана без согласия провинциальных властей. Если бы только наш король и "его августейшая спутница" носили только французские вещи и задавали моду на них, наши чахнувшие фабрики вскоре снова заработали бы.[Сноска: О ростовщичестве - Т., Agenois, А. Р., i. 690. Т., Comminges, А. Р., iii 27, Section 24. Сен-Жан-дез-Аньо, А. Р., iii. 65, раздел 4. К., Н. и Т., Доле, А. Р., iii. 152, раздел 14; 158, раздел 57; 165, раздел xiv. 6. Париж, Сент-Эташ, А. Р., v. 304, раздел 52. С., Soûle, v. 774, Section 17, etc. См. также N., Agenois, А. Р., i. 684, Section 7. Т., Paris, А. Р., v. 285, Sections 3, 4, and n.].

Некоторые требования кайеров вызывают удивление своей частой повторяемостью. Среди них - требование более строгого обращения с банкротами, которые в старой Франции могли

уклоняться от исполнения закона и даже укрываться в убежище. Некоторые из них доходят до того, что просят заставить осужденных за мошенничество носить на людях зеленый колпак, или выпороть их, или отправить на галеры на всю жизнь, или даже предать смерти[Сноска: Poncins, 285. *T.*, Пон-а-Муссон, *A. P.*, ii. 232, раздел 11. *H.*, Лилль, *A. P.*, iii. 531, раздел 54. *T.*, Лион, *A. P.*, iii. 613. *T.*, Mantes et Meulan, *A. P.*, iii. 672, Section ix. 2. *C.*, Лилль, *A. P.*, iii. 524, разделы 35, 37].

Все ордена просят пресечь попрошайничество. Обычно это требование сопровождается просьбой о каком-либо гуманном обеспечении бедных, иногда просьбой о принятии регулярного закона о бедных или даже о регулировании заработной платы. Жители прихода Пеккюз просят, чтобы постоянно велись общественные работы, где бедняки могли бы получать зарплату, рассчитанную по цене зерна; и, что еще более важно, Третье сословие Парижа обращается с аналогичной просьбой о создании общественных рабочих мастерских[Сноска: *A. P.*, v. 11, Sections 17, 18. *A. P.*, v. 287, Section 28.] Однако всеобщий крик о подавлении нищенства и форма, в которой он был произнесен, показывают, что попрошайничество считалось большим злом само по себе, независимо от того, были ли просителями монахи-подвижники или менее уполномоченные лица. Монахи-попрошайки, действительно, должны были быть либо упразднены, либо их содержание в собственных монастырях должно было быть предусмотрено в рамках общей корректировки церковных благодеяний.

Еще одна распространенная просьба - не портить письма в почтовом отделении. Все читатели, знакомые с историей, а особенно с дипломатической историей прошлого века, знают, насколько распространенной была практика вскрытия и снятия копий с политической корреспонденции. Письма Франклина и Сайласа Дина, а также многих менее известных личностей постоянно вскрывались на почте, как во Франции, так и в Англии. Постоянные послы были вынуждены прибегать к услугам носильщиков депеш; и даже они могли быть выслежены и ограблены агентами дружественных правительств, переодетыми в дорожную одежду. [Сноска: Шифры были в обиходе, и правительства нанимали дешифровщиков. Было достигнуто большое мастерство в открытии писем и их закрытии, чтобы не казалось, что их подделывали. "Это учреждение, если им правильно управлять, имеет свойство служить компасом для тех, кто держит бразды правления", - пишет, с изящным сочетанием метафор, один из тех, кто был клерком в почтовом отделении. Sorel, i. 77. *Факсимиле MSS. в европейских архивах, относящихся к Америке*, которые сейчас готовит к публикации Стивенс, содержат множество примеров подобной практики]. Но удивительно обнаружить, что зло зашло так далеко, что возбудило опасения частных лиц за сохранение той частной жизни, о которой все порядочные французы, с их сильным чувством святости семьи и большим страхом перед насмешками, особенно ревнивы[Сноска: *T.*, Agenois, *A. P.*, i. 690].

Опять же, частое повторение просьбы о сдерживании врачей-шарлатанов вызывает некоторое удивление. В стране остро ощущалась потребность в компетентных хирургах и акушерках, и для их обеспечения прибегали к помощи Генеральных штатов. Призывая к принятию законов о запрете шарлатанства и лотерей, народ просил защитить его от самого себя, несмотря на все экстравагантные теории о свободе человека[Сноска: Врачи-шарлатаны, *C.*, Nemours, *A. P.*, iv. 108, Section 31. Кормей-ан-Паризи, *A. P.*, iv. 463, раздел 17. *N.*, Труа, *A. P.*, vi. 79, раздел 80. *T.*, Шалон-сюр-Марн, *A. P.*, ii. 595, раздел 24].

Таковы были желания французской нации весной 1789 года. В них мы можем отметить несколько важных пунктов согласия. Во-первых, правление нации и короля вместе. Франция должна была оставаться монархией, не республикой, открытой или замаскированной, но

ограниченной, а не абсолютной монархией. В этом были согласны все, и король, как самим созывом Генеральных штатов, так и всем своим поведением, казалось, соглашался с этим.

Затем, желания нации включали в себя уменьшение привилегий высших сословий, а не полную их отмену. Как и все католики, французы желали оставить контроль над религиозными делами в основном в руках духовенства. Для дворянства все, кроме нескольких экстремистов, были готовы уступить многие привилегии, почести и преимущества.

Но, сохраняя правительство ограниченной монархии и умеренной аристократии, нация во всех своих ветвях определила, что государственные тяготы и общественные блага должны быть разделены более равномерно, чем когда-либо прежде. Пропорциональное равенство в налогообложении и возможность подняться - все это общинники хотели получить, а высшие порядки были готовы уступить.

Другое чувство разделяла вся Франция. Церковники, дворяне и простой народ одинаково боялись и ненавидели маленькое кольцо придворных. Они возвеличились на почве нации. В будущем их следует обуздать и по возможности заставить отказаться от своих незаконно нажитых доходов.

И все люди хотели административных реформ. Суды, армия, финансы должны были быть приведены в порядок и улучшены. Здесь все были согласны с целью, к которой стремились, а если и были большие разногласия по поводу методов, то партии еще не сформировались, и чувства по этим вопросам не были очень высокими.

В чем же заключались опасности, угрожавшие Франции? Их следовало искать в самом размахе предлагаемых изменений, изменений, которые не могли не взволновать и не встревожить всю Европу. Их следовало искать в противодействии знати, которая была готова отказаться от многого, но от нее требовали еще большего. Больше всего их следовало опасаться в монархе, который был настолько слаб, а администрация настолько несовершенна, что первая же попытка реформ могла полностью их уничтожить.

\* \* \* \* \*

## ГЛАВА XXIII.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Франция превратилась в деспотию, пытаясь вырваться из средневековой анархии. От своих королей она требовала безопасности от внешних врагов и хорошего правления внутри страны. Первое они ей дали. Ни одну страну в Европе не уважали и не боялись больше. Несмотря на случайные и временные неудачи, ее границы расширялись из царствования в царствование, а по ее полям на протяжении почти трех столетий редко ступала нога иностранной армии.

Внутри страны дом Капет добился частичного успеха. Он подавил вооруженную оппозицию, лишил власти феодальное дворянство, обеспечил сносные условия для защиты от насильственных преступлений. Но на этом его рвение ослабло. Цивилизация стремительно развивалась, а внутреннее правительство Франции не успевало за ней.

Такое более успешное выполнение внешних, чем внутренних задач, почти неизбежно для деспотии. Защитить свою страну и приумножить ее - очевидный долг и естественное стремление деспота. Его достоинство обеспокоено; его гордости льстит успех; и то, преуспел он или потерпел неудачу, очевидно как для него самого, так и для всех остальных.

Контролировать и улучшать внутреннюю администрацию - тяжелый и неблагодарный труд, в котором непременно случаются ошибки; и самая великая и верная реформа, когда она будет проведена, нанесет вред и вызовет недовольство некоторых людей. Самые благотворные улучшения иногда связаны с наибольшими затратами и наименьшей репутацией.

Более того, не люди, окружающие королей, получают основную выгоду от хорошего управления страной. Придворные, скорее всего, будут заинтересованы в злоупотреблениях, а в отсутствие свободной прессы придворные - это публика монархов. Если сравнить средства, которыми располагал Людовик XVI для выяснения истинного положения дел в своей стране, с теми, которыми располагают государи наших дней, император Германии или Австрии, или даже русский царь, то окажется, что королю Франции было гораздо хуже, чем им. Во Франции не существовало бесспорных национальных счетов или статистики. Ни в одной стране не было серьезной периодической прессы, следящей за событиями и собирающей факты. Не было газет, пытающихся одновременно направлять общественное мнение и быть направляемыми им. Правда, сатирики были повсюду, с их эпиграммами и песнями; но кто может формировать политику, слушая насмешки сплететиков?

Таким образом, абсолютная монархия, хотя и защищала французскую нацию, не смогла обеспечить ей разумное и цивилизованное правительство, на которое она считала себя вправе рассчитывать. Частично она терпела неудачу из-за недостатка информации, но в значительной степени и из-за недостатка воли. Короли шестнадцатого и семнадцатого веков подавляли власть дворянства и парламентов; короли восемнадцатого века дрогнули перед влиянием тех самых органов, которые были побеждены их предками. Напрасно пытаться исключить из истории личный элемент. Франция в 1789 году была бы совсем другой страной, чем она была, если бы Людовик XV и Людовик XVI были сильными и способными людьми. Воспитание принца не обязательно приводит к упадку сил. Возможно, самый распространенный порок деспотов - это своеволие; но последний абсолютный король Франции мог бы познать гораздо более счастливую судьбу, если бы у него было немного больше этого.

Французское правительство не было аристократическим. В стране не было ни одного сословия, за исключением духовенства, которое имело бы привычку пользоваться важными политическими правами. Но дворянство включало в себя всех тех людей и все те семьи, которые были подготовлены для того, чтобы занимать высокие административные посты. Государственные секретари, судьи высших судов, офицеры в армии были дворянами. В орден входила также значительная часть образованных людей и обладателей значительной части богатств страны. Таким образом, это была настоящая власть, которую вполне можно считать таковой. Более того, в народе считалось, что она обладает политическими правами, хотя на самом деле они были в основном устаревшими. Если бы дворянству хотя бы на время был придан вес, результат, вероятно, был бы благоприятным для национального порядка и процветания.

Правительство, чтобы быть стабильным, должно представлять истинные силы государства. В стране, где все люди одной расы и где значительная часть населения обладает некоторой собственностью и образованием, при управлении государством следует отдавать предпочтение численности; по той простой причине, что в такой стране многие люди сильнее немногих и могут предпочесть использовать свою силу, нежели чтобы ими управляли немногие. То, чего желает большинство народа, оно может привести в исполнение. В интересах мира и для прекращения споров часто соглашаются, что решение небольшого большинства должно считаться решенным для всех. На этом соглашении зиждется легитимность демократии. Компромисс сам по себе произвольный, но разумный и

здравый; и в нации, обладающей большим количеством практического здравого смысла, может возникнуть чувство лояльности. Но каким бы разумным и практичным он ни был, в конечном счете он остается компромиссом. Нет никакого божественного права у половины избирателей плюс один. Может быть принята и часто принимается другая пропорция; или же может быть найден совершенно иной компромисс, более соответствующий национальной воле.

В старой Франции условия, необходимые для демократического правления, были выполнены лишь частично. Население было достаточно однородным. Собственность и образование были более или менее распространены. Но политический опыт был невелик, а демократический компромисс, чтобы быть успешным, требует многого. Справедливо считалось, что не было должного внимания к желаниям более многочисленной части жителей страны; что несколько человек имели привилегии, далеко выходящие за рамки их общественных заслуг или истинных полномочий; но как можно было исправить такое положение вещей? Какие новые отношения должны были прийти на смену старым? Никакого компромисса не было достигнуто, и идея прав большинства с ограничениями, которым эти права подлежат, не была четко определена в сознании людей.

Правительство должно отражать чувство долга страны. Все люди верят, что можно представить себе нечто лучшее, чем то, что существует, и что это лучшее может быть достигнуто, если только люди будут действовать так, как им надлежит. Большинство мужчин стремятся в какой-то мере улучшить свое состояние и поведение. Каждый человек, по крайней мере, верит, что другие должны поступать так же. Но, принимая законы, люди пытаются регулировать поведение других, и поэтому хотят, чтобы законы были немного ближе к их идеалам, чем их собственная практика. Все здравомыслящие люди считают, что должны подчиняться законам и что если они страдают из-за того, что не делают этого, то их страдания праведны. Это мнение - одна из тех сил в мире, которые способствуют добру.

Итак, какие качества французы 1789 года считали действительно нравственными и желательными и насколько правительство Бурбонов стремилось к ним? Долг, который первой признала вся страна, - это патриотизм. Любовь к Франции никогда не остывала в сердцах французов. Нет нужды настаивать на этом, ибо никто, кто когда-либо встречал француза, достойного этого имени, или читал хоть одну ценную французскую книгу, не может в этом усомниться. Патриотизм, со всеми его благородными и мелкими проявлениями, является французской добродетелью.

При королях Франции его чаяния были удовлетворены. Страна была великой и славной.

То, что верность считалась долгом, возможно, не столь общепризнанно, но я думаю, что в этой книге написано достаточно, чтобы показать это. Свидетельства газет в основном на этой стороне. Большинство французов верили, что король должен управлять, и что у них был хороший и благонамеренный король. По отношению к нему их сердца были еще теплыми, а чувство долга - живым. Его вводили в заблуждение, мешали ему, отменяли его действия эгоистичные и корыстные придворные. Если бы он только мог добиться своего, все было бы хорошо. Лишь у немногих людей хватало глаз, чтобы понять, что они поклоняются чучелу. Ими действительно мог руководить человек в этой одежде.

Следующими среди идеалов Франции, которые во многих душах стояли гораздо выше верности, были свобода и равенство. Они были не очень понятны. Под свободой подразумевалась, главным образом, доля политической власти; немногие французы верили тогда и верили до сих пор, что каждый человек может делать то, что кажется ему хорошим. Такая теория свободы не очень-то прижилась в столь общительной расе, как их; да и людям,

привыкшим к жесткой системе континентальной полиции, такая необузданная свобода не кажется совместимой с цивилизацией. Равенство прав было идеалом, но большинство людей во Франции не были готовы требовать его полного осуществления. Равенство собственности и пользования многие, особенно те, кто считал себя философами, - люди, читавшие Руссо или Монтескье, - считали желательным; но ни у кого не было даже самого отдаленного намерения попытаться добиться такого положения вещей в мире, где царит рабочий день. Коммунистические схемы не были совсем неизвестны в восемнадцатом веке, но они принадлежат девятнадцатому. [Сноска: О коммунизме восемнадцатого века см. любопытное эссе Морелли].

С общим ростом комфорта, с общей надеждой на улучшение мира, *человечность*, ненависть к тому, чтобы видеть, как страдают другие, начала одерживать верх. На протяжении многих веков люди верили, что на самом деле следует думать о другой жизни, а не об этой. Добросердечные люди пытались привлечь души на небеса, суровые - загнать их туда. Эти усилия поглощали энергию и энтузиазм огромной части тех людей, которые были готовы думать о чем-либо, кроме своих собственных забот. Но в восемнадцатом веке небеса были затуманены. Взоры людей были прикованы к земле обетованной, которая находилась ближе к их собственному уровню. Этот мир, который, как было известно на собственном опыте, слишком часто становился долиной слез, вскоре, очень скоро, благодаря действию модной философии, должен был превратиться в нечто подобное раю. Чтобы добиться столь желанного состояния вещей, слезы должны быть остановлены в самом их источнике. Но и это было еще не все. Мир приобрел новый интерес. Он был способен к улучшению. Надежда на мирские дела привела к Вере, Вере в прогресс и счастье здесь, внизу. Новое направление, заданное Вере и Надежде, сопровождалось Благотворительностью. Задача облегчения человеческой боли была справедливо решена. О болезнях и безумии стали лучше заботиться; пытки были отменены, наказания смягчены. В этих вопросах правительство скорее следовало за народными чаяниями, чем вело их за собой. В своей общей неэффективности оно отставало от благих намерений народа.

Добродетели, к которым правительство старой Франции пыталось привести французский народ, как мы видели, были не совсем теми, к которым вела национальная совесть. Правительство отстаивало верность и гуманность, и народ соглашался с ним; правительство отстаивало централизованный деспотизм и привилегии, а народная совесть призывала к свободе и равенству. В области религии были как согласия, так и расхождения. Страна, несмотря на Вольтера и энциклопедистов, считала себя ревностной католичкой; но ее идеал католицизма был реформированным и возрожденным, а тот, который поддерживало правительство, был коррумпированным и безжизненным в высших эшелонах власти. Стране нужны были провинциальные советы, епископы-резиденты, очищенная церковь.

И в той мере, в какой идеалы правительства расходились с идеалами народа, монархия не представляла собой нечто более благородное и высокое, чем моральные силы, которые на нее нападали. Французский народ на самом деле был лучше, чем его правительство, честнее и великодушнее. Сельские священники были более самоотверженными, чем епископы, которые ими управляли; бедные дворяне были более общественно активными и более нравственными, чем привилегированная придворная знать; граждане Третьего сословия вели свои частные дела более благородно, чем администрация вела дела страны.

Если стабильность и легитимность правительства зависят от его соответствия реальным силам нации и национальному сознанию, то функции правительства включают в себя нечто более труднодостижимое, чем это соглашение. Ни одна суверенная власть, будь то самодержец на своем троне или нация в своих советах, не может напрямую проводить

политику, которую она хочет принять. Государь должен действовать через агентов, и от правильного выбора которых во многом зависит успех его начинаний. Юристы должны разрабатывать законы, судьи - толковать их, офицеры - добиваться повиновения. Генералы, командуя солдатами, должны защищать землю. Инженеры должны строить крепости и дороги; морские архитекторы - разрабатывать планы для практических кораблестроителей. Финансисты должны разрабатывать схемы налогообложения, которые должны быть представлены государю; сборщики различных видов должны взимать налоги с народа. Все они должны быть экспертами, обученными для выполнения своей особой работы. Выбор экспертов, таким образом, является одной из важнейших функций правительства.

В этом отношении администрация короля Людовика XVI и его непосредственного предшественника была обычно, хотя и не единообразно, плоха. Армия и флот, до последних лет дезорганизации, были достаточно эффективными, в частности, морские инженеры были лучшими в мире на тот момент. Гражданское и уголовное законодательство было хаотичным, скорее из-за недостатков законодательства, чем администрации. Старые привилегии и аномалии поддерживались правительством, но из них вырастали хорошие юристы и судьи. Вряд ли можно назвать некомпетентными тех юристов, в школе которых учились создатели Кодекса Наполеона, образца современной Европы. Внутренний порядок и полиция поддерживались с тщательностью, поразительной в эпоху, когда обладание хорошей лошастью ставило разбойника почти вровень с офицером. Самыми худшими специалистами, которых использовало правительство, были те, кто был связан с налогообложением и расходами, от контролера финансов до последнего клерка в акцизной палате. Схемы большинства из них были ошибочными, их действия слишком часто были нечестными. Они так и не овладели искусством ведения точных счетов.

Состояние народа Франции, как в Париже, так и в провинциях, было гораздо менее плохим, чем его часто представляют. Из предыдущих глав должно было сложиться впечатление о великой, процветающей, современной стране. Лицо Европы изменилось с 1789 года скорее благодаря огромному количеству и разнообразию механических изобретений, которыми ознаменовался девятнадцатый век, чем благодаря соответствующему росту умственного или нравственного развития. В то время как производство и богатство продвинулись далеко вперед, образование сделало несколько неуверенных шагов вперед. Вероятно, возросла денежная честность, поскольку честность и промышленность - добродетели, которым особенно способствуют торговля и производство. Фанатизм, нежелание допускать в других мысли и язык, неприятные для нас самих, стал менее злобным, но не исчез. Он проявляется как со стороны церкви, так и со стороны ее врагов. Однако тон полемики смягчился даже во Франции. Все меньше вольтеровских насмешек, все меньше епископальных анафем. Гуманность растет; богатые и преуспевающие люди становятся более внимательными к окружающим их страданиям. Но больше всего поражает материальный прогресс. Бедные живут лучше, чем сто лет назад, да и богатые тоже. Минимум, требуемый обычаями для достойного обеспечения жизни, увеличился. Получающие зарплату люди лучше обеспечены жильем, питанием и одеждой в обмен на меньшее количество часов труда. Во Франции, как и во всем мире, гораздо больше вещей, которые нужно делить, и в целом они разделены более равномерно.

Если мы сравним Францию 1789 года не с Францией 1892 года, а с другими странами континентальной Европы, какими они были в дни, предшествовавшие Великой революции, то обнаружим, что она управлялась хуже, чем некоторые из них. Управление Пруссией, пока на троне сидел великий король Фридрих, было, пожалуй, лучше, чем во Франции. После его смерти оно быстро пошло на спад, пока ряд поражений не был заслужен неправильным

управлением в Берлине. В некоторых небольших государствах, таких как Голландия, швейцарские кантоны или Тоскана, граждане управлялись, возможно, лучше, чем во Франции. Но в целом жизнь и имущество, похоже, были в меньшей безопасности за французской границей, чем в ее пределах. Малый деспотизм, когда он плох, является более поисковым и вмешивающимся, чем большой. Сеньоры Франции порой были достаточно тираничны, но над ними всегда существовали суды, а также королевский суд, и взывать к справедливости, хотя и сомнительной, все же можно было с надеждой на успех.

Интеллектуальное лидерство Франции в Европе было очень четко обозначено при Людовике XV. Французский язык был, несомненно, языком хорошо воспитанных и остроумных людей, а также любимым языком ученых на всем континенте. Репутация Вольтера, Дидро, д'Алембера и Руссо была явно европейской. Фридрих Прусский с удовольствием составлял свою академию в Берлине из второсортных французских литераторов и делал собственные попытки отличиться в литературе на французском языке. Мелкие немецкие князья строили свои дворы по образцу версальских, разорялись на дворцы и сады, которые были отдаленными копиями дворцов и садов этого знаменитого пригорода. Этот дух сохранялся вплоть до 1789 года, хотя шедеврам Лессинга было уже двадцать лет, а шедевры Гете и Шиллера только начали появляться.

Но в то время как Франция была великой, процветающей и развивающейся и служила примером для своих соседей, она была глубоко недовольна. Положение других стран было менее благополучным, чем ее, но сознание людей этих стран не поднималось над их состоянием. Франция осознала, что ее правительство не соответствует уровню ее цивилизации. Этот факт был подчеркнут в национальном сознании посредственностью Людовика XV как государя и полной некомпетентностью его благонамеренного преемника. В столь слабых руках малейшее превышение расходов над доходами было важным симптомом слабости, и на протяжении многих лет дефицит фактически увеличивался. Финансовая ситуация давала нации повод для нападок на свое правительство; она была не причиной революции, а ее поводом. Все механизмы государства нуждались в ревизии, ремонте или обновлении. Люди взялись за дело с доброй волей и самым горячим интересом. Но они были совершенно лишены опыта. Они знали и верили, что старые формы должны соблюдаться в той мере, в какой они могут быть совместимы с новыми условиями; они думали, что необходимые улучшения настолько очевидны, что для их признания не требуется ничего, кроме справедливости. В своем невежестве относительно работы народных собраний они полагали, что они наделены мудростью и добродетелью, превосходящими мудрость и добродетель отдельных лиц, входящих в их состав.

Такое заблуждение вряд ли может прийти в голову тому, кто имеет опыт участия в общественных собраниях; но среди двенадцатисот депутатов Генерального собрания и среди их избирателей по всей Франции никто не имел такого опыта. Сто сорок нотаблей в 1787 и 1788 годах обсуждали государственные вопросы; но их работа проходила в основном в комитетах, и их выводы не имели обязательной силы для кого бы то ни было, их функции носили лишь рекомендательный характер. Многие делегаты были членами провинциальных собраний или провинциальных союзов; но в большинстве провинций они собирались всего несколько раз, и их полномочия были весьма ограниченными. Такие собрания могли принести некоторую пользу и были тщательно ограждены от причинения большого вреда. В качестве подготовки к членству в органе, который должен был обсуждать всевозможные вопросы и обладать почти абсолютной властью, опыт работы в нотаблях или в провинциальных собраниях и сословиях, хотя и был ценен, но недостаточен, и сравнительно немногие из членов имели даже такой опыт. Не помогал и иностранный пример. Ни один

великий ученый не опубликовал на французском языке исследование парламентской истории Англии, и французы не были готовы извлечь пользу из английского опыта. Каждый человек рассчитывал получить абсолютное право в соответствии со своими собственными представлениями.

Общественный орган, хотя и менее мудрый, чем лучшие из его членов, имеет одно большое преимущество перед физическим лицом, и опыт научил нации, добившиеся успеха в самоуправлении, извлекать выгоду из этого преимущества. Общественный орган может быть настолько связан своими правилами, что может действовать медленно. Таким образом, горячее желание сегодняшнего дня может быть сдержано прохладным размышлением завтрашнего. С этой целью в большинстве парламентов и конгрессов предусмотрены три чтения законопроектов и другие способы затягивания. Но когда речь идет о серьезных конституционных изменениях, таких мер недостаточно. Большие изменения должны вводиться по одному, отдельно обсуждаться и обсуждаться. В ходе этого процесса должны проводиться повторные выборы, должно быть выделено много времени и соблюдено множество утомительных форм. При таких обстоятельствах законодательное собрание может быть не мудрее обычного человека, но как часто обычный человек совершает глупости, если ему требуется несколько лет на обдумывание?

Французская ассамблея не нашла и не смогла найти время и принять необходимые меры предосторожности. Страна кипела и бурлила. Депутаты были честны и патриотичны. Как правило, это были люди с местной репутацией, выдвинувшиеся благодаря политической агитации и активности на выборах. Вероятно, доля жестоких людей среди них была больше, чем в народе, так как они были избраны в период волнения, когда насилие в мыслях и языке было популярно; тем не менее в собрание входило также большинство действительно выдающихся людей Франции. Не хватало не природных способностей, а опыта, спокойствия и терпения.

В задачу этой книги не входит проследить за их великим начинанием. Они сделали для Франции много хорошего; они подготовили почву для многого плохого. Достаточно, если здесь будет изложено состояние страны до начала Великой революции.

## УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ.

АЛЕМБЕРТ, д'. Oeuvres. 18 vols. Paris, 1805.

ALLONVILLE, Cte d'. Mémoires secrets de 1770 a 1830. 6 vols. Paris, 1838-45.

AMBERT, *La Calotte*. Un regiment peu connu. B Moniteur Universel, 25-30 ноября 1864 года.

ANCIENNES LOIS FRANÇAISES, Recueil général des. Depuis l'an 420 jusqu'à la revolution de 1789. 30 vols. Paris, 1821-33.

ARCHIVES PARLEMENTAIRES de 1787 a 1860. Recueil complet de débats législatifs et politiques des chambres françaises imprimé par ordre du Sénat et de la Chambre des Deputés sous la direction de M. J. Mavidal et de M. E. Laurent. 1<sup>ière</sup> Série; tome 1-37, 1787-92. 2<sup>de</sup> Série; tome 1-81, 1800-33. 119 томов. Paris, 1862-91.

АРЖЕНСОН, маркиз д'. Journal et Mémoires. 9 vols. Paris, 1859-67.

BABEAU, *Albert*. Les artisans et les domestiques d'autrefois. Paris, 1886.

--- Les Bourgeois d'autrefois. Париж, 1886.

---Деревенская школа в эпоху революции. Париж, 1881.

---Paris en 1789. Париж, 1890.

---La vie militaire sous l'ancien régime. 2 vols. Paris, 1890.

---La vie rurale dans l'ancienne France. Paris, 1883.

---Le village sous l'ancien regime. Париж, 1878.

---La ville sous l'ancien régime. Париж, 1880.

(BACHAUMONT.) Mémoires secrets pour servir a l'histoire de la république des lettres en France, 1762-88. 33 vols. Londres (Paris) 1784-88.

Бэкон, *Фрэнсис*. Сочинения. Ed. Spedding, Ellis, and Heath. 7 vols. London, 1857-59.

BAILLY, A. Histoire financiere de la France. 2 vols. Paris, 1830.

BARBIER. Chronique de la regence et du règne de Louis XV. (1718-63) ou Journal de. 8 vols. Paris, 1857.

BARRERE, *B*. Mémoires. Publies par H. Carnot et E. David (d'Angers) 4 vols. Paris, 1842.

BARTHELEMY, *Ch*. Erreurs et mensonges historiques. 15 vols. Paris, 1863-82.

BASTARD-D'ESTANG, *Vicomte de*. Les Parlements de France. 2 vols. Paris, 1857.

BAYLE, *Pierre*. Oeuvres diverses. 4 vols. A la Haye, 1725-31.

BEAUMARCHAIS. Oeuvres completes. 6 vols. Paris, 1826.

БЕККАРИЯ. Эссе о преступлениях и наказаниях. Лондон, 1770.

БЕНЖЕКО, *Жорж*. Voltaire, -Bibliographie de ses Oeuvres, 4 vols. Paris, 1882-90.

BERTRAND DE MOLEVILLE, *A. F*. Histoire de la révolution de France, pendant les dernières années du règne de Louis XVI. 14 vols. Paris, 1801-1803.

--- Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI. 2 vols. Paris, 1816.

БЕЗЕНВАЛЬ, *барон де*. Mémoires. 2 vols. Paris, 1821. В "Собрании мемуаров, относящихся к французской революции" М.М. Berville et Barrière. Vols. 6 и 7.

BEUGNOT, *Cte. Альберт*. Mémoires. 2 vols. Paris, 1866.

КОММЕНТАРИИ БЛЭКСТОУНА. 4 vols. Philadelphia, 1803.

BOIS-GUILLEBERT. Le détail de la France, 1695. In Archives curieuses de l'histoire de France depuis Louis XI. jusqu'a Louis XVIII. 27 vols. Paris, 1834-40. Том 12.

BRISSOT DE WARVILLE. Mémoires sur les contemporains et la Révolution française. 4 vols. Paris, 1830-32.

BROC, *Vte. de*. La France sous l'ancien régime. 2 vols. Paris, 1887-89.

BOITEAU, *Paul*. État de la France en 1789. Париж, 1861.

BOS, *Émile*. Les avocats au conseil du roi. Париж, 1881.

(BURKE, *Edmund*.) Observations on a late State of the Nation. Лондон, 1769.

CAMPAN, *Mme*. Mémoires sur la vie privée de Marie Antoinette. 3 vols. Paris, 1822. В "Собрании мемуаров, относящихся к французской революции" MM. Berville et Barriere. Vols. 10-12.

КАРНЭ, кн. *Луи*. La monarchie française au dix-huitième siècle. Paris, 1859.

CHABAUD-ARNAULT, *C*. Histoire des flottes maritimes. Париж и Нанси, 1889.

CHARNOCK, *John*. История морской архитектуры. 3 vols. London, 1800-2.

CHASSIN, *Ch. L*. Les cahiers des curés. Paris, 1882.

(CHASTELLUX.) De la felicité publique ou considerations sur le sort des hommes dans les differentes époques de l'histoire. 2 vols. Amsterdam, 1772.

CHATELAIN, *Le docteur*. La folie de J. J. Rousseau. Paris, 1890.

CHEREST, *Aime*. La chute de l'ancien régime (1787-1789). 3 vols Paris, 1884-86.

CHEVALIER, *E*. Histoire de la marine française pendant la guerre de l'indépendance americaine. Paris, 1877.

CLAMAGERAN, *J. J*. Histoire de l'impôt en France. 3 vols. Paris, 1867-76.

(COGNEL) La vie parisienne sous Louis XVI. Paris, 1882.

КОЛЛЬЕР, сэр *Джордж*. Франция накануне Великой революции. Франция, Голландия и Нидерланды столетие назад. Лондон, 1865.

КОНДОРСЕТ. Oeuvres. 12 vols. Paris, 1847-49.

CONSTITUTIONS des Treize États-Unis de l'Amérique. À Philadelphie et se trouve a Paris. 1783.

(CONSTITUTIONS.) Recueil des loix constitutives des colonies anglaises confederées sous la dénomination d'États-Unis de l'Amérique septentrionale. À Philadelphie, et se vend a Paris, 1778.

COQUEREL, *Athanase, Fils*. Les Forçats pour la foi. Paris, 1866.

DARESTE, C. Histoire de France. 8 томов. Paris, 1865-73.

DESJARDINS, *Albert*. Les cahiers des États Généraux en 1789 et la législation criminelle. Париж, 1883.

DESMAZE, *Charles*. Les penalités anciennes. Supplices, prisons et grace en France. Paris, 1866.

DESNOIRESTERRES, *Gustave*. La jeunesse de Voltaire. Paris, 1867.

--- Voltaire au château de Ciry. Paris, 1868.

---Voltaire et J. J. Rousseau. Париж, 1874.

DIDEROT. Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de 1759 a 1780. 4 vols. Paris, 1830-31.

--Oeuvres. 21 vols. Paris, 1821.

DROZ, *Joseph*. История правления Людовика XVI в те годы, когда можно было предотвратить или возглавить Французскую революцию. 3 vols. Paris, 1860.

ДЮ БОЙС, *Альберт*. Histoire du droit criminel de la France, depuis le XVI. jusqu'au XIX siècle, comparé avec celui de l'Italie, de l'Allemagne, et de l'Angleterre. 2 vols. Paris, 1874.

DUFORT, *J. N., Cte. de Cheverny*. Mémoires sur les règnes de Louis XV. и Людовика XVI. и о революции. 2 тома. 1886.

DUMOURIEZ. La vie du général. 3 тома. Гамбург, 1795.

ENCYCLOPÉDIE ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers, par une societe de gens de lettres. 35 vols. Paris, 1751-80. См. p. 254 n.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК. 159 томов и 43 тома пластин. Париж, 1782-1830.

Фелис, Ж. де. История протестантов Франции. Перевод Филипа Эдуарда Барнса. Лондон, 1853.

ФЕНЕЛОН. Oeuvres complètes. 10 vols. Paris, 1851-52.

FERSEN, *Le Cte. de*, et la cour de France. 2 vols. Paris, 1877-78.

FOURNEL, *Victor*. Les rues du vieux Paris. Paris, 1879.

FRANKLIN, *Alfred*. La vie privée d'autrefois. L'hygiène. Париж, 1890 г.

--- La vie privée d'autrefois. Les soins de toilette. Париж, 1887.

ФРАНКЛИН, *Бенджамин*, Полное собрание сочинений. Edited by John Bigelow. 10 vols. New York and London, 1887-88.

FRÉRON, *Les confessions de*. (1719-1776.) Recueillies et annotés par Ch. Barthélémy. Paris, 1876.

GEFFROY, G. A. Gustave III. et la cour de France. 2 vols. Paris, 1867.

GENLIS, *Ctesse de*. Dictionnaire critiqué et raisonné des Étiquettes de la Cour. 2 vols. Paris, 1818.

GOMEL, *Charles*. Les causes financières de la révolution française. Les ministères de Turgot et de Necker. Paris, 1892.

GROSSE, *L'Abbé E.* Dictionnaire d'antiphilosophisme, ou réfutation des erreurs du 18e siècle d'après Nonnotte et Chaudon. Paris, 1856. В "Теологической энциклопедии", т. 18.

(Гренвилль, *Джордж*.) Современное состояние нации; особенно в отношении ее торговли, финансов и т. д. и т. п. Лондон, 1769.

ГРИММ, ДИДЕРОТ *и др.* Correspondance litteraire, philosophique, et critique. 16 vols. Paris, 1777-82.

HELVETIUS. Oeuvres complètes. 5 vols. Paris, 1795.

HIPPEAU, *C.* Les élections de 1789 en Normandie. Paris, 1869.

HOBBES, *Thomas*. Левиафан, или Материя, форма и власть Commonwealth Ecclesiastical and Civil. Лондон, 1651.

(HOLBACH.) Système de la nature, par M. Mirabaud. 2 vols. Londres (Париж), 1770.

ХУКЕР, *Ричард*. Works. 3 vols. Oxford, 1841.

HORN, *J. E.* L'économie politique avant les Physiocrates. Paris, 1867.

HOWARD, *John*. An Account of the Principal Lazzarettos of Europe. Уоррингтон, 1789.

---The State of the Prisons in England and Wales; with... an account of some foreign prisons and hospitals. Уоррингтон, 1784.

JULLIANY, *Jules*. Essai sur le commerce de Marseille. 3 vols. Марсель и Париж, 1842.

LA BRUYÈRE. Oeuvres. 4 vols. Paris, 1865-78.

LAFAYETTE, *Le général*. Mémoires. 2 vols. Brussels, 1837-39.

LAFAYETTE, Vie de Mme de, par Mme de Lasteyrie, sa fille, précédée d'une notice sur la vie de sa mere, Mme la Duchesse d'Ayen, 1737-1807. Париж, 1869.

LAFERRIÈRE. Histoire du droit français. 2 тома. 1838.

LAHARPE, *Jean-Francois*. Correspondance litteraire adressée a son altesse imperiale, Mgr. le Grand-Duc aujourd'hui Empereur de Russie, etc. 4 vols. Paris, 1804.

LAMETH, *Alex.* Histoire de l'assemblée constituante. 2 vols.  
Paris, 1828-29.

LANFREY, *P.* L'Église et les Philosophes au 18 siècle. Paris, 1879.

LAROUSSE, *Pierre.* Grand dictionnaire universel du XIX siècle, 15 и 2 тома. Paris, 1866-90.

ЛОЗУН, *герцог де.* Mémoires. Париж, 1862. В Barrière, Bibliothèque des mémoires relatifs a l'histoire de France pendant le 18e siècle. Том 25.

LAVERGNE, *Leonce de.* Les assemblées provinciales sous Louis XVI.  
Paris, 1864.

---Les économistes français du 18e siècle. Париж, 1870.

LEA, *Henry C.* Superstition and Force. Филадельфия, 1878.

LEFRANC DE POMPIGNAN, *Jean Georges.* Oeuvres complètes. 2 vols.  
Paris, 1855.

LEMOINE, *Alfred.* Les derniers fermiers généraux 1774, 1793.  
Paris, 1872. (Опубликовано в небольшом томе вместе с Клеманом М. де  
Силуэтом и Буре).

LESTOILE, *Pierre de.* Дополнение к реестру-журналу правления Анри IV. В *Michaud and Poujolat*, Nouvelle collection de mémoires relatifs a l'histoire le France. 34 vols. Paris, 1854. Том 15.

LEVASSEUR, *E.* Histoire des classes ouvrières en France. 2 тома.  
Paris, 1859.

ЛОКК, *Джон.* Works. 10 vols. London, 1823.

LOMENIE, *Louis de.* Beaumarchais et son temps. 2 vols. Paris, 1856.

LOWELL, *A. Lawrence.* Essays on Government. Boston and New York, 1889.

LUCAY, *Vicomte de.* Les assemblées provinciales sous Louis XVI. et les divisions administratives de 1789. Париж, 1871.

---Des origines du pouvoir ministériel en France.---Les secrétaires d'état depuis leur institution jusqu'à la mort de Louis XV. Paris, 1881.

Макиавелли, *Никколо,* Исторические, политические и дипломатические сочинения  
Writings of. Перевод Кристиана Э. Детмольда. 4 vols. Boston, 1882.

МАРМОНТЕЛЬ. Oeuvres posthumes. Mémoires. 4 vols. Paris, 1804.

MARTENS, *Geo. Fred. de.* Recueil de traités, etc., depuis 1761 jusqu'à présent. 2d ed., 8 vols.  
Göttingen, 1817-35.

МАРТЕН, *Анри*. Histoire de France. 16 томов. Paris, 1855-60.

MATHIEU, *L'abbé D.* L'ancien régime dans la province de Lorraine et Barrois. Paris, 1879.

MERCIER, *Louis Sébastien*. Tableau de Paris. 12 vols. Амстердам (Париж?), 1782-88.

MERCY-ARGENTEAU, *Cte de*. Marie Antoinette.-Correspondance secrète entre Marie-Therèse et le Cte de M. A., avec les lettres de Marie Therèse et de Marie Antoinette. Под редакцией Д'Арнета и Геффрюа. 3 тома. Paris, 1874.

МИОТ ДЕ МЕЛИТО, *Кте де*. Mémoires. 3 vols. Paris, 1858.

МИРАБЁ, *маркиз де*, "Любовник людей", "Трактат о народонаселении". Population. Paris, 1883.

MONIN, *H.* L'État de Paris en 1789. Paris, 1889.

MONITEUR UNIVERSEL du soir. Официальный журнал Французской империи.

MONTAGU, *Anne-Paule-Dominique de Noailles, Marquise de*. Париж, 1866.

MONTAIGNE, Les Essais. 4 vols. Париж, 1873-75.

MONTBAREY, *Prince de*. Mémoires. 2 тома. Paris, 1826.

MONTESQUIEU. Oeuvres complètes. Notes par Edouard Laboulaye. 7 vols. Paris, 1875-79.

Мур, *Джон, М. Д.* Взгляд на общество и нравы во Франции, Швейцарии и Германии. 2 vols. London, 1783.

MORELLET, *L'Abbé*. Mémoires inedit. 2 vols. Paris, 1822.

MORELLY. Code de la nature, ou le véritable Esprit des Loix, de tout temps negligé, ou meconnu. Опубликовано Дидро в т. ii. его Сочинений, изд. London (Paris), 1773.

МОРЛИ, *Джон*. Diderot and the Encyclopaedists. 2 vols. London, 1878.

--- Rousseau. 2 vols. London, 1873.

---Вольтер. New York, 1872.

МОРТОН, *Натаниэль*. Мемориал Новой Англии. Бостон, 1826.

MUIRHEAD, *Lockhart*. Дневники путешествий по части австрийских Низких стран, Франции, Во и Тоскане в 1787 и 1789 годах. London, 1803.

(MUSSET-PATHAY.) Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau. 2 vols. Paris, 1822.

HEKKER, *Jak*. De l'administration des finances de la France.  
3 vols. n. p. 1784.

---Compte rendu au roi au mois de Janvier, 1781. Paris, 1781.

---Mémoire de M. Necker au roi sur l'établissement des administrations provinciales. n. p. 1785.

NISARD, *Charles*. Les ennemis de Voltaire. Paris, 1853.

(NOTABLES.) Histoire du gouvernement français depuis l'Assemblée des Notables, состоявшейся 22 февраля 1787 года, и до конца декабря того же года. même année; suivie de l'action de l'opinion sur les gouvernemens, a Londres. (Paris), 1789.

NOUVELLE BIOGRAPHIE UNIVERSELLE (*generale*). Под редакцией Хоффера. 46 томов. Paris, 1852-66.

OLIVIER, *Edouard*. La France avant et pendant la Révolution.  
Париж, 1889.

PALISSOT DE MONTENOY. Les Philosophes: comédie. Париж, 1760.

(Памфлеты 1788 и 1789 гг.) Avis au public et principalement au Tiers-État, de la part du Commandant du Château des îles de Sainte-Marguerite, et du médecin, et du chirurgien, etc., du meme lieu. Du 10 Novembre, 1788. Продаётся на островах Святой Маргариты; и распространяется бесплатно в Париже.

--- Bien-né. Новеллы и анекдоты. Apologie de la Flatterie. Париж, 1788 г.

---Ce qu'on a sûrement oublié. 1789.

---Credo du Tiers-État, ou Symbole politico-moral. À l'usage de tous les amis de l'État et de l'Humanité. 1789.

--- Diogène aux États Généraux. Продаётся у Диогена в тоннеле.

---Discours sur les États Généraux, par M. de la Boissière, Conseiller, Avocat Général au Parlement du Dauphiné. 1789.

---Lettre d'un gentilhomme bourguignon à un gentilhomme bréton, sur l'attaque du Tiers-État, la division de la Noblesse et l'interêt des Cultivateurs. 1789.

---Письмо одного пайсана, адресованное господам сенсеям дю Каво, в Palais-Royal. (1789.)

---Le Magnificat du Tiers-État, Tel qu'on doit le chanter le 26 Avril aux premières Vêpres des États Généraux. 1789.

--- "Чудовище разряжается". Пророческое видение персана, который не умирает до сих пор.  
A Ispaham et se trouve à Paris chez les MARCHANDS de vérité. 1789.

--- Пенсы, отделенные для использования французской нацией с 1 мая 1788 года.  
Май, 1788.

---Projet d'alliance matrimoniale entre M. Tiers-État et Madame  
Noblesse. (1789.)

---Quand le coq chantera, gare aux vieilles poules. L. C. D. S. F.  
Harangue de Gros-Jean sur les lettres de convocation des États Généraux.  
Произнесена 9 марта 1789 года.

---Les quarante voeux principaux de la nation. 1789.

---Qu'est-ce que le Tiers-État, par Emmanuel Sieyes. Paris, 1888.

---Le Requiem des Fermiers Généraux, ou plan de révolution dans les finances. (Лион, 29 марта  
1789 года).

---Le retour de Babouc à Persepolis, ou la suite du monde comme il va.  
À Concordopolis. 1789.

---Le Te Deum du Tiers-État. То, что будет пропето на премьерной мессе Государства-  
Генералитета. Le confiteor de la Noblesse Envoye a Notre Saint-Pere le Pape, Suivie de la  
contrition tardive; avec des notes tirées du Texte Parisien. 1789.

---Ультиматум одного гражданина Тирского государства к памяти принцев. 1789.  
Presenté au Roi.

PLATO, The Dialogues of. Translated by B. Jowett, M. A. 5 vols. Oxford, 1875.

PONCINS, *Léon de*. Les cahiers de 1789, ou les vrais principes libéraux. Paris, 1887.

PROUDHOMME. Traité des droits appartenans aux seigneurs sur les biens possédés en roture.  
Париж, 1781.

QUESNAY, *F.* Oeuvres économiques et philosophiques. Франкфорт и  
Париж, 1888.

RAMBAUD, *Alfred*. Histoire de la civilization française. 3 vols.  
Paris, 1887-88.

RANDALL, *H. S.* Life of Thomas Jefferson. 3 vols. New York, 1858.

REVUE DES DEUX MONDES.

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

RIBBE, *Charles de*. Les familles et la société en France avant la révolution. 2 vols. Tours, 1879.

RIGBY, *Dr.* Letters from France, etc., in 1789. Лондон, 1880.

ROCHAMBEAU. Mémoires militaires, historiques et politiques. 2 vols. Paris, 1809.

ROCQUAIN, *Felix.* L'Esprit révolutionnaire avant la révolution (1715-1789). Paris, 1878.

РОЗЕНТАЛЬ, *Льюис.* Америка и Франция. Влияние Соединенных Штатов на Францию в XVIII веке.

Влияние Соединенных Штатов на Францию в XVIII веке. Нью-Йорк, 1882.

ROUSSEAU, *J. J.* Oeuvres complètes. 27 vols. Paris, 1824-25.

SADLIER'S Catholic Directory, Almanac, and Ordo for 1885. New York.

SAINTE-BEUVE, *C. A.* Causeries du Lundi. 15 vols. Paris, 1851-62.

SALLIER, *Guy-Marie.* Annales françaises depuis le commencement du règne de Louis XVI., jusqu'aux États Généraux, 1774 a 1789. Paris, 1813.

SAXE, *Maurice Cte de.* Les rêveries, ou Mémoires sur l'art de la guerre. 2 vols. The Hague, 1756.

SCHERER, *Edmond.* Diderot. Париж, 1880.

SCIOUT, *Ludovic.* Histoire de la constitution civile du clergé, 1790-1801. 4 vols. Paris, 1872-81.

SEGUR, *Cte de.* Mémoires. 2 vols. Paris, 1859. В Barrière, Bibliotheque des Mémoires relatifs a l'histoire de France pendant le 18e siècle. Vols. 19 и 20.

SIEYES, *Emmanuel.* Qu'est ce que le Tiers-État. Париж, 1888. (См. Памфлеты 1788 и 1789 годов).

SOREL, *Albert.* L'Europe et la révolution française; lière partie. Les moeurs polit. et les traditions. Paris, 1887.

СТЕБЕНС, *Б. Ф.* Факсимиле рукописей европейских архивов, относящихся к Америке, 1773-1783 гг. 12 vols. London, 1889. (Находится в процессе публикации.)

STOURM, *René.* Les finances de l'ancien régime et de la révolution. 2 vols. Paris, 1885.

STUBBS, *William.* Семнадцать лекций по изучению средневековой и Современная история и родственные предметы. London, 1886.

SUSANE. Histoire de l'ancienne infanterie française. 9 vols. Paris, 1849-53.

СВИНБУРН, *Генри.* Суды Европы в конце прошлого века. Century. 2 vols. London, 1841.

Сайбель, *Генрих фон.* История Французской революции. 4 vols. London, 1867.

TAINE. Les Origines de la France contemporaine: L'ancien régime.

THIERRY, *Augustin*. Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers-État. 2 vols. Paris, 1856.

TILLY, *Cte Alexandre de*. Souvenirs. В Библиотеке мемуаров, относящихся к истории Франции 18 века, автор М. Фс. Barrière. Vol. 25.

TOCQUEVILLE, *Alexis de*. Oeuvres complètes. 9 томов. 1864-66.

ТУРГО. Oeuvres. 9 vols. Paris, 1808-11.

VAUBAN. Dime royale. Париж, н. д.

Виан, *Луи*. Histoire de Montesquieu. Париж, 1878.

VOLTAIRE. Collection complète des oeuvres. 45 vols. Женева и Париж, 1768-96. (Одна ссылка только на это издание; все остальные - на изданию Бюшо).

---Oeuvres, ed. Beuchot. 72 vols. Paris, 1829-40.

УОЛПОЛ, *Гораций*. Письма. 9 vols. London, 1866.

WASHINGTON, *George*, The Writings of. Edited by *Jared Sparks*. 12 vols. Boston, 1837.

УРАКСАЛЛ, *сэр Натаниэль Уильям*. Мемуары, 1772-1784. 5 vols. New York (Scribner), 1884.

YOUNG, *Arthur*. Путешествия в 1787, 1788 и 1789 годах, предпринятые, в частности, с целью выяснить культуру, богатство, ресурсы и природное процветание Королевства Франции. 2 vols. London, 1794. (Единственное полное издание этой часто цитируемой книги).